А. Воронский

Глаз Урагана

А. Воронский

Глаз Урагана

ПОВЕСТИ

Воронеж
Центрально-Черноземное книжное издательство
1990

84Р7-4
В75

Составление, подготовка текста, примечания
Г. А. Воронской

Художник **А. Старилов**

В $\frac{4702010201-013}{М161(03)-90}$ 43—90

ISBN 5-7458-0192-1

© Центрально-Черноземное книжное издательство, 1990. (Состав, оформление, вступительная статья).

ИСТОЧНИКИ ЖИВОЙ И МЕРТВОЙ ВОДЫ

(О прозе А. Воронского)

Прочитав книгу автобиографической прозы Александра Константиновича Воронского «За живой и мертвой водой» и узнав о его намерении писать дальше в том же роде, А. М. Горький откликнулся с одобрением: «А что Вы повести и рассказы начали писать, так это весьма похвально. Судя по «Живой и мертвой воде», писатель Вы хороший, т. е. — способностью изображения словами боги наградили Вас весьма щедро. Не комплимент».

Однако Воронскому-прозаику не очень-то повезло с осуществлением планов, тем более с известностью. Другое дело — Воронский-критик, Воронский — редактор знаменитого журнала «Красная новь». На протяжении почти десяти лет его имя было окружено ореолом, в котором переплелись уважение, восторги и хвала, полное согласие и поддержка, с одной стороны, и безоглядное отрицание, размашистая хула — с другой. И так из года в год: с 1921-го до середины 30-х годов. По справедливости можно сказать, что имя Воронского-критика обозначило целую эпоху в истории молодой советской литературы и судьбах многих, ставших вскоре ее гордостью, писателей. Кстати, сам термин «советская литература» принадлежит ему и тоже не раз был в те годы яростно оспорен его главными оппонентами — рапповцами и напостовцами, считавшими, что не существует никакой единой «советской литературы», а есть литература «буржуазная», «крестьянская», весьма сомнительная «попутническая» и — противостоящая всем им «пролетарская» литература. О «точности» критериев у теоретиков РАППА говорит хотя бы тот факт, что к «буржуазным» они относили Е. Замятина, М. Булгакова, А. Ахматову и многих других талантливых писателей из среды интеллигенции, чей жизненный путь и литературная судьба были непростыми; с очень большими сомнениями и оговорками воспринимали они М. Горького, В. Маяковского, С. Есенина...

Не удивительно, что проза Воронского, так же как и его литературно-критические работы, оказалась тесно связанной с беспрецедентной по своей ярости литературной борьбой конца 20-х и начала 30-х годов.

Сроки его писательской судьбы оказались более чем краткими. Он имел возможность работать всего пять-шесть лет. В середине 30-х Воронский умолкает и возвращается в литературу своими книгами лишь несколько десятилетий спустя.

Тем не менее его книги «За живой и мертвой водой» (1927—1929), «Бурса» (1932), «Глаз урагана» (1931), другие повести и рассказы получили немало положительных отзывов, например, А. М. Горького, Л. Сейфуллиной, увидевших их литературные достоинства, старых большевиков П. Лепешинского, А. Аросева, И. Скворцова-Степанова, в первую очередь оценивших, так сказать, «мемуарное» ядро этих книг. Были, разумеется, и отклики неприязненные, рапповские, в которых продолжалось сведение старых литературных счетов.

Лишь теперь, годы и годы спустя, мы можем по-настоящему прочитать и понять Воронского-прозаика. Эта работа была начата статьями Ф. Левина и А. Дементьева к сравнительно недавним изданиям его книг.

Будущий писатель родился в селе Хорошавке Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Видимо, Воронский — не родовая фамилия. Та — утрачена, а эта образовалась от названия реки Вороны, на которой расположено село, где был приход его отца, сельского священника. Такое предположение не расходится с обычаем. Итак, Воронский родился «во глубине России». Река Ворона берет начало среди сглаженных холмов на пензенской земле, неподалеку от мест, названия которых много значат в памяти русской литературы. Через реку проходит шоссейная дорога, ведущая от Чембара и Тархан (ныне это город Белинский и село Лермонтово). В Кирсановском уезде неширокая, но полноводная Ворона уходила в густое зеленое разнолесье; приняв в себя несколько притоков, она впадает в Хопер, несущий свои воды в Дон.

Впечатления природы, ее краски и голоса всегда много значили в литературной работе Воронского, в созданном им художественном мире.

В жизни этого выдающегося человека все сроки оказались краткими и предельно напряженными...

Двадцатилетний тамбовский семинарист Александр Воронский в 1904 году становится большевиком, членом РСДРП. Через год его исключают из семинарии за «политическую неблагонадежность»; с 1905 года Воронский — профессиональный революционер. Первый арест он пережил в двадцать два года, за ним последовало годичное заключение в крепости. Спустя полтора года — второй арест и высылка на два года в Яренск Вологодской губернии. С 1910 года Воронский постоянно живет в подполье. Он работает под руководством М. И. Ульяновой, знакомится с В. Ногиным, Я. Зевиным, С. Кржижановским, М. Фрунзе, В. Воровским; в 1911 году дебютирует как журналист в издаваемой Воровским одесской газете «Ясная заря» (под псевдонимом «Нурмин»).

В 1912 году А. Воронский под партийной кличкой «Валентин» был избран от саратовских большевиков делегатом знаменитой, руководимой В. И. Лениным, Пражской партийной конференции, где близко познакомился с Серго Орджоникидзе, А. Догадовым, Ф. Голощекиным, Л. Серебряковым...

Из Праги он возвращается представителем ЦК партии; вскоре его настигает новый арест и ссылка на три года в Кемь Архангельской губернии.

Октябрьскую революцию Воронский встречает в Одессе, возглавлял фракцию большевиков в Совете, участвуя в жарких политических боях за установление Советской власти. Ему тридцать три года, из них шесть лет проведено в тюрьмах и ссылках.

После Октября еще четыре года он ведет работу профессионального партийного организатора: был членом ВЦИК, председателем губкома партии и редактором газеты «Рабочий край» в Иваново-Вознесенске, одним из руководителей Главполитпросвета в Москве.

С июня 1921 года в Москве стал издаваться первый коммунистический «толстый» литературный журнал «Красная новь», главным редактором которого становится Воронский. Принадлежавшая ему идея издания была поддержана Лениным, Горьким, Крупской.

Это было время, когда зарождалась большая советская литература.

Последующие семь-восемь лет были «звездным часом» Воронского — редактора, критика, организатора литературы.

Резкая принципиальная полемика с рапповцами, еще имевшими в конце 20-х годов большой вес в области культурного строительства, и обвинение Воронского в поддержке «левой» оппозиции привели к тому, что в 1927 году он лишился возможности работать в журнале. Тогда он берет в руки перо беллетриста, ибо всегда тяготел к прозе, первые опыты относятся еще к предреволюционным годам. Ему было о чем рассказать...

Первой была книга прозы А. Воронского «За живой и мертвой водой», журнальная публикация которой завершилась в начале 1929 года. В нее широко входит автобиографический материал, опыт пережитого, продуманного, начиная с семинарского бунта осенью 1905 года, круто переломившего течение жизни Воронского. Однако это все же не воспоминания в полном и точном смысле слова. Отдельное издание первой части книги, правда, в 1927 году вышло с подзаголовком «воспоминания», но во всех других прижизненных изданиях этот подзаголовок был автором снят. В одном из писем к А. М. Горькому он назвал свою книгу «воспоминаниями с выдумкой».

Картины жизни, нарисованные писателем, выходят далеко за пределы фактов его биографии. Всматриваясь в ее жестокие и трудные повороты, он видит необычность приобретенного им опыта, думает о цене этих приобретений, их смысле и значении.

Автобиографический герой Воронского не просто живет в истории. Он — сознательный переустроитель всей народной жизни, бунтарь, революционер.

«Что же толкает меня на борьбу, почему домогаюсь я вселенского братства?» — вот вопрос, заставляющий его на все вокруг и на себя самого смотреть в свете особой ответственности. С юных лет вовлеченный в бури века вместе со многими людьми своего поколения, герой прозы Воронского преклоняется перед «мечтателями и юными фантазерами, отважными и смешными бунтарями». Решившись на вмешательство в судьбы людей и народов, они прошли суровый путь — к зрелости духа. Из их мечтаний возникли великие перемены на земле! Тем важнее было осмыслить опыт тех,

кто вложил свою энергию в великую Перемену. На чьей же стороне правда и какая правда ближе и полнее всего выражает подлинно человеческие интересы?

Этот спор многоголосо проходит через всю прозу Воронского. Вот, например, один вариант правды — «корыстное счастье», как называет бунтующий герой истину, которую отстаивает отец Николай, «рассудительный священник и домовитый хозяин», изображенный в начале книги «За живой и мертвой водой». У того есть своя философия «произрастания»: «Вы, взыскующие нового града, не знаете и не чувствуете радость хозяина, когда он видит выводок цыплят, заботу его, когда он окучивает дерево или делает прививку яблоне. Вы полагаете — он о барышах думает. Не только о барышах, а иногда и совсем о них он не думает: он радость произрастания испытывает, он видит плоды трудов своих, он радуется живому. В России иначе нельзя. В России вон сколько земли. Она зовет к себе. Она у нас не прощает измен...»

Люди революции, к сожалению, не продумали до конца этого сильного аргумента. Так какая же высокая — куда более высокая! — всечеловеческая цель должна была светить впереди, чтобы решиться силой слова и дела менять и перекраивать тысячелетний порядок жизни? «Человеку нужно не произрастание, а творчество», — утверждает герой. «Не хочет, не станет жить человек одним произрастанием. Он создаст, создаст свою сказку на земле!» И в другом месте: «Чему завидовать, бессознательная жизнь природы прекрасна своей первобытной гармонией, но она беззащитна. Оберегает от нелепости, от случая одна чудотворная человеческая мысль. Только ей можно поверить, только она может открыть источник живой и мертвой воды, создать новый град Китеж».

Воронский понимал «мысль» не как сухой рассудочный акт; в мысли органически слиты разум и чувство, «все, что душу облекает в плоть», как писал любимый им Сергей Есенин. В совершенном обществе, в совершенном человеке «разум подчинит себе стихию, но будет связан с ее могучими силами». И это было глубоким убеждением писателя и его желанной целью. К этим идеям он возвращался не раз. Сегодня они воспринимаются как абсолютно современные, ибо от гармонии внутри человека, гармонии во взаимоотношениях природы и человека дальнейшее развитие человечества ныне зависит не меньше, чем от решения самых острых социальных проблем; собственно, это даже один из путей к их решению.

Победа над стихией расточительности, над жизнью «бесцельной и бессмысленной, коснеющей во мраке, в ничтожестве, в изуверстве», требует двойного акта творчества: преодоления раскола разума и стихии и одухотворения самого процесса жизни. В этом — можно с уверенностью сказать — смысл названия книги Воронского.

Впервые слова о живой и мертвой воде главный герой произносит мысленно над могилой умершей на самом пороге жизни сестры Ляли: «...настанут дни, и добудет человек свою живую и мертвую воду силой своего ума и хотения...»

Что же значат эти древние слова, какой смысл заключен в смелой метафоре? В статье «Живая вода и вещее слово» знаменитый русский фольклорист А. Н. Афанасьев писал так: «...мертвая или целящая вода заживляет нанесенные раны, сращает вместе рассеченные члены мертвого тела, но еще не воскрешает его; она

исцеляет труп, то есть делает его целым, но оставляет бездыханным, мертвым, пока окропление живою или живучею водою не возвратит ему жизнь... Кто выпьет живой или богатырской воды, у того тотчас прибывает сила великая... Сверх того, живая вода исцеляет слепоту, возвращает зрение...»

Мир, разъятый, расчлененный социальными противоречиями, ослепленный всяческим классовым эгоизмом, и рассеченные, растоптанные человеческие души будут «исцелены», то есть станут целыми, и окроплены живой водой «ума и хотения» для иной жизни, вселенского братства. Вот какая человечная и глубокая метафора, какое мечтание заключены в книге Воронского!

Но где же искать источники этой «живой и мертвой воды»? Глубинный и неиссякающий ключ — бесконечный в веках труд народа, его духовное творчество, мудрость, заключенная в пережитой им истории. Воронский чрезвычайно высоко ценит личную активность человека; тем не менее истинной почвой деяния становится у него народная жизнь. Читая его «Бурсу», «За живой и мертвой водой», другие произведения, видишь, как богата Русь людьми, мыслями, страстями, красочными судьбами, мечтами и подвижничеством. Сколько мятущихся душ, сколько сердец, взыскующих правды и справедливости, проходит перед рассказчиком! Неустанно волнуется перед нами народная душевная стихия, раскрывая и бездны сомнений, и клады добра и любви, обретая новую веру, новые смыслы бытия...

Дети одной большой Родины, история которой полна контрастов и противоречий, люди, живущие многими и непохожими жизнями, которых невозможно измерить одним аршином и которые в то же время объемлются единой великой исторической судьбой, — такие люди принципиально важны для художественного мира книг Воронского.

Его проза полифонична. Всем голосам, входящим в его опыт жизни, начиная с детства, с отрочества, он дает возможность заявить о себе, вслушивается во все исповеди, размышляет над всеми символами веры.

Люди разных лагерей и путей, разных слоев необъятного «слоеного российского пирога» проходят перед читателями в своих противоречиях, самоутверждении и сомнениях. Воронский с презрением и ненавистью пишет о предателях; с вниманием всматривается в опасно многоликую и одновременно безликую обывательскую массу, в растертую в пыль мещанскую душу, готовую на любую капитуляцию перед силами зла, перед любой жизненной бурей. И — по контрасту — как ценимы им и как приближают к идеальной цели картины братского идейного согласия, спайки, дружной единодушной работы, какой бы опасной она ни была: бурсацкий ли это кружок, жизнь ссыльной колонии или венчающие всю эпопею страницы о Пражской партийной конференции!

Коль скоро человеку нужен «бунт» во имя пересоздания и одухотворения жизни, размышляет герой Воронского, то «как же трудно тем, кто берет на себя всю тяжесть этого всесветного восстания против жестокой, бессмысленной и щедрой силы, кто отважился идти крестными путями познания добра и зла!»

Разум и воля этого опасного движения воплощены в фигурах революционеров, в первую очередь большевиков, которые в центре книг А. Воронского. Жизнь и удел революционеров показаны им без ставших порою привычными штампов «исторических»

деятелей, поставленных на котурны, самоотверженно исполняющих фатальные «веления» истории. В свое время в очерке о В. И. Ленине Горький писал: «Ленин часто говорил об истории, но никогда в его речах я не чувствовал фетишистического преклонения пред ее волей и силой». Знаменательно, что ту же мысль вызывает у Горького герой автобиографической прозы Воронского: «Мне даже кажется, — писал он автору, — что я впервые услышал голос настоящего революционера, который сумел рассказать о себе как о настоящем, живом человеке, а не как об инструменте или орудии истории».

«Книга «За живой и мертвой водой» интересна своим документальным началом, в первую очередь — фигурами реальных, известных и забытых, творцов революции, профессионалов подполья. Среди них — выразительнейший, нехрестоматийно написанный портрет В. И. Ленина; Воронскому в течение многих лет — вплоть до последних дней жизни вождя — доводилось общаться с Лениным, называвшим его «старым надежнейшим партийцем».

Ленин у писателя — центр притяжения всех разумных, деятельных сил революции. Он показан порою суровым, жестко-непримиримым, умеющим идти против течения, переламывающим всякую неопределенность, отвергающим колебания. Вспомним хотя бы эпизод «укрощения» Лениным делегатов партийной конференции в Праге, допустивших поначалу непоследовательность по отношению к соглашателям и меньшевикам. Одновременно Воронский видит в Ленине и горячий интерес к людям, и юмор, и непосредственность чувства, и воплощение громадной энергии мысли, «но не холодной а страстной и волевой».

Во имя того, чтобы грядущие поколения лучше узнали жизнь революционеров, бойцов ленинской гвардии, и создана книга Воронского. С горечью он пишет о многих из тех подвижников подполья, кто не согнулся, выстоял, пройдя через тюрьмы и ссылки, через сомнения и ренегатство: судьбы их, говорит автор, почти всегда драматичны: «рассказы о тех годах и тех людях не кончились благополучием» («Бомбы»). Вводя нас в героический и стоический мир людей революции, своих соратников и «совольников», он восклицает: «Я благодарю судьбу за то, что она подарила мне их. Мои лучшие помыслы с тех пор связаны с ними. Они для меня и семья, и родина, и милое прошлое, и славное будущее».

Всю книгу А. Воронского очеловечивает требовательный нравственный самоанализ, дух самопроверки без иллюзий: тем ли путем идем, те ли ориентиры выбираем, не сбились ли, не подменили ли одни цели другими?..

Вспомним спор повествователя с его «совольником» и — можно сказать — двойником Валентином о пергюнтовском и брандовском началах в человеке революции. Ибсеновские герои в свое время произвели сильное впечатление на поколение Воронского. Пер Гюнт «не имеет принципов, но сердце его открыто, — говорит повествователь. — Бранд — боец. Он целен. Он хочет всем существом. Его заповедь: «все или ничто», но сердце его закрыто, он беспощаден... не кажется ли тебе иногда, Валентин, что среди нас брандовское начало берет перевес? Мы черствеем, ожесточаемся, мы превращаемся в революционных дельцов, в подмастерьев революции, мы отлучаем себя от «человеческого, слишком человеческого». Валентин отвечает своему другу: «Мы — воины». Милосердие, любовь к людям — все «это придет потом, после нас».

Но, по убеждению Воронского, ничего нельзя оставлять «на потом». Раздумья о гуманистическом смысле революции проходят через все книги его прозы. Этот спор и сегодня составляет один из главных пунктов современной полемики о допустимости революционного воздействия на мир и судьбы его. То, как революция и люди, ее осуществлявшие, решали сложнейшие этические проблемы, оставляет глубокий отпечаток на всей последующей исторической эпохе. Новые поколения, ради которых шли на жертвы и подвиги бунтари, тоже будут по-своему вовлечены в решение этих проблем: «На них тоже падает ответственность за то, что мы делаем...» «Я даже думаю, — утверждает повествователь в другом споре, — что чем дольше живет человечество и чем оно старше, тем более на нем ответственности за прошлое».

Путь к революции, путь в революцию встает в прозе Воронского прежде всего как выработка нравственно полноценной идеи человека, как осознание гуманистических стимулов и целей борьбы. И ответственности за то, чтобы мыслимое в идеале совпадало с практикой.

Средоточием и носителем этой ответственности являются не какие-то анонимные и фатальные силы истории, а живая личность, человек, способный снова и снова поверять чистоту своих намерений и честность избранного пути. Поэтому нравственный облик человека революции имеет для писателя особое значение.

В книге «За живой и мертвой водой» автобиографический герой Воронского — человек, сознательно ставший одним из «взрывных зарядов революции» — предстает перед нами с бесстрашной искренностью и правдой самопознания и самоотчета. На это тоже нужна смелость — не прятаться за вымышленные фигуры, не надевать масок, оставаясь самим собою. Искренность и полнота самораскрытия становятся важнейшим духовным актом, выражением личной ответственности. Поэтому личный опыт оказался предметом художественного воссоздания и серьезного духовного исследования.

Герой книги понимает, что каждый, кто посягнул на вековечный порядок жизни, оказывается перед проблемами, перед вопросами, которые никто не решит вместо него. Человек сложен, и эта сложность, противоречивость отражаются в его деле. Именно поэтому он не имеет права надевать догматические шоры, живя лишь внушениями одного дня. Он обязан жить и бороться, разбираясь во всех голосах жизни, постоянно прислушиваясь к ним.

С течением времени герой Воронского, все яснее и острее ощущая необходимость духовной «почвы», обращается к истории народа, к его прошлому. Он постоянно всматривается в народную жизнь, наблюдает за тем, что происходит в глубинах народной России. Недаром в «Бурсе», написанной позднее, Воронский возвращает читателя к детству — к истокам души! — его лирического героя. В годы, когда раздавались призывы рапповцев предать забвению народные «истоки», когда «происхождение» предлагалось «преодолевать» или исправлять, писатель включает своего героя в наследование народного опыта во всей его полноте, в противоречиях народного сознания, во всем богатстве и мощи поэтического видения мира, во всех переливах житейской правды. Он с чувством нетерпения воспринимает медлительную поступь быта, его косность, и — одновременно — не может не любоваться колоритной, густой плотью жизни, ее могучей самодовлеющей силой, ее само-

достаточностью. Нет для него народной жизни вне многомерности, богатства разных сил, вливающихся в общий океан национальной истории.

В те дни и годы, когда совершались попытки компрометации прошлого, отсечения «корней» и разрыва культур, писать так о прошлом — значило смотреть далеко, очень далеко в будущее. Этим проза Воронского также близка исканиям и проблемам наших дней.

Еще в «Живой и мертвой воде» писатель затрагивает тему старой русской культуры — на тех страницах, где рассказывается о встречах его героя-подпольщика с ревнителем искусства чудаком Ашмуриным. Хоть и показан он с некоторой долей иронии, но — не отвергнут; со многими его мыслями герой соглашается: «Мы осматривали Кремль, церковь Василия Блаженного, музеи, посещали выставки. Суждения и замечания его об искусстве отличались тонкостью. Он научил меня ценить Врубеля, Рериха, Левитана; я уже не мог ограничивать себя натурализмом передвижников; он убедил меня в великом искусстве наших старинных мастеров по дереву, показал картины и вещи, которых обычно не замечают». Увы, это «не замечают» относится не только к предреволюционному времени, но и к первым десятилетиям после Октября, когда вульгарные социологи не только не замечали искусство такого рода, но и пытались отлучить его от пролетариата, от социалистического искусства с таким рвением, что сегодня в это трудно поверить.

Однако раздумья автора о «корнях» и «истоках» не имеют ничего общего с идеализацией старой России, с «пропусками» или амнистией того в ее опыте, что было искажением народных представлений о жизни. Писатель непримирим ко всякому социальному и нравственному злу, которое — он не может не видеть этого — входило в сложную структуру старой России.

Воплощением паразитирующего на русской жизни зла, символом уродства, посягающего на умы, души и судьбы людей, стала для Воронского бурса. Во второй главе книги о бурсе мы попадаем в этот «вертеп Магдалины», описанный с гневом и ненавистью: «Неряшливость, заброшенность, одичание, грязь. До того постыло — даже тошнит». Знаками страшной «антижизни» становятся фигуры надзирателей, «наставников» — Халдея, Тимохи Саврасова и других. Особенно выразителен Халдей — антигуманистический упырь, бюрократический робот, испытывающий наслаждение от той скверны, которую он поддерживает и распространяет вокруг себя: «Уши Халдея висели над старой Россией! Огромные, отвратительные, они подслушивали нас всю нашу жизнь!..» Воронский не простил и не забыл гниющий, распадный «порядок» бурсы, заражающий человека, стремящийся наложить свою мертвую печать на души.

После первой части «Бурсы» — с картинами вольного детства, радостного общения с миром, доверия к жизни — особенно нестерпимы казематы Халдея, затхлость и атмосфера злобного подавления всего живого и искреннего, тупая зубрежка догматических формул: «Еще недавно бурсак был подростком; в глазах у него мелькала осмысленность. Но он склонился над странными знаками, и человеческое, житейское в нем исчезло: глаза потеряли выразительность и блеск, помутнели; что-то каменное, тупое легло на лица. Мертвая ли маска или еще живой человек?..» Жизнь в бурсе —

лое и неправдоподобное наваждение, дурной сон. Вдалбливание лжеистины, систематическое приучение к фальши и притворству в интересах карьеры и выгоды калечит душу, превращает человека в страшное орудие духовного насилия. «И сколько таких оболваненных, заколдованных ежегодно распускается по стране родной! И сколько страшных дел можно с ними и через них понаделать!..» — с горечью заключает повествователь.

В истолковании Воронского бурса вырастает в образ всего уродливого и мертвого, что было создано болезнями национальной истории: «Бурса живала в разных сословиях и учреждениях... Бурса проникала в науку и искусство...»

«Революция вбила бурсе осиновый кол... Осиновый кол Халдеевой бурсе!..» Критическое чувство в прозе Воронского постоянно накалено. Он борется против всего страшного, антинародного и античеловеческого в сложном «наследии», оставленном прошлым. И в этой книге он отстаивает человеческое достоинство, не смиряясь с мертвечиной бурсы, попранием тела и души. «Бурса ко мне беспощадна, — понимает герой-повествователь. — И тогда я решил драться, биться из последних сил, решил всем своим жизненным трепетом. Я уже твердо знал: если поддамся, если не выдержу, бурса меня сломит».

Это сопротивление многое объясняет в судьбе Воронского.

В повестях, созданных в начале 30-х годов, продолжается и развивается спор, который ведет писатель ради утверждения дорогих ему основных идей. «Три повести»: «На перепутьях», «Будни», «Ольга» и повесть «Глаз урагана» дают обширный материал для суждений о своеобразном развитии и одновременно устойчивости художественного и духовного мира, созданного прозаиком Воронским.

В его книгах этих лет перед нами проходят порою бегло, а нередко пристально и страстно изображенные люди. И аскеты-догматики, и самодовольные мещане-потребители, но кроме них и те, кто трепетно и жадно переживает каждое светлое мгновение жизни, кто способен к тайновидению чистой прелести бытия, испытавшие его жаркие и могучие объятия; вкус, артистичность, целомудрие и самозабвение — все есть в красках, какими пишет Воронский-прозаик страницы любви Владимира и Наташи в первой части «Трех повестей».

Землю, ее ландшафт, ее пейзажи писатель вообще чувствует, так сказать, «космически», «геологически», «язычески» — всю ее толщу, тяжесть и мощь земных слоев, всю ее — как живое существо с собственным дыханием, плотью, запахами, сложно и бесконечно многообразно вылепленное, созданное природными процессами и человеческими усилиями.

В художественном пространстве прозы Воронского необходим простор неба над головой, неба часто ночного, звездного, с темными провалами космической тьмы, звездной бездны; необходимо чувство лесной свежести и тени; писатель дорожит и умеет передать чувство движения через поля и леса, ощущает землю под ногами, пробираясь по тропам и проселкам. Сознаешь при чтении, что это не просто «обстановка», «место действия», но — признание «самостояния» природного мира, его собственного и вечного бытия, с которым должен быть в сложном союзе и взаимопонимании земной — думающий и действующий — человек.

В деяния его героя-революционера, человека целеустремленной

социальной практики, все время вторгаются, сопутствуют, наполняют их размышления о жизни и смерти, о смысле человеческого существования на Земле, думы об искусстве, о философских системах и вероучениях — обо всем, чем люди «ограждают себя от хаоса, от боли, от ужаса жизни».

Интрига, «приключение» (а их немало в книгах Воронского, ибо такова — полна «интриги», поворотов, неожиданностей и «сюжетов» — была жизнь профессионального революционера-подпольщика) все же у него на втором, на третьем плане. Впереди же всегда — самоисследование и осмысление приобретаемого небывалого опыта, того опыта, который в конечном итоге ведет к преображению всей жизни.

И здесь, в новых повестях, как и в «Живой и мертвой воде», Воронский исследует разные системы идей, различные, порою противоположные миропонимания. Его нетерпимый и деятельный Владимир («Три повести») непримирим к «простой» жизни, к «человеческому, слишком человеческому». Чем же он питает свою решимость? «Человечеству, — говорит он сурово и мстительно, — сейчас нужна прежде всего правда... С нами не постеснялись: нас грабили, у нас отнимали юность, мечтательность, нас лишали лучших видений детства. Мы готовы теперь на многое. Для этого нужна суровая и неподкупная правда». Это звучит голос фанатика и экстремиста, готового на все. Даже отец Владимира говорит о нем и его соратниках с восторгом и страхом: «Во имя своей правды они никого не пожалеют: ни друзей, ни родных».

Герой Воронского запальчиво утверждает в разговоре со своей любимой женщиной: «Производить детей — наука нетрудная. Труднее разумно и справедливо устроить жизнь». Но, пожалуй, Наташа отвечает ему на это еще сильнее: «Производить детей — самая трудная и самая великая наука. Этого вы никогда не поймете».

Смелость картины этого «паритетного» спора двух правд, разных правд, их переплетение и взаимовысвечивание мы, современные читатели, можем особенно оценить, вспоминая то время — конец 20-х и начало 30-х годов, когда эти произведения Воронского обдумывались, писались, печатались...

Снова и снова, уже в других обстоятельствах, Владимир возвращается к этим мыслям. С системами и вероучениями куда легче. Но как быть с «житейским»? Кому-то надо поддерживать, укреплять, расширять житейское: трудиться, сажать деревья, снимать жатву, плоды, рожать и воспитывать детей...

Однако, думает он, видимо, это удел иных людей. «Мы», профессиональные революционеры, «рождены для другого».

«Три повести» — вещь, окрашенная трагедийно: с самого начала герой-революционер оказывается перед неизбежностью противостояния всем, всей окружающей среде. События повести развертываются с момента начала первой мировой войны (сюжет «войны» вообще тесно связывает «Три повести» и «Глаз урагана»). Война несет с собою «смертельную схватку идей». На какое-то время Владимир оказывается почти в полной изоляции, в одиночестве: все так или иначе встают на «защиту» России, в том числе и большинство политических ссыльных. Страна устремилась в огненное жерло страшной многолетней войны. Как противостоять насилию националистической пропаганды, научиться умению чувствовать мир и смотреть на него своими глазами, научиться самостоятельно

думать под страшным прессом окружающей среды с ее иллюзиями и заблуждениями?.. Социально-«патриотическая» демагогия, охватившая в начале войны страну, не подчинила себе лишь одних большевиков-ленинцев. Только они видели трагизм происходящего и могли относиться к событиям непредвзято, понимая их неизбежность, но остро переживая страдания и бедствия, которые война несла народу, Родине. «Каждый день оставлял памятные следы. Сердце стало обнаженным. Время пропахло слезами, кровью...»

Немногие могли в те годы видеть так правдиво и далеко; неудивительно, что в повести — в душе Владимира — не раз возникает сильное, мучительное чувство его одиночества едва ли не среди всех — отравленных пропагандой, поддавшихся иллюзиям. И лишь по мере развития событий, когда народу становится все более явственной страшная суть войны, когда сам герой Воронского оказывается среди рабочих людей, наименее отравленных социальной демагогией, это чувство у него проходит.

«Несмотря на тяжелые условия быта, на нищету и отсталость и невежество, — размышляет Владимир, — они не продавали ни ума, ни своего сердца... Стойкость! Как мало было этого свойства вверху, в том интеллигентском мире, из которого вышел Владимир. Как легко и быстро там сдавались, едва только мелькала тень какой-нибудь беды, неудачи!»

Жизнь, ее суровая реальность испытывает, проверяет все «системы идей», все «вероучения». И самой суровой и жестокой проверкой становится война.

Проза Воронского начала 30-х годов («Три повести», особенно «Глаз урагана») сегодня, в наше время, когда глобальной проблемой номер один стало предотвращение ядерной катастрофы, «последней» войны, которая уничтожит человеческую цивилизацию на Земле, воспринимается, прочитывается с ощущением необычайной современности. Пожалуй, я не назвал бы в литературе тех лет ни одного произведения, в котором с такой силой говорилось бы об антигуманизме войны, ее жестокой и всеразрушающей, апокалипсической силе; произведения, в котором писатель смел бы так далеко заглянуть в глубочайшие проблемы бытия и судеб человеческих, которые тогда, в эпоху войн начала века, не решались, а были, если говорить прямо, — лишь поставлены перед человечеством, народами, обществами и государствами.

Не случайно именно А. К. Воронский стал в те годы одним из инициаторов создания литературной организации, назначение которой он видел в том, чтобы противостоять трагедии войны, предотвратить ее возникновение, схватить за руку поджигателей войны, извлекающих из крови и мук миллионов свою политическую выгоду. Но он не был понят. Сталин обвинил Воронского в пацифизме.

«Глаз урагана» — повесть во многом автобиографическая, один из достоверных документов личной судьбы писателя, недаром ее героя зовут партийным именем самого Воронского — Валентин. Многие сцены и события, многие лица и эпизоды повести довольно прямо могут быть соотнесены с конкретной исторической реальностью. Тут и деятельность «Союза земств и городов» на Западном фронте, и сцены боев, жизнь тыла, февральские события 1917 года в прифронтовой полосе, фигура М. В. Фрунзе и колоритный портрет Петлюры и т. д. и т. п.

И в то же время «Глаз урагана» — произведение глубокого второго плана, сильнейшая антивоенная повесть, выступающая про-

тив войны как опаснейшей социальной болезни, античеловеческого, антинародного явления, которому нужно противостоять всеми силами. Для этого нужно осознать трагическую сущность войны.

Повесть заканчивается грандиозной метафорой, образом огромной обобщающей силы.

«...Эта война, как никакая другая, показала ничтожность человеческой силы и власть над человеком общественной стихии. Культура, быт, государственность прикрывают все это, война лишь сорвала покрывала. И вот — бессмыслие, хаос, стихия. Да, жизнь начинается с организации, с закона, смерть возвращает все в праматерь-бездну... В старой одной книге описывается ураган: кругом тьма, в центре урагана появляется светящееся яростное пространство. Его называют глазом урагана. Все, что попадает в это место, гибнет. Глаз урагана глядит через войну: космос раскрывается тут в хаосе, в бессмысленной стихии. Глаз урагана увидел миллионы людей... Если человечество не справится с этой стихией, жить дальше нельзя, людское общество погибнет. Но жизнь, человек возьмут свое, разум восторжествует, и этот разум есть революция, борьба с общественной галиматьей, дичью и бредом. Победа будет, и тогда мир перестанет смотреть на людей глазом урагана...»

Многое из сказанного принадлежит словно бы человеку нашего времени.

Вся проза Воронского, заложенное в ней активное критическое начало, зовет к борьбе за человеческое достоинство против мертвечины, насилия над телом и душой. Она рождена стремлением открыть в судьбе героя источники живой и мертвой воды — силы духовного выживания и победы в великую переломную эпоху, когда надлежит ввести в бой все резервы духа, чтобы не только не растерять, но сохранить и умножить то истинно ценное, что было создано человечеством в прошлом. Произведения Воронского интересны не только как документ эпохи, как свидетельство очевидца и участника великих исторических событий нашего века. Поиски истины, размышления о том, как следует человеку строить свои отношения с миром вовне и внутри себя, включают его книги в большую культурную традицию, вырастают из почвы большой русской литературы. Поэтому их можно смело поставить в один ряд с автобиографической прозой Герцена, Короленко, Горького. Поистине, она один из источников исцеляющей и богатырской воды.

Вместе с тем нужно сказать в заключение, что проза Воронского в еще большей мере, чем его критика, еще не во всем оценена должным образом. А между тем у нее свое собственное лицо; в ее глубины, в ее «ткань» и подтекст нужно серьезно всматриваться. Проза эта полемична; при внешней простоте канвы — почти всегда собственная биография, воспоминания детства, отрочества, юности, молодости — книги Воронского тесно связаны со всеми переплетениями литературной и общественной жизни своей эпохи, они охватывают многие большие и сложные вопросы личных судеб и судеб народных в наш противоречивый век. И в этом — одна из главных причин, что его книги пережили свое сложное время, безбоязненно представ ныне перед судом новых поколений.

В. Акимов,
доктор филологических наук.

Ленинград

Три Повести

1. На перепутьях

I

Владимир ходил за ягодой в лес, долго кружил и сильно утомился, пока выбрался к реке. Ночь выдалась теплая, Владимир развел костер и славно выспался на сухом мху. Утро было северное, прекрасное. Густой запах смолы отягчал веки, островерхие скалы сторожили Север древними викингами, ровно и низко шумела вода на речных порогах, отдаленно и грустно курлыкая, высоко пролетали гаги. Когда Владимир возвращался домой, ему все казалось, будто провел он в лесу не сутки, а несколько недель: так далеко отошли обычные ссыльные дела, друзья, книги, газеты.

К тридцати годам Владимир уже успел отдать почти треть жизни тюрьмам и ссылкам. Спустя два месяца опять он будет «на воле». «Воля» революционного работника длится три-четыре месяца. Невесело это — всеми помыслами ждать в захолустье освобождения, думать о столице, о встречах с товарищами, о работе — и быть взятым потом где-нибудь на улице, на явочной квартире, — вновь переживать унылые, тусклые тюремные рассветы, постылые, пустые дни, видеть окна, забранные угрюмыми решетками, слушать звяканье ключей, окрики «дядек», выносить подглядыванье «в глазок», изворачиваться на жандармских допросах. Владимир невольно скривился от отвращения...

Однако самое темное время, видимо, позади, что бы

ни случилось. Годы распада в прошлом. Подполье оживает — вопреки преследованиям, соглядатаям, предателям. На застой пожаловаться нельзя. Стачки — в Петербурге, в других городах, — грядущее сулит много неожиданного. Владимир даже быстрее зашагал, точно боялся куда-то опоздать.

Грядущее...

Паскаль утверждал, что люди никогда не ограничиваются настоящим. Пусть человек исследует свою мысль, — она всегда занята или прошлым, или будущим. О настоящем мы почти не думаем. Следовательно, мы не живем, а только надеемся жить. Замечание глубокое, но Паскаль напрасно полагал, что надеяться жить — плохо. Эта надежда питает творчество, а в творчестве — весь смысл истории человечества. «Да будет!» — лучшее, что сказал себе человек.

От корзины, наполненной до краев малиной, ежевикой и поляникой, шел свежий лесной аромат, дикий и упоительный. Из-за реки медленно плыл густой, тяжелый благовест. На лебяжьих озерах, синих, полноводных, не было видно ни одной складки, нигде не рябило. У природы — свой язык, смутный и странный. Когда человек, окруженный ею, испытывает полноту чувств, с ним говорят луга, деревья, небеса. Вот сейчас кругом — тихая, неотразимая ласка, успокоение. Мысли непроизвольны, и это хорошо...

Владимир вышел на опушку. За рекой городок раскидывался убогими постройками... Сегодня должна быть почта, сразу за целую неделю. Почему-то от Наташи давно нет писем. Не случилось ли чего-нибудь недоброго? Владимир присел на пень, забылся. На тропу выбежал заяц, присел, попрядал ушами, увидел человека с корзиной, прыгнул в кусты.

У города на мосту Владимир встретился со ссыльным Минцем. Григорий Минц первым узнавал газетные и местные новости и разносил их среди ссыльных с величайшим рвением. Глотая слюну, сутулясь, Минц на ходу крикнул Владимиру:

— Германия объявила войну России.

Запыхавшись, Минц уже убегал в соседний переулок.

Ошеломленный, Владимир оглянулся.

Над дальними сизыми грядами лесных урочищ, над низкорослой, однообразной тундрой простерлись длинные дымные пологи. Пахло гарью. Где-то полыхали лесные пожары.

II

Владимир сидел у открытого окна с пачкой газет. За окном, в капризных и крутых поворотах, иссеченная острыми порогами, неугомонно кипела река. Вечерний час сходил медленно.

Это было крушенье...

Социалисты объявили себя защитниками отечества, голосовали за военные кредиты, принимали посты министров, обвиняли друг друга в поддержке правительства.

Вожаки состязались в трусливом, в косноязычном и жалком оправдании измен, в обмане рабочих.

Изменник — Каутский, изменник Плеханов, изменники — Жюль Гэд и Вальян.

Крах подготовлялся давно. Давно проповедовали гражданский мир, постепенное внедрение в современное общество социализма, законные средства борьбы. Все это было известно Владимиру, но, когда впервые он узнал, что Плеханов и Каутский — в рядах «патриотов», он не поверил сообщению и решил, что это — выдумки воинствующей прессы.

Выдумки оказались правдой. Бред обернулся явью. Газетные и журнальные строчилы, захлебываясь, наперебой рассказывали о новоявленных защитниках отечества.

Горько было Владимиру.

Шестиклассником-гимназистом рождественские каникулы он проводил в Саратове у дяди-промышленника. Перебирая библиотеку его сына, ссыльного студента, Владимир наткнулся на книгу с длинным ученым заглавием: «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». Над книгой Владимир просидел день, вечер, ночь. Книгу взял он с собою в гимназию. Он нашел в ней новую веру, нравственность, знание. Бельтовым он заставлял заниматься приятелей по школе. Спустя несколько месяцев от одного из них Владимир на сутки получил зарубежную «Зорю», где встретил статью Плеханова, и опять был восхищен. Как же потом изумлялся он, когда узнал, что Бельтов есть Плеханов, отец русского марксизма! Втихомолку он, между прочим, долго подсмеивался над своим открытием. Преклонение перед Плехановым было длительное. В спорах с народниками и анархистами Владимир отстаивал каждую строку из книг Георгия Валентиновича. И позже, буду-

чи уже большевиком, он продолжал следить за работами едкого и блестящего ученика Маркса, в вопросах же философии, литературной критики он по-прежнему оставался для Владимира наилучшим учителем и другом. Даже недостатки Плеханова — дидактизм, рассудочность просветителя, высокомерная снисходительность — легко прощались.

Нужно ли припоминать, с какой горячностью и упорством штудировались «Аграрный вопрос» Каутского, «Предшественники научного социализма», «Этика», а еще раньше — «Эрфуртская программа», с какой непримиримостью защищались взгляды, в них выраженные!

Измена...

Для Владимира и для его друзей Каутский, Плеханов, Жюль Гэд являлись не только любимыми писателями. Они объединяли разбросанных, разобщенных подпольщиков, лишенных прессы, собраний, союзов. Революционные работники научились понимать своих вожаков с полуслова, с намека. Опасности, аресты, тюрьмы, вся беспокойная, боевая жизнь укрепляли и воспитывали преклонение перед ними. На стенах у Владимира висели любимые портреты. Жандармам и полиции не нужно было утруждать себя выяснениями, каких убеждений их поднадзорный.

Итак, долой недавние обольщения... Из библейских заповедей революционеру, видно, надо чтить одну-единственную: «Не сотвори себе кумира!» Но не легкое это дело — свергать кумиры! Глухая тоска терзала Владимира. От бессонной ночи горела голова, пепельница была полна окурков. Однако об одной группе, самой дорогой и близкой, возглавляемой коренастым непреклонным человеком, пока ничего не сообщалось в газетах, но по умолчаниям, по враждебным, неопределенным замечаниям Владимир догадывался: группа не поддалась общему угару. Он, впрочем, ни на один миг не усомнился в ней. Стоило ему себе представить плотного, с головой Сократа человека, вспомнить его немного картавую, властную, как бы идущую из нутра речь, его неукротимость, — и предположение, что он сейчас может быть в одном лагере с Каутским, Плехановым и призывать к обороне отечества, где господствует царская камарилья, — делалось нелепым и глупым...

Дородная поморка Василиса, хозяйка Владимира, скоро и легко прошла мимо окна к реке. В руках у нее

блестела медная посуда. Василиса улыбнулась Владимиру крепкой, безотчетной улыбкой. И от этой здоровой улыбки, ото всей ладной, статной и опрятной фигуры поморки Владимиру сделалось веселей.

— Да, вот война, предательства, интриги, обман, а жизнь идет своим чередом, непобедимая, всегда в себе уверенная...

Владимир долго ходил по комнате из угла в угол, потом решительно снял со стены несколько портретов.

На обоях остались свежие отпечатки.

Потухала густая заря, покрываясь пеплом.

III

Собрание колонии назначили за Девьей скалой.

Ссыльных осталось в городке только двенадцать человек. На Мурман мимо проводили железнодорожную ветку и еще с позапрошлого года сюда прекратили направлять поднадзорных. Собирались на доклад Владимира о войне. Владимир уже успел убедиться, что большинство колонистов его взглядов не разделяет. Он сдержанно здоровался с товарищами, сидя в стороне, и молча ждал, пока подойдут запоздавшие. По натуре Владимир в обиходе скорее был податлив и мягок, но он легко ожесточался, едва дело касалось круга идей, с какими связал он свою жизнь. И теперь, сидя на камне под низкорослой елью, он готовился отстаивать свои мнения, как бы дорого это ни обошлось. Непрестанный, опьянительный солнечный свет заставлял невольно жмуриться, леса уходили в безвестную, неисхоженную тундру. Пахло смолой, сухим мохом; из-за мшистых скал городок едва виднелся, а за ним покоилось тихое, гладкое море, испещренное туманно-синими островами. Парусные рыбачьи лодки напоминали лебедей.

Собирались медленно. Пришел немного раскосый, широкоплечий социалист-революционер Трофимов, темный от загара, русобородый красавец с ослепительными зубами; пришел меньшевик Григорий Минц; у него из карманов торчали газеты; Минц путался в них, шуршал ими, комкал, раскидывал их, собирал, совал куда попало. Подошли Кубейко — южанин, рабочий, из токарей, молчаливый латыш Шварцман, очень нелюдимый, земский статистик Нестеров, конторщик из Николаева Васильев, металлист Костя, безбородый подросток, старавшийся показать себя степенным и рассуди-

тельным. Остальные подошли, когда Владимир уже приступил к докладу.

Слушали Владимира с непроницаемыми лицами, только подросток Костя открыто выражал одобрение, солидно посапывая трубкой, от которой, видимо, ему приходилось плохо. Чем дальше говорил Владимир, тем яснее он чувствовал, что слова его звучат в пустоте. Трофимов, поджимая губы, иногда двусмысленно улыбался, Минц комкал газетные листы, Нестеров неприязненно и насмешливо щурился, щипал реденькую бороденку; другие предпочитали с Владимиром не встречаться взглядами, и он, понимая, что его не поддерживают, сократил свой доклад.

Председатель собрания Нестеров, перед тем как дать слово записавшимся, неторопливо протер очки, спросил Владимира, какой же выход считает он наиболее желательным для русских социалистов. Владимир кратко ответил:

— Наиболее желательным выходом для русских социалистов считаю поражение нашего правительства.

Собрание зловеще притихло. Даже Костя с недоумением поглядел на Владимира. Минц сделал сильный глоток, большой и острый кадык у него сильно заерзал; конторщик Васильев покачал головой. Нестеров повертел карандашом, как бы что-то соображая, наконец пробурчал:

— Похвальная откровенность...

IV

— Похвальная откровенность! — подхватил слова Нестерова Трофимов; быстро поднявшись, он стал громко выкрикивать: — Родина... Русь... Что понимает во всем этом Сарматов, международный гражданин, чужой, далекий нашей стране, нашим деревням. — Обычно спокойный Трофимов покрылся темной краской. — Разве понимают эти граждане, когда русский поэт восклицает: «Россия, нищая Россия! Мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слезы первые любви!» Безжизненными, пустыми глазами смотрят беспочвенные космополиты на отчий свой кров. А отчий кров в огненном кольце. Пожар надо скорее потушить, не жалея сил. В это время находятся люди, которые боятся одного: не пострадают ли их схемы, их тощие доктрины. Да погибнут доктрины и схемы; пришла пора ска-

зать своей земле, своей родине словами запричастной молитвы: «Не бо врагом твоим тайну повем, ни лобзание ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тя...» К пушкам! Каленым железом выжжем врага, расплавленным свинцом зальем им глотки!

С глазами, налитыми кровью, никого и ничего не замечая, Трофимов, в полузабытьи, осел на выступ скалы.

— Верно! Ты хорошо сказал, — поддержал Трофимова конторщик Васильев. Выставив птичью грудь, он захлопал в ладоши. Его никто не поддержал. Васильев спрятал покрасневшие руки.

Владимир в ссылке дружил с Трофимовым, хотя они и принадлежали к различным партиям. Они часто спорили, расходились в оценках, но Трофимов обладал характером открытым, веселым и ровным, любил русскую литературу и знал ее. Владимир нередко бродил с ним по лесу, ловил на островах с ним рыбу, охотился. Они не докучали друг другу. Когда с началом войны между ними обнаружились новые, более сильные разногласия, совместные прогулки прекратились, но до открытого разрыва дело не доходило. Теперь, на собрании, Владимир выслушал Трофимова с изумлением. Если бы несколько недель назад ему, Владимиру, сказали, что Трофимов назовет себя Иудой, говоря о царской России, такого человека он назвал бы либо сумасшедшим, либо клеветником. Случилось наихудшее. Рушились последние связи. После выступления Трофимова Владимир понял: со многими друзьями и товарищами придется навсегда разойтись. Война — повсюду. И, может быть, самое страшное, что несет с собою она, — это смертельная схватка идей. Тут уж, поистине, не пожалеют ни друзей, ни родных. Пощады не будет.

...Слово взял председатель собрания Нестеров. Дергая себя за бороду и будто кому-то подмигивая близорукими глазами, он со снисходительным смешком отозвался о выступлении Трофимова: поэтические вольности его, возможно, по-своему и красочны, но мало кого серьезно убеждают. Надо понять: Германия угрожает нам пушками. Германия навязывает нам невыгодные торговые договоры; тем самым она пытается задержать в стране развитие производительных сил и превратить Россию в свою колонию. Наоборот, союз с Францией, с республиканской страной, в противовес прусским юнкерам, укрепит у нас силы демократии.

— Волонтерами в царскую армию согласны идти? — перебил Нестерова Владимир.

— Защищать Россию, ее независимость пойду, — ответил Нестеров, сжимая бледными руками суковатую палку.

«Ничто нас больше не объединяет. Мы — самые решительные враги друг другу», — подумалось Владимиру.

После Нестерова говорил Григорий Минц. Брызгая слюной, потрясая страстно черными лохмами, жестикулируя, Минц бестолково повторил доводы Нестерова, прибавив от себя, что угнетенные нации исполнят свой долг перед родиной. Владимир рассмеялся. Минц плюхнулся на свое место, судорожно схватил газету, точно в ней заключалось спасение от напастей и погибели.

Следом за Минцем выступили сельский учитель Лаутов, социалист-революционер, и «дикий» социал-демократ Тихменев. Они поддержали Трофимова и Нестерова. Владимир предполагал, что с ним, по крайности, будет рабочий Степан Кубейко. Но Степан со всякими длиннотами и отступлениями объявил: «Германия стремится задушить в России молодое рабочее движение, немцы первыми двинули свои войска, их нападение надо отбить».

Иногда Владимиру чудилось: все, что он слышит и видит, — наваждение. Но скалы уверенно и грузно громоздились кругом, полдень тяжеловесно зрел под ровным, спокойным небом, речи продолжали говорить, — действительность была непререкаема. Дозорный Семенов дважды подавал предупредительные сигналы: прошли поблизости стражники; речи прекращались, собрание застывало, боялись пошевелиться, появлялось общее сознание: жестокая, слепая сила одинаково преследует ссыльных, одну семью, один круг боевых друзей. Но шаги стражников, их негромкий говор, кашель замирали между скалами, против Владимира выступали новые противники. Невероятное опять делалось явью...

V

В заключительном слове Владимир выразил удивление: с каких пор социалисты, хотя бы трофимовского склада, стали преклоняться перед нищей Россией и перед серыми избами? Непонятно также, кого именно имеет в виду Нестеров, утверждая, что Германия стремится

навязать н а м торговые договоры. Кто это «мы»? О любви к родине... Надо любить свою родину, но наша родина — родина Белинского, Герцена, Чернышевского, Желябова, Ленина, а не родина Романовых, Гучковых, Рябушинских. Этой последней мы желаем скорейшей погибели.

— Вы все сказали? — необычайно вежливо спросил Владимира Нестеров, когда тот умолк.

— Я все сказал, — сухо ответил Владимир, стирая с лица обильный пот.

Нестеров прочитал резолюции: свою и Владимира. За Владимира, кроме него, голосовали подросток Костя и латыш Шварцман, не проронивший за все собрание ни одного звука. Резолюция Нестерова собрала восемь голосов. Кто-то ушел до голосования. Собрание не расходилось: все чего-то ожидали. Владимир сидел на камне, опустив голову, ни на кого не глядя. Наконец он медленно поднялся, неестественно-спокойно промолвил:

— Заявляю о своем выходе из колонии.

Трофимов широким взмахом бросил в Девью скалу камнем. Васильев что-то крикнул, слов его Владимир не расслышал, Минц сунул газету в карман и тут же опять ее выхватил. Нестеров щипал бородку, с недоумением, по-видимому искренним, он спросил:

— Почему?

Другие ссыльные тоже смотрели на Владимира вопросительно. Губы у Владимира дрожали:

— Трофимов упомянул здесь Иуду. Иудами считаю я принявших резолюцию Нестерова.

— Вон! — крикнули в один голос Трофимов и Нестеров. Они сорвались с мест и бросились к Владимиру.

— Вы с ума сошли, — с трудом прохрипел Трофимов, багровый до удушья, переходя на «вы».

Лаутов заорал высоким фальцетом:

— Возьмите свои слова обратно! Возьмите свои слова обратно!

У Минца прыгала нижняя челюсть. Он не в силах был вымолвить ни слова, между тем как Васильев, потрясая палкой, кричал:

— Позор! Позор!

Сильно побледнев, Владимир втянул голову в плечи и тихо сказал:

— Слов обратно не возьму. Нет более границ между вами и царскими приспешниками.

— Сам предатель! — Трофимов кинулся на Владимира с кулаками. Низкорослый, похожий на гнома Шварцман схватил сзади Трофимова за локоть, сильно толкнул его и встал между ним и Владимиром. Не трогаясь с мест, латыш и Трофимов, тяжело дыша, смотрели друг другу в глаза. Трофимов тряхнул головой, точно сбрасывал с себя взгляд латыша, и, задыхаясь, подался назад:

— Вон! Долой! Сам Иуда-предатель!.. Тише!.. К черту!.. Призываю к порядку!.. Долой!..

Забыли, что собрание тайное и что его легко могла открыть уездная полиция. Были похожи на бесноватых и одержимых. Лаутов махал палкой, будто поражал невидимого врага; Тихменев толкал Костю, Костя силился в чем-то его убедить, прижимая к груди руки и пытаясь безуспешно перекричать собрание; Кубейко тянул за пиджак Нестерова, тот беспомощно оглядывался, порывался успокоить ссыльных. Владимир продолжал неподвижно стоять. Он видел и не видел, слышал и не слышал, что делалось кругом.

Наконец собрание утихомирилось. Сказал Нестеров:

— Предлагаю Владимира Сарматова исключить из колонии.

Шумела глухо и бездумно вода на порогах за скалами. С востока медленно наползали темные тучи...

— И меня исключите!.. — звонко крикнул Костя, победно оглядывая собравшихся и держа в руках трубку.

— Меня тоже исключайте! — прогудел мрачно Шварцман.

Владимир хотел сказать, что он раньше заявил о своем выходе из колонии ссыльных, и что поэтому исключать его поздно, но заявление показалось ему в ту минуту мелочным. Он промолчал.

Исключение проголосовали без прений, очень поспешно.

У Владимира хранилась касса колонии, а Костя ведал библиотекой. Нестеров предложил им сдать кассу и библиотеку.

— Не сдадим! — и за себя, и за Костю сказал Владимир. — Колония ренегатская.

— Сам ренегат! — запальчиво вскрикнул Минц, скосив плечо, дрожащими пальцами прилаживая на нос пенсне.

Опять ссыльные сорвались с мест, замкнули Владимира в ревущий круг. В гаме, в бестолочи Владимиру

удалось заявить: деньги и книги переданы будут другой, соседней колонии, не оборонческой. Заявление еще сильней взбудоражило собрание. Колония помогала неимущим, чаще всего при отъезде и побегах. Передача кассы другой колонии причинила бы многим ущерб и затруднения.

— Ловко! — ехидно орал Васильев. — Попробуй! Голову свернем!

— Свернем голову! — подтверждал Лаутов. Минц предлагал объявить Владимиру бойкот. Степан качал кудлатой головой. В заключение Нестеров предложил от колонии Владимиру и Косте сдать кассу и библиотеку в суточный срок. Владимир, латыш и Костя молча покинули собрание.

За рекою полыхали лесные пожары. Тянулись дымные пологи.

VI

Накануне отъезда Владимир долго бродил за городом. Дни стояли прозрачно-чистые. Ночью подмораживало, но по утрам солнце пригревало: посеребренные изморозью скалы влажно темнели. Небо ярко синело, будто объятое сплошным синим пламенем. Лесные урочища, неподвижные, хмуро-спокойные, отцветали пышной киноварью, червонным цветом, обведенные неувядаемой зеленью краснолесья. Пахло осенними запахами тундры. За городом, за рекой открывалось туманно-сиреневое море.

Завтра он, Владимир, в этот час уже будет на пароходе. Прощай, захолустье, убогий быт, староверы, белые ночи, зимние дни, лишенные света! С морем, с лесами и лебяжьими озерами, со скалами и зорями, со всем северным очарованием не хотелось расставаться. Однако ссылка пришла к концу как нельзя более кстати. За последние недели произошло много нелепого и тяжелого. Владимир сделался среди ссыльных изгоем. С ним даже не раскланивались. Местные интеллигенты — врач, лесничий, учительницы, аптекарь — тоже избегают с ним встречаться; до властей, очевидно, дошли слухи о неладах в колонии, о взглядах на войну Владимира. Исправник, человек обстоятельный и преданный престолу, усилил за ним надзор, недавно произвел у него тщательный обыск, к счастью, безуспешный. Деньги и библиотеку пришлось поневоле передать

Нестерову и его сторонникам: в колониях края повсюду верх одержали новые патриоты, вдобавок Нестеров и Трофимов известили соседей, что Владимир не возвращает кассы и что он исключен из колонии политических ссыльных: некоторые их выражения наводили на мысль, что Владимир — просто-напросто мошенник...

Нет ничего печальнее, чем видеть крушение старой дружбы!

...Владимир невесело усмехнулся. Несколько дней назад по городу распустили слух, будто в Белое море прорвалось три немецких крейсера и несколько миноносцев. Началась жалкая и глупая суматоха. Обыватели дежурили на скалах, вглядывались в морские просторы: не видать ли вражеской флотилии; запасались сухарями, консервами, сахаром и чаем на случай отступления «в глубь страны». Уверяли: из Соловецкой обители спешно вывезли драгоценности, иконы, утварь. Костя сообщил: колония решила принять участие в обороне города и края, если «враг осмелится свершить наглое нападение и посягнуть на родную землю». Каким способом собирались защищаться, не имея в море ни одного боевого судна, ни одной пушки на суше, было непонятно... Оборонять свое узилище, родину ржавых решеток, кандалов, веревки на перекладине, — этого только не хватало!.. Владимиру представилось: толстый, багровый исправник с надутыми фиолетовыми щеками, унылый, но обязательный околодок Дрызгалов, жандармский вахмистр с утиным носом, сутулый Нестеров с редкой бороденкой, социалист-революционер, сторонник террора, волжанин Трофимов, кряжистый рабочий Степан, недавний бундовец Григорий Минц бок о бок защищают «отчизну». Командует исправник, Трофимов, Нестеров, Минц сплеча врезаются «в стан неприятеля». Чепуха, ералаш, нелепость, однако близкие к действительности!

От Наташи — открытка: получила диплом Бестужевских курсов. Владимир не должен корить ее за редкие письма: много повседневной суеты, да и переписываться не умеет она, — для переписки нужна особая одаренность. А побеседовать надо о многом...

— О многом надо побеседовать, — вслух вымолвил Владимир. Два года назад он сошелся с учительницей из соседнего посада Мелесовой, веселой, молодой и непритязательной девушкой. Прожили немного больше года. Мелесову увлек ссыльный студент Пирогов, она

уехала с ним в Москву. Разошлись она и Владимир легко: даже продолжали дружески встречаться. О Мелесовой Владимир ни словом не обмолвился Наташе. Как жила она без него, об этом ему не хотелось и думать. В письмах он ее не расспрашивал.

Хотелось скорее покинуть тихий северный городок, и в то же время Владимир сознавал: «воля» несет новое и грузное бремя. В ссылке жизнь безответная, этой вынужденной беспечности теперь конец.

С утра Владимиру не давали покоя слова из «Юлия Цезаря»:

Трус и до смерти часто умирает,
Но смерть лишь раз изведывает храбрый!

Изведать смерть храбрым, воспитать в себе презрение к ней, что не удалось Толстому, Достоевскому, многим мудрецам и что удается людям революционного дела. Теперь это всего нужнее. Война предъявляет новые требования.

...Провожал на пароход Владимира один Костя. Шварцман уехал раньше. Костя гордился: в ссылке он остается единственным хранителем «неурезанных лозунгов». Владимир может быть совершенноо спокоен: он, Костя, не отдаст врагам славного боевого знамени. Пусть Владимир в этом нисколько не сомневается. Костя важно посапывал трубкой, держался со старшим товарищем, как равный с равным, хотя недавно еще Владимир преподавал ему начатки политической науки, и Костя отвечал на вопросы, точно школяр.

Когда пароход отвалил, Костя долго махал платком. Владимир не мог не видеть, что Костя несколько раз усиленно посопел: чертовски крепкий табак курил он!

VII

Отец Владимира, Николай Семенович, народоволец, врач и журналист, знал Желябова, Перовскую, Степняка-Кравчинского, отбыл пять лет крепостного заключения и столько же прожил в якутской ссылке. Народником он остался и позже. После девятьсот пятого года, освобожденный из-под надзора, Николай Семенович напечатал воспоминания. Воспоминания имели успех. Помещал он также в журналах статьи о народном здравоохранении.

Владимир рано лишился матери и вместе с сестра-

ми, Верой и Надеждой, вырос под надзором отца. Николай Семенович заменил детям мать, — они любили его и уважали.

Над марксизмом Владимира Николай Семенович иногда шутил, снисходительно, но не обидно. Себя Николай Семенович называл лавристом. Происходили у него с сыном и споры, не нарушающие, однако, взаимной привязанности. Николай Семенович отличался большой терпимостью. Владимир был любимцем отца, и, когда сидел в тюрьме, Николай Семенович худел, страдал бессонницей, не мог работать над статьями и над продолжением воспоминаний.

Владимир нашел отца заметно постаревшим, но еще бодрым. Встреча вышла нерадостная. Николай Семенович, подобно социалистам его толка, в вопросах войны и мира решительно высказался за поддержку союзников против Германии; он, между прочим, поместил статью в народническом журнале за гражданский мир внутри страны. В статье осторожно также напоминалось, что демократии надо дать больше прав и что народовольцы самозабвенно любили родину, верили в ее самобытность. По просьбе Николая Семеновича Владимир прочитал статью. Они были вдвоем в просторном кабинете. Николай Семенович, высокий, худой, пощипывая седую, коротко подстриженную бородку и поправляя золотые очки, ходил из угла в угол, искоса поглядывая на сына, который, зажав руки между коленями, не поднимал глаз со старинного персидского ковра.

— Ну, что же ты думаешь по всем этим вопросам? — негромко и неуверенно спросил Владимира Николай Семенович, не дождавшись, чтобы сын заговорил с ним первым.

Владимир взял с письменного стола нож слоновой кости и, поводя им по темному бархату кресла, неохотно ответил:

— Считаю, что было бы хорошо, если бы нас сильно побили.

— Ты так думаешь? — без надобности переспросил Николай Семенович.

Он осторожно обошел Владимира, положил журнал со своей статьей на верхнюю полку шкафа, где книги покоились в строгом и холодном порядке.

Владимир ничего не ответил. Он продолжал упорно смотреть на ковер и машинально гладить ножом налокотник старинного кресла. Николай Семенович нере-

шительно потер виски, засунул глубоко руки в карманы пиджака, прижав плотно руки к бокам.

— Не кажется тебе, что, желая нам поражения, ты способствуешь победе Вильгельма и его присных?

Владимиру больше всего не пришлось по духу это «и его присных», он скривил губы, сдержанно промолвил:

— Социалисты во всех странах должны желать поражения своим правительствам.

— Но если этого в жизни нет? Если немецкие социалисты защищают свою Германию?

— Тогда социалисты перестают быть социалистами, тогда они делаются шовинистами, они — изменники.

Николай Семенович вздернул плечом, стал у письменного стола и, перебирая на нем бумаги длинными пальцами, спросил подавленно:

— Продумал ли ты, Володя, что ты говоришь?

— Я продумал все это, отец, — Владимир поднял на Николая Семеновича невеселые глаза.

Николай Семенович будто в первый раз заметил, что у Владимира упрямый лоб, азиатский, немного раскосый развод бровей, худое продолговатое лицо, острое, непокорное. «В кого это он?» — спросил себя старый народник. И правда, Владимир не походил ни на мать, ни на него, ни на сестер. Николай Семенович вспомнил его двухлетним, «с браслетиками» на пухлых и розовых ручонках, вспомнил, как старательно кутали его в одеяла и как Соня, жена Николая Семеновича, белокурая, готовая переносить любые невзгоды, пела над сыном негромкие колыбельные песни.

Было, да быльем поросло. Давно уже Соня спит сном непробудным, нет и друзей далекой юности. Молодое поколение выросло, чуждое заветам. Жестокое оно, черствое. История для них — только борьба голых экономических интересов; родина, Россия, ее мессианизм — для них пустые, смешные слова. Узость, догматичность... «Может быть, с летами все это пройдет? В самом деле, Владимир устал, озлоблен», — примирительно подумал Николай Семенович, стараясь подавить обиду и чувство отчужденности к сыну.

Владимир же думал, что отцу горько, что встреча грустная, но что он иначе не мог вести себя с ним. Статью он считал возмутительной.

Он хоронил дорогие останки. Тускнел облик старого народовольца, современника Желябова, Александра Ми-

хайлова, Кибальчича. Владимир не мог от себя скрыть: отец писал то же самое, что ежедневно твердили «Речь», «Русские ведомости», «Русское слово», а они роднились с «Новым временем». Удивительно, до чего быстро и беспощадно все обнажает война.

— Поступай как знаешь. Пойдем пить чай, — примирительно сказал Николай Семенович и заторопился. В дверях отец и сын столкнулись. Николай Семенович неловко, боком, суетливо уступил место Владимиру. Владимир стоял неподвижно, ожидая, чтобы отец прошел в столовую первым. Он хмуро, исподлобья взглянул на Николая Семеновича потемневшим взглядом. Обоим сделалось не по себе.

Из столовой доносился грудной смех Надежды — младшей сестры Владимира.

VIII

С Натальей Владимир увиделся на другой день после приезда. Зайти к ней раньше не удалось: пришлось заняться проверкой прежних связей. Владимир побывал и в адресном столе, и на окраинах. Сведения, им добытые, его не утешили. Одни были взяты солдатами в армию, находились на фронтах, иные сидели в тюрьмах и в ссылках, след некоторых и совсем затерялся. Отдохнув от поисков, Владимир вечером отправился к Золотницким.

Глава семьи, Федор Иванович Золотницкий, в девятьсот пятом году работал в большевистском подполье, позже от партии отошел, успешно и даже, кажется, блестяще закончил курс юридических наук в университете и еще более успешно и блестяще занялся адвокатской практикой, — купил дом на лучшей улице, завел собственный выезд, прослыл хлебосолом.

У Золотницких Владимир застал гостей. Сам Федор Иванович, с виду обходительный, добродушный увалень, успел облысеть и отрастить живот, впрочем умеренный. Золотницкий легко перекатывался по просторным комнатам, весело балагурил и, видимо, нисколько не вдумывался в то, что, по обязанности, приходилось ему говорить. Он был доволен и гостями, и домом, превосходно обставленным, а больше всего он был доволен собой, своей жизненной удачей. Жена Федора Ивановича, Лидия Петровна, с расписными темными бровями, волоокая и пышнотелая, приходилась ему под стать. Вла-

димира Золотницкий принял радушно, будто давным-давно только и ожидал его возвращения, как он выразился, «к родным пенатам», участливо стал расспрашивать о ссылке, но, едва Владимир сказал несколько фраз, любезный Федор Иванович ловко ускользнул, передав его жене. Хозяйка нашла, что Владимир похудел.

В гостиной, на диване, около круглого стола с бархатными и атласными альбомами, в окружении молодых людей и девиц витийствовал писатель Бровкин. Накануне войны Бровкин выпустил сборник рассказов. В этих рассказах герои скрежетали зубами, проклинали мир, жаждали могильного покоя, громили пошлость даже среди самых завзятых революционеров, после чего впадали в расслабленную изнеженность, меланхолично выражались и о бесплотностях, и бестелесностях, о бесстрастной страстности, о вкрадчивых туманностях, о сладко-медлительных упоениях; упоения и страстности разрешались совращениями четырнадцатилетних отроковиц со ссылками на людей лунного света. Блуд проповедовался какой-то особый, всемирный и смертоносный. Осторожно трогая эспаньолку необычайно острым, длинным и старательно выращенным ногтем мизинца, подсюсюкивая и делая губы трубочкой, Бровкин, человек довольно кряжистый и с кривыми ногами, рассказывал о необыкновенно яростной немецкой атаке на юго-западном фронте, каковую атаку, со слов его приятеля-офицера, «нам» удалось не только отбить, но и обратить в свою пользу.

— Превосходный сюжет! Превосходный, — внушительно заключил Бровкин.

Из слушателей никто не понимал, какой именно превосходный сюжет таится в голой батальной картине и в отвратительном убое людей, но все притворялись, что вполне с Бровкиным согласны и вполне его понимают, а симпатичная девица в густейших кудряшках, сидевшая рядом с Бровкиным, даже тяжело и от всего сердца глубоко вздохнула, видимо, сожалея, что она еще не умеет обрабатывать превосходные сюжеты.

— Сюжетец для тысячелетий, — прибавил Бровкин, хлопнул по боковому карману, достал серебряный портсигар с замысловатыми вензелями и подозрительно крупными камнями. Бровкин уверен был, что он пребудет «в веках» и что вселенная и все в ней происходящее существуют только для того, чтобы предоставлять ему, Бровкину, отменные сюжеты и темы.

Владимир, не дослушав Бровкина, отошел к другим гостям. В столовой в ожидании чая беседовали учитель гимназии Никонов с адвокатом Гулковским и с ночным редактором местной газеты Барсуковым. Рядом с ними помещались две пестро одетые, упитанные дамы и неизвестный Владимиру человек, волосатый и в брелоках, с толстой золотой цепью на обширном животе. Про учителя Никонова рассказывали, что он, страдая запоями, во хмелю забирался на чердаки, откуда в слуховые окна лаял на прохожих по-собачьи. Адвокат Гулковский, приятель Золотницкого, содержал выезд с кучером, обладателем помрачительного зада; означенный кучерский зад, являясь гордостью Гулковского, прославлен был и именит во всей округе.

Беседа отличалась оживленностью и касалась злободневного вопроса об отсрочке военнообязанным. Никонов был уверен: его «не забреют» как учителя. Гулковский надеялся на сорокалетний свой возраст. «И без нас, батенька, народу хватит», — говорил он успокоительно, добродушно откидываясь к спинке стула. Больше всех беспокоился ночной редактор Барсуков. Ему тридцать два года, могут скоро взять: призыв следует за призывом. Впрочем, Земский союз и Союз городов будут давать отсрочки незаменимым работникам. Господин в брелоках с обширным животом снисходительно улыбнулся: неужели серьезно думают, что война будет длительная? Пустое! Современные войны краткосрочны: слишком они дороги и истребительны. Конец не за горами. Немцы будут разбиты. Господин в брелоках, как потом узнал о нем Владимир, был членом Государственной думы трудовиком Корчажинским.

Владимир и здесь не нашел себе места, — подошел опять к хозяину, хотел расспросить об общих знакомых по подполью, но Федор Иванович опять очень легко, ловко и мило ускользнул от Владимира.

Владимир уединился в кабинете и там долго перелистывал журналы. Когда и это ему наскучило, он опять заглянул в гостиную. И тогда увидел Наташу.

IX

Он увидел Наташу еще из кабинета в полураскрытые двери. Улыбаясь, невнимательно оглядывая гостей, Наташа разговаривала с хозяйкой. Коричневое шелковое платье плотно облегало ее развитую фигуру, на шее

сверкало, переливалось чистым и нежным блеском ожерелье дымчатых топазов. Наташа оправляла светлые волнистые волосы.

Коричневое платье напоминало Владимиру один давний вечер. Николай Семенович, он, Владимир, сестра Надя и ее подруга Наташа — обе тогда гимназистки — слушали «Пиковую даму». Владимир, студент первого курса, сидел позади Наташи и чувствовал какими-то подкожными чувствами каждую складку ее гимназического платья, каждый завиток ее волос, каждое ее движение. По неуловимым признакам, по наклону головы, по настороженности всей юной и милой фигуры ее он знал безошибочно, что и Наташа, не оглядываясь, чувствует его тоже особыми подкожными чувствами. Это было обольстительно и жутко. И было прекрасно скрывать это друг от друга и все же знать общую им, но только им одним во всем театре ведомую, стыдную и желанную тайну. Владимир даже затаил дыхание. Перед убийством старухи зазвучали потусторонние, мистические мотивы. Несчастье неотвратимо. Низкий, беспокойный и в то же время однообразный и завораживающий мотив поднимался, будто из глубокого могильного подземелья. В спальной старухи Герман (тогда только приобретавший известность красавец Баначич) пел: «Какой-то тайной силой...» Когда он направил на старуху пистолет и она вся затряслась, замахала руками, отшатнулась в предсмертном ужасе, Наташа, не отрывая глаз от сцены, откинулась, точно в изнеможении, к спинке кресла, бессознательно, должно быть, нашла руку Владимира и трепетно сжала ее, — видимо, от испуга и от желания почувствовать около себя кого-нибудь близкого. Трепет ее пальцев потряс Владимира.

Домой возвращались в полнолуние, в бодрый январский мороз. Снег сверкал, дымился, свежий скрип полозьев напоминал о нерастраченной юности, о том, что в жизни еще много необычайного и неизведанного. Наташа решила заночевать у Сарматовых. Дома долго ужинали, делились впечатлениями. Разошлись во втором часу. Комната Владимира помещалась рядом с девичьей спальней. Владимир уже разделся, но в стену постучали; наскоро одевшись, он зашел к Наде. Она попросила принести холодной воды. Наташа и Надя лежали в одной двуспальной кровати, натянув до подбородка одеяла. Принимая стакан от Владимира, На-

таша обнажила руку выше локтя. Белизна ее и округлость ослепили Владимира.

Наташа пригласила Владимира присесть на кровать и потеснилась. Ночные белые чепчики придавали подругам детское выражение. Надя расшалилась, называла Баначича своим суженым, а, отпуская брата, обняла его и крепко-накрепко поцеловала.

— Ну, поцелуй, пожалуйста, теперь и Наташу, — сказала она неожиданно.

Владимир покраснел, нерешительно взглянул на Наташу. Наташа закрыла глаза. Владимир наклонился, вдохнул тепло, пахнувшее анисом, и, пораженный близостью женского лица, робко поцеловал Наташу в трепетавший правый уголок губ и быстро вышел из спальной. Музыкальные фразы, восхищенные Баначичем Надины глаза, невольное Наташино пожатие, алмазная ночь, чепчики, а больше всего, конечно, поцелуй слились в одно томительное и вещее чувство.

...Из кабинета Владимир напряженно вглядывался в Наташу. Да, он отлично знал этот наклон влево головы, отягченной светлыми волосами, задумчивое, спокойное лицо, несколько выпуклые глаза, небольшой умный рот, привычку потирать слегка щеки и подбородок... Промелькнула Москва, первые свидания у храма Христа-спасителя, зимние прогулки по пустынным и кривым арбатским переулкам, студенческие землячества, Художественный театр, татьянин день, революционные кружки, споры, южные ночи на крымском побережье, страстные ночи, когда он приходил к ней в комнату у самого моря в Нижнем Мисхоре...

...К Наташе подошел рослый и статный студент-путеец, черноусый, с копной курчавых волос. Наташа подняла на путейца ресницы, улыбнулась. Хозяйка, Лидия Петровна, взяла студента под руку и, нашептывая на ухо, отвела его в сторону.

Владимир вышел из кабинета. О том, что он у Золотницких, Наташа, очевидно, не знала и, увидев его, в первый момент с удивлением, даже как бы с испугом поглядела на него. И не сразу узнала.

— Владимир, Володя, — воскликнула она спустя мгновение... сделала неуверенное движение, помедлила, наконец подалась всем телом, обвила Владимира теплыми руками и стала целовать, не сводя с него больших влажных глаз. От нее пахло резедой. Волнуясь,

недослушивая, перебивая и себя, и Владимира, она расспрашивала, как он доехал и почему не зашел к ней еще вчера, и здоров ли он, и что он намерен делать. Владимир торопливо отвечал. Так, разговаривая и видя только друг друга, они машинально двигались по гостиной к кабинету, обходя гостей и, так же машинально, уселись в кабинете на кушетку.

X

— Вы изменились, Володя, — уже спокойнее говорила Наташа, внимательно теперь вглядываясь во Владимира и следя за каждым его движением. Уже она отметила себе морщины у него около глаз, обтянутые скулы, поношенный костюм, угловатые движения и что-то резко-обособленное, чего она в нем раньше не находила.

— Да, ссылка... — Владимир с удивлением подумал, что он отвечает Наташе, как чужому человеку. Почему-то взгляд его привлекало топазовое ожерелье, мешая сосредоточиться. Наташа рассказывала о Бестужевских курсах, об общих знакомых, о том, что подруги ее все бредят войной и уходят на фронт сестрами милосердия.

— Расскажите лучше еще что-нибудь о себе.

Наташа ответила не сразу.

Опустив голову, она наконец медленно обронила:

— Жила не очень весело... должна вам сказать... я, кажется, влюбилась... вот...

Покраснев, она жалко засмеялась Уголки губ у нее дрожали, руки беспомощно лежали на коленях. Она мельком взглянула на Владимира и тут же опять опустила голову.

— В самом деле? — переспросил глухо Владимир, сознавая нелепость вопроса. Наташа ничего не ответила. В столовой на миг вдруг сделалось почему-то тихо. Тишина влилась в кабинет и будто сковала и Владимира, и Наташу. Слышно было только, как Наташа неровно дышала. Потом в столовой опять зазвучали голоса, зазвенели посудой, вилками, ножами.

Владимир вспомнил черноусого студента-путейца около Наташи, довольное и веселое Наташино лицо, когда тот подошел к ней. «Наташа влюбилась в этого путейца», — твердо решил Владимир.

— Может быть, — робко вымолвила Наташа, — вы

что-нибудь мне скажете... Скажите... — Она просила жалобно, она не шевелилась. Казалось, жизнь покинула ее.

Владимира одолела рассеянность. Он что-то сказал Наташе и тут же забыл ответ. Наташа о чем-то еще спрашивала, он отвечал, опять забываясь. В памяти сохранились: зеленым абажуром затемненное несчастное и как бы воспаленное Наташино лицо, безвольные руки, угол дубового книжного шкафа, книги в золотых обрезах. И книги, и шкаф, и Наташино лицо выглядели бессмысленно. Не было у Владимира ни сожаления, ни тоски, ни обиды, а только безразличие и глубокая усталость. Мыслей тоже никаких не приходило в голову. Владимир не знал, что делать с собой.

— Выходите замуж? — спросил спокойно, даже деловито Владимир. Спрашивать об этом было неуместно, Владимир это понял, как только сказал, но, поняв, подумал: «Все равно».

— Выхожу замуж... Не знаю... Может быть... — ответила неуверенно и невнятно Наташа.

Владимир поднялся. Наташа, по-прежнему жалкая, растерянная, все еще чего-то ждала от него. Несмотря на свое состояние, она, однако, заметила и его рассеянность, и его деревянный, безжизненный вид. Она предпочла бы выслушать упреки, даже оскорбления. Она ждала их. Несколько месяцев готовилась она к объяснению, обдумывала каждое слово, старалась угадать, что он ей скажет. Но объяснения никакого не получилось, и это было всего тяжелее и обиднее.

В кабинет вошел черноусый статный путеец. Он бросил на Владимира мимолетный и холодный взгляд, молодо и звучно сказал:

— Наталья Александровна. Я вас ищу...

По уверенному тону, по ударению, какое сделал путеец на словах: «Я вас ищу», Владимир убедился, что он не ошибся в предположениях. У студента был нос горбинкой и яркие, точно покрытые кармином, пухлые губы.

— До свидания, Наташа, — вымолвил Владимир неожиданно просто и печально. Наташа хотела что-то сказать, но смешалась и, прощаясь, проводила Владимира длинным взглядом.

Хозяин, Федор Иванович, выразил сожаление, почему Владимир так рано уходит, но усердно его не задерживал.

Ночь Владимир провел в изнурительной бессоннице.

Один случай, совершенно, видимо, посторонний всему происшедшему, не давал Владимиру покоя. Весной бродя в ссылке по лесу, он подошел к озеру. Деревья стояли обнаженные, но уже с набухшими почками. У самого берега в темной воде черными пластами плавала жирная лягушечья икра. Было приторно смотреть на ее обилие. Обходя озеро, Владимир увидел в небольшом затоне лягушку; распластав ноги, она тяжело открывала рот. На спине ее, охватив ее шею передними лапками, неподвижно сидела другая лягушка. Владимир веткой стал ее снимать с первой лягушки, но та продолжала крепко держаться. Когда наконец удалось ее сбросить, Владимир на спинке первой лягушки обнаружил рваную рану. Мясо вылезало лохмотьями наружу. Владимиру стало почему-то страшно. Самец ли в припадке страсти и ярости изранил самку, или же верхняя лягушка спасала нижнюю, не давая ей захлебнуться и служа пластырем для ее раны? Во всем этом скрывалось нечто тайное. Освобожденная лягушка недолгое время слабо шевелила ногами, перевернулась белым брюхом, раскрыла рот и вздулась. Несколько дней Владимир не мог забыть лягушек. Теперь этот случай, неизвестно почему, назойливо лез в голову.

Владимир встал, когда в доме все еще спали, вышел на пустынную улицу, долго гулял. Днем ходил по адресам, побывал у двух товарищей, узнав от них много невеселого.

XI

Порою Владимиру казалось, что на людей, еще недавно боровшихся с родной азиатчиной, нашло вдруг затмение. Хуже всего вели себя писатели, поэты, публицисты. С отвращением Владимир отбрасывал газеты и журналы. Патриотические всхлипывания, неумеренная восторженность, крикливость, слащавое сюсюканье, заведомое лицемерие состязались со лживостью, с хвастовством, с проклятиями и предсказываниями. Владимир однажды был свидетелем, как пьяный базарный торговец-лотошник куражился перед полоумным стариком отцом. Он грозил старику, в чем-то его убеждал, плакал на его груди, звал в пивную, покрывал слюнявыми поцелуями, дыша винным перегаром. Сумасшедший пялил на сына мутные глаза, мычал, вертел головой, смеялся, показывая единственный черный, гни-

лой зуб. Печать напоминала пьяного лотошника, а старая Россия — полоумного старика... И в то же время где-то рядом, шепотом, на ухо, передавали вести о поражениях, о гибели корпусов и армий, о плутнях и грабежах при поставках, о казнокрадстве, о путанице, о бестолочи на фронтах, о невежестве и глупости командного состава.

Русская литература, наследница Белинского, Герцена, Чернышевского, Толстого, Чехова, Успенского, вела себя не лучше: прославленные писатели — Куприн, Андреев, Бунин и другие, недавние сотрудники самых левых, даже марксистских изданий, писали о немецких зверствах, о кресте на Св. Софии, о Дарданеллах, прославляли неимоверные доблести русской армии. Герои рассказов, повестей, романов по воле авторов, не зная куда податься от житейской чепухи, от безделья, терзаемые утонченными переживаниями, вдруг обретали утраченный смысл, отправляясь волонтерами на войну, где и погибали геройски. Получалось возвышенно и необыкновенно благонамеренно. Поэты прославляли главнокомандующих, министров, угрожали наглым тевтонам последней расправой, призывали не жалеть ни своих, ни чужих животов, следовать примерам Минина и Пожарского, что отнюдь не мешало превесело проводить им время в кабаках, в притонах, где всегда, несмотря на запрещения, можно было достать царской очищенной. Отправлялись в действующую армию и живописно изображали штыковые атаки, ураганные артиллерийские подготовки, наши подвиги и низости врага, «своими глазами» видели летящие снаряды — «чемоданы», посылаемые немецкими «бертами».

...Будучи в ссылке, Владимиру удалось напечатать несколько статей: о Герцене, о Максе Штирнере, о синдикализме, о декабристах. Печатался он также в «Правде» и в рабочих профессиональных органах. Теперь об этом не приходилось и помышлять. Писать хотелось о войне, об изменах. Но все сколько-нибудь родственные издания были закрыты. А, между тем, как часто томила Владимира потребность выразить себя в слове! Однако написанного нельзя было даже «складывать в стол»: оно легко могло сделаться добычей жандармов. Иногда Владимир испытывал глухую тоску и не в состоянии был взяться за книгу. Отягощенный наплывом дум и чувств, удрученный окружающим, целыми часами до изнеможения бродил он по городу.

XII

Надя, младшая сестра Владимира, разошлась с мужем, журналистом Феоктистовым, и поселилась опять у отца. Она брала уроки пения, готовясь в оперу. Надю считали красивой; ее пышноволосая голова была велика сравнительно с небольшим ее ростом. Но именно этот недостаток и придавал Наде своеобразную прелесть. Гимназистом и студентом Владимир дружил с сестрой. Длительные разлуки, тюрьмы и ссылки, замужество Нади разъединили их. С приездом Владимира взаимная отчужденность только усилилась.

Надю окружали актеры, певцы, рецензенты, хроникеры, военные инженеры, летчики. Они расправляли усы, дрыгали ляжками, блистали проборами, пахли помадой и фиксатуаром, табаком и коньяком, рассказывали анекдоты, от которых сами первыми смеялись, отважно изрекали о войне обычные в те годы пошлости. Николай Семенович изредка заглядывал на Надины субботники; выслушивая самоуверенные рассуждения поручиков и штабс-капитанов, оперных певцов и газетных работников, он конфузливо потирал руки, глухо покашливал, стараясь не встречаться взглядами с Владимиром, если тот ненадолго появлялся среди гостей.

После первого разговора о войне и Николай Семенович, и Владимир избегали о ней говорить друг с другом. Но Владимир знал, что отец принимает участие в широковещательных обществах помощи больным и раненым воинам. В местной либеральной газете Николай Семенович поместил недавно статью, в ней утверждал, будто война приведет к укреплению братства среди славянских народностей, для этого же укрепления надо решительно разгромить немцев и австрийцев. По поводу помянутой статьи Владимир не утерпел и напомнил отцу Карла Клаузевица.

— «...Все знают, что войны вызываются лишь политическими отношениями между правительствами и между народами; но обыкновенно представляют себе дело таким образом, как будто с начала войны эти отношения прекращаются и наступает совершенно иное положение, подчиненное своим особым законам. Мы утверждаем наоборот: война есть не что иное, как продолжение политических отношений при вмешательстве иных средств».

Николай Семенович, выслушав Владимира, заметил:

— Бездушно все это, Володя... механично и, я сказал бы, уж очень цинично.

— Голая правда, без химер, без ложной чувствительности.

— Без химер человечеству не жить, друг мой.

— Человечеству сейчас нужна прежде всего правда. В наши дни нет ничего вреднее иллюзий. С нами не постеснялись: нас грабили, у нас отнимали юность, мечтательность, нас лишили лучших видений детства. Не постесняемся и мы, отец. Мы готовы теперь на многое. Для этого нам нужна суровая и неподкупная правда.

Николай Семенович пристально вглядeлся в сына. Владимир сидел у окна. Отгорал зимний закат. Профиль лица у Владимира, тонкий и неподатливый, резко выделялся. Около уха бледная кожа была туго натянута. Владимир сидел неподвижно, был спокоен, но каким-то недобрым спокойствием. Вдруг он на миг показался Николаю Семеновичу даже страшным, будто он воплощал в себе неотвратимую и грозную судьбу.

«Да, они вполне готовы. Во имя своей правды они никого не пожалеют: ни друзей, ни родных». — Николай Семенович постарался отогнать от себя неприятные мысли.

Владимир медленно поднялся.

— Отец, ты помнишь у Тургенева одно стихотворение в прозе? В комнату, где много людей, влетело странное насекомое, похожее на муху, грязно-бурого цвета, голова угловатая, ярко-красная; оно то летало, то садилось, жутко и противно шевелилось, возбуждая отвращение. Все кричали: гоните его прочь, но никто не решался подойти. Один молодой и бледнолицый человек оглядывал всех с недоумением. Он не понимал, почему так кругом волнуются. Он не видел никакого насекомого. Вдруг оно уставилось на него, взвилось и ужалило его в лоб. Человек упал мертвым...

— Что ты этим хочешь сказать? — спросил с недоумением Николай Семенович.

Владимир криво усмехнулся, неохотно ответил:

— Почему-то вспомнилось... Мне часто теперь вспоминается это странное стихотворение...

Не взглянув на Николая Семеновича, Владимир поспешно вышел.

Спустя несколько дней Надя, защищая своих гостей, в сердцах обозвала Владимира тюремной крысой. Не-

смотря на уговоры Николая Семеновича, Владимир оставил его дом, сняв комнату. Два урока обеспечивали ему в необходимом жизнь.

XIII

Возвращаясь из ссылки на родину, Владимир знал, что подполье сильно пострадало; однако он не предполагал, что дела шли настолько худо. Город стоял на Волге, бойко торговал, имел несколько крупных заводов и фабрик, славился радикальной интеллигенцией. Когда-то, и совсем еще недавно, студенты, курсистки, врачи, присяжные поверенные, газетные и журнальные работники помогали подполью, правда, далеко не с такою готовностью и не в таких размерах, как это делалось в девятьсот пятом году. Давали явочные квартиры, собирали деньги, прятали литературу, помогали заключенным, а некоторые, впрочем немногие, входили и в организацию. Все это оборвалось теперь. Остались разрозненные рабочие кружки, предоставленные самим себе, без средств, без лекторов, без всего подвижного и вспомогательного аппарата. Одни из былых участников движения маялись по тюрьмам и ссылкам, другие, запуганные жандармами, смирно отсиживались по своим углам, третьих события оглушили и они не знали, что надо делать; многие, и таких насчитывалось большинство, покорно повторяли газетные мысли и лозунги. Товарищ по университету, земец Костров, обстоятельно и со вкусом убеждал Владимира, будто истинный интернационализм в том и состоит, чтобы признавать за каждым народом право защищать свое отечество: «Немецкие социалисты обязаны защищать свое отечество, а мы будем оборонять нашу родную Русь. Терпимость, мой друг, терпимость. Надо быть западником».

Встретился Владимир с журналистом Сидоркиным. В прошлом Сидоркин «освещал» жизнь союзов, клубов, больничных касс. Теперь он, теребя Владимира за пуговицы, беспокойно оглядываясь, приближая лицо с близорукими глазами так, что Владимир должен был все отклоняться назад, шептал скороговоркой:

— Я же говорил: подполью выходит полный карачун. Отставка. Понимаешь... Я же говорил: подполье — тормоз, пережиток, оранжерея, сектантство и буквоедство, мышиная суета, игра в бирюльки, преступная тра-

та сил и людей. Понимаешь! Выдержали испытания только открытые организации... Знаю, наперед знаю, что хочешь сказать... — Сидоркин неистово замахал руками с плоскими грязными ногтями. — Брось свои иносказанья... Нужны трезвые, реальные дела, не голые призывы. Немцы, братец ты мой, не шутка. Бери с них пример, ей-ей! На что они опираются в войне? Они, между прочим, опираются в войне на открытые массовые союзы и партии... Да... Да... Потому они непобедимы... Подумай серьезно об этом, советую... Я же говорил... понимаешь... Но... впрочем... извини меня... Дел во — по самое темя... Спешу... Заглядывай... — Сидоркин сделал ручкой, поправил окуляры, скрылся в ближайший переулок.

Другой товарищ Владимира, инженер-технолог Громов, при первой же встрече стал повествовать с необыкновенным самодовольством и смаком о своих успехах по службе и в обществе. Он пропускал мимо ушей, что говорил ему Владимир, и не спросил, хотя бы из вежливости, как жилось его товарищу в ссылке. Владимиру казалось, что перед ним помешанный и что помешался Громов на самом себе. И было непонятно и неправдоподобно, что такой человек несколько лет назад работал в подполье и подвергался добровольно опасностям. Владимир насилу отделался от Громова и так от него устал, что дома долго отлеживался.

В городе проживал Зимов, видный марксист-теоретик начала девяностых годов, Владимир не знал его лично и заручился к нему рекомендательным письмом. Зимов занимал видное место в промышленном комитете. Принял Владимира Зимов в просторном кабинете, обставленном мебелью красного дерева. У Зимова были мелкие, невзрачные черты лица, утлая бороденка, птичий нос. Мельком взглянув на Владимира, он холодно спросил, чем может служить. Владимир подал письмо. Зимов, сощурившись, быстро его пробежал, подал как-то боком руку, опустился с усталым видом в кресло, сесть, однако, Владимира не пригласил.

— Работу ищете? — Голос у Зимина был сиплый и надтреснутый. — Сейчас на виду ничего не имеется... Через месяц-другой, возможно, что-нибудь подвернется... Наведайтесь тогда... — Зимин передвинул на столе бумаги, как будто приподнялся с кресла, давая понять, что считает беседу оконченной.

— Я не нуждаюсь в заработке, — сказал Влади-

мир, — я пришел побеседовать по другим делам. — Он сел в кресло.

— Слушаю вас. — Зимов выпятил верхнюю губу и стал рассматривать свои руки.

Владимир спросил, как смотрит Зимов на попытку через подставных лиц приступить к изданию небольшого ежемесячного журнала.

— Невозможно... Ничего не выйдет, — с чрезвычайной поспешностью ответил Зимов, дернул себя за бороду и откинулся на спинку кресла. Быстро поднявшись, он проворно замкнул тяжелую дверь, уселся на прежнее место и, глядя поверх Владимира на карту военных действий с флажками, решительно заявил:

— И невозможно и не нужно. Не время. Дело надо делать, дело. Надо добывать хлеб, фураж и побольше отливать пушек. Иначе нас сомнут в этой всеобщей свалке... Читали, вероятно, про наши последние неудачи... Союзники нами весьма недовольны. Да и есть за что быть недовольными... — Зимов взглянул сначала на часы, потом на Владимира, еще больше построжал.

Владимир поторопился оставить кабинет.

Сойтись с рабочими кружками тоже не удалось. То отменялись явки, то сообщался неверный адрес, то Владимир не заставал, с кем надо было повидаться, то знакомство с указанным товарищем ни к чему не приводило, а однажды Владимир напоролся на засаду и едва ушел от дворника и охранника, погнавшихся за ним. Спас трамвай. Никакой пророк не приемлется в отечестве своем, — библейская истина лучше всего оправдывалась в подполье родного края. Власти знали Владимира и не спускали с него своих глаз. Владимир шифром запросил друга Савелия о поездке на Юг.

XIV

Душевная жизнь Владимира в те дни была напряженной. Владимир весь подобрался. Чувства и помыслы слились воедино, подчиняясь одной большой, главной мысли и одному самому большому и самому главному чувству. Главное же и самое большое была война, смерть, разорение. Выглядел теперь Владимир сосредоточеннее, суше. Он лучше владел собою, хотя и раньше он обычно себя не распускал. Глаза у него будто позеленели, кожа около ушей натянулась еще сильнее. По наружному же виду он казался спокойным. Он

только реже смеялся, и смех у него выходил невеселый.

...Каждый день оставлял памятные следы. Сердце стало обнаженным. Время пропахло кровью, могилой. На вокзале, случайно наблюдая отправление воинского эшелона призывников, Владимир обратил однажды внимание на молодого солдата, видимо пригородного крестьянина. Он прощался с дочерью лет восьми и с трехлетним сынишкой. Девочка, одетая в рваный и грязный овчинный полушубок, придерживая за руку братишку, не сводила с отца больших потемневших глаз. Взгляд ее был скорбный, угнетенный, — взгляд деревенской взрослой женщины. Отец гладил детей по головам, не зная, что сказать им, чем утешить, беспомощно оглядывался, точно искал поддержки и ободрения. Дети вели себя тихо и покорно, но, когда поезд тронулся и призывник, стоя вместе с другими в дверях теплушки, снял шапку, откинул привычным жестом волосы, перекрестился истово и вытер кулаком скупую и грязную слезу на корявой щеке, девочка сорвалась с места и, увлекая за собой братишку, бросилась бежать за вагоном.

— Тятя, тятенька! — кричала она надрывным, тонким голоском.

— Тятя, тятенька! — Платок сбился у нее на глаза, она поправляла его движением взрослой женщины, полы полушубка били по худым и острым коленкам. Малыш не поспевал за сестрой, спотыкался, сестра тащила его.

— Тятя, тятенька! — Ветер раскидывал ее крик по перрону, звонил колокол к отправлению скорого поезда, паровозные гудки в депо заглушали детский голосок вместе с лязгом и стуком колес; поезд скрылся за зданиями, а девочка все еще бежала, тащила братишку и, задыхаясь, продолжала кричать...

Владимир подошел к детям. Сначала они ничего не отвечали, но потом ему удалось узнать, что живут они в слободе за оврагом. «Мамка» на проводы «папани» выйти не могла, застудилась и мечется в жару, и ей все хочется пить, а больше из взрослых никого в семье нет. Владимиру представились миллионы таких же детей, с криками: «Тятя, тятенька» — провожавших отцов своих в России, в Германии, во Франции, представилось их неизбывное горькое горе, и ему стало жутко.

...Сердце стало обнаженным, повсюду мерещилось

страшное, бессмысленное, беспощадное: в сухих сводках ставки, в умолчаниях, в хвастливых донесениях, в бесчисленных воинских эшелонах, пожираемых ненасытной пастью войны, жаркой и кровавой, в самом воздухе, тлетворном и губительном. «Оттуда» возвращались жалкие обрубки, уроды. Патриотический гам тщетно силился заглушить предсмертные хрипы, вопли и проклятия.

Владимир ничему больше не удивлялся: ни человеческой глупости, ни предательствам и изменам, ни наглости и жестокосердию, ни слепоте и наивности. Все больше привыкал он откидывать случайное, не связанное с главным. Его не тянуло к знакомым, так как среди них он чувствовал себя чужим и одиноким. Не побывал он ни разу ни в театре, ни в других общественных местах, хотя в ссылке неоднократно мечтал об опере, о концертах, о драме, о научных докладах. В размышлениях Владимира появилась некая торжественность, будто он готовился к самому значительному в своей жизни.

После вечера у Золотницких он ни разу не повидался с Наташей и встреч с нею избегал.

В январе от Савелия пришло письмо с явочными адресами в промышленный южный город. Одолеваемый охранниками, Владимир заспешил с отъездом.

XV

Накануне отъезда Владимир днем побывал у отца и на прощанье помирился с Надей. Примирение, однако, получилось вынужденным. Пришлось посетить еще несколько знакомых. Возвратился Владимир к себе вечером, голодный и усталый. Он приготовлял на спиртовке чай, когда неожиданно вошла Наташа.

— Не ожидали? — спросила Наташа, вбирая одним взглядом и Владимира, и скудную обстановку: железную койку, два стула, стол, полку с книгами, чемодан. Владимир был смущен. Смущена была и Наташа. В единственное окно светил месяц. От низко приспущенного абажура в комнате расплывались глухие сумерки. На столе в газетных свертках лежали продукты, жестяной чайник с помятыми боками еще больше прибеднял окружающее. Наташа, согревая дыханием озябшие руки, подумала, что Владимир одинок, но не обращает на свое одиночество внимания и, может быть,

его даже и не замечает. С семнадцати лет ютится он по углам, сидит по тюрьмам, в безвестности, пользуясь сочувствием и поддержкою лишь узкого круга друзей, таких же, как и он, отверженцев и отщепенцев.

«Меня он тоже не замечает». Глухая неприязнь к Владимиру, смешанная с жалостью, охватила ее.

— От Нади я узнала, что завтра вы уезжаете. Вы не нашли нужным даже проститься со мной.

— Я просил Надю передать вам поклон.

Наташа усмехнулась:

— Спасибо.

— Помешали дела...

— Вы стали вежливы...

Наташа сидела близкая, желанная и в то же время чужая и далекая.

Владимир с преувеличенным вниманием следил за спиртовкой. Наташа трогала ладонями щеки. Из угловой комнаты квартиры через коридор доносился незатейливый вальс. Наташа поднялась, лицо ее вспыхнуло, она отошла к окну, прижалась лбом к запушенному снегом стеклу, пытаясь, видимо, охладить себя, но щеки краснели все сильней и сильней. Не своим голосом Наташа спросила:

— Вы не играете на пианино?..

Владимир с недоумением посмотрел на Наташу.

— Вы знаете, я не умею играть ни на каких инструментах.

— Откуда я знаю? Может быть, за эти годы вы научились прекрасно играть? Может быть, вы прекрасно поете?

— Нет, я не пою.

Наташа повела плечом, пристально глядя на Владимира выпуклыми блестящими глазами:

— Жаль. Не мешало бы научиться петь. Вероятно, вы недурно бы пели.

Владимир провел рукою по лбу, сумрачно вымолвил:

— Вы пришли надо мною издеваться?

— Я могу уйти.

— Я не предлагаю вам уходить. Наоборот, я рад вашему приходу.

В верхнюю половину окна было видно, как по небу неслись белесые облака. Месяц то пропадал в них, то вновь появлялся, сея тишину и сон.

— Я все же ничего дурного не сделал вам, Наташа.

Нетерпеливая гримаса исказила лицо Наташи; с нескрываемой злобой (и как бы даже с презрением) она резко сказала:

— Все же... любимое ваше выражение... Все же... Думали ли вы когда-нибудь, что я — здоровая молодая женщина? Вы думали об этом?.. Вы серьезно об этом думали?

Наташа подошла к столу, глаза ее сделались еще более выпуклыми.

— Знаете вы, чувствуете вы, что мне нужны дети? Хочу быть матерью... вы не замечаете людей, даже самых к вам близких...

— Припомните, Наташа, вы сами не поехали за мной в ссылку.

— Я не поехала с вами в ссылку не потому, что боялась лишений и что мне надо было учиться. На все готова я была пойти! Готова была рожать и воспитывать детей в нужде, в холоде. Но у вас ко мне было только это ваше «все же». Я знала: это «все же» на целую жизнь, до гробовой доски. Я для вас — подробность. Вот почему я не поехала с вами в ссылку... — Наташа умолкла, потом, уже тише, прибавила: — Может быть, вы хотя бы теперь, хотя бы немного поймете, почему я выхожу замуж за Артемьева...

Наташа вновь отошла к окну и обернулась к Владимиру спиной.

Владимир негромко вымолвил:

— Производить детей — наука нетрудная. Труднее разумно и справедливо устроить жизнь.

Наташа круто обернулась, не спуская с Владимира пристального взгляда, твердо перебила:

— Производить детей — самая трудная и самая великая наука. Этого вы никогда не поймете. — Тряхнув головой, будто что-то от себя отгоняя, холодно попросила:

— Проводите меня домой.

XVI

Пустынными переулками они вышли на Торговую площадь. Падали редкие, мохнатые хлопья. Около ресторана дежурили лихачи. У самого подъезда перебирал ногами серый рысак с шелковистой шерстью, блестевшей от ресторанных огней.

— Возьмем лихача, — неожиданно сказала Наташа.

Они подошли к серому рысаку. Чувствуя, что на него смотрят, рысак поднял уши, скосил глаз, глаз сверкнул рыжим огнем. Лихач оказался незанятым. Когда Владимир и Наташа усаживались в санки и круглолицый, рослый парень лет двадцати семи застегивал медвежий полог, ближайшего к ним вороного рысака взял человек в черной поддевке, в белых валенках и в башлыке. Серый рысак, крепкогрудый, подобранный, с точеными, резкими ноздрями, пошел ровной рысью, разбрасывая снежные ошметины...

Медвежий полог скоро покрылся серебряной пылью. Вместе с ветром пыль славно и свеже била в лицо. И от быстрой езды, и от серебряной пыли Владимир и Наташа оживились и повеселели.

— Хорошо, — прошептала Наташа, прикладывая муфту к порозовевшим щекам. На ресницах ее дрожали пушинки снега, каракулевые шапка и воротник побелели от инея.

— Тебе не холодно, Володя? — спросила она, наклоняясь.

— Не холодно, Наташа, — ответил Владимир, влагая в последнее слово сдержанную ласку. — Нет, мне не холодно, Наташа, а тебе?

— Хорошо, — опять прошептала Наташа.

И вот все пережитое — расхождение с друзьями, с семьей, с ней, Наташей, неудачи в работе, отъезд на Юг, в неизвестность, — вдруг осталось позади. Была морозная синяя ночь, русская ночь — снежинки, бодрая жемчужная пыль, мельканье домов, деревьев, прохожих, были Наташины серые глаза, ее потеплевший, опять родной голос, серый рысак с трепетом сухих мускулов и кожи, крутобокий и крутогривый... что-то прекрасное, горячее прикипало к сердцу, разливалось по всему телу, полонило мысли и чувства.

Длилось это, впрочем, недолго. Уже тревожило Владимира нечто смутное и неприятное. Не понимая еще, что это такое, он оглянулся: шагах в ста двадцати шел вороной рысак. Он спокойно держал расстояние, не отставая, но и не приближаясь. И тут Владимиру припомнился человек в поддевке и в белых валенках. Владимир встретил его вчера около своей квартиры. Итак, за ним увязался охранник. Владимир опять оглянулся: вороной по-прежнему держал расстояние. Владимир тронул за плечо лихача: «Побыстрее». Лихач, будто нехотя, пошевелил вожжами. Серый рысак стал набирать

рыси. Наташа, полагая, что Владимир попросил лихача для нее, тихо сказала:

— Спасибо... отлично...

Серый рысак, споро выбрасывая передние тонкие, но необыкновенно крепкие ноги, шутя обгонял извозчиков по широкой Никольской улице. Но вороной не отставал. Владимир сказал лихачу: «Надо, чтобы вороной отстал».

Лихач пренебрежительно тряхнул головой:

— Дело нетрудное. — Тут он выпрямился, приосанился, повел плечами, поправил шапку, и тогда Владимир увидел, что до сих пор лихач считал их нестоящими седоками и только терпел их. Парень вдруг врос в облучок, прижал слегка локти к бокам, сделал переброску вожжей, натянул их, руки у него стали железные. Он несильно гикнул, серый рысак одним махом вынес санки далеко вперед, все больше и все сильнее наддавая...

XVII

Только теперь можно было по-настоящему оценить рысака. Отделяя хвост и вытянув гибкую шею, он едва касался земли, и в беге его не чувствовалось никакого напряжения. Дорога, дома, деревья, пешеходы сорвались с мест, завертелись, полетели, причиняя опьянительное и радостное головокружение. Морозная пыль колко хлестала в лицо, ветер обжигал щеки, лиходействовал, беззастенчиво забираясь в рукава, за шею. Улица перекосилась и словно опустилась. Владимиру мерещилось: он и Наташа остались одни во всем мире над все поглощающей, безрассудной и влекущей к себе бездной. Он растворялся в упоительном и стремительном полете, потерял время и едва ли ощущал себя...

Потом он вспомнил о человеке в поддевке, оглянулся: вороной едва-едва виднелся, возможно, то была другая лошадь. Владимир приказал лихачу свернуть на Нижнюю улицу. От быстрой езды она выглядела незнакомой.

...Вдруг Наташа подалась к Владимиру, в изнеможении и в забытьи прижалась к нему, не оборачиваясь и на него не глядя.

— Володя, — прошептала она страдальчески, откинула голову и зажмурилась. Владимир наклонился над ней. Губы у нее беззвучно раскрылись, лицо побледнело, под глазами обозначились темные круги.

— Володя, — опять прошептала почти беззвучно Наташа и опять умолкла. От шепота на Владимира нашло новое затмение, он пошатнулся. И тогда, одновременно, медленно, движение в движение, будто по уговору, они обратились друг к другу и поцеловались долгим, мучительным поцелуем. Наташа застонала. К каждому мускулу Владимира хлынула такая горячая и страшная жажда жизни, такая боль и тоска, что он едва не задохнулся и стиснул зубы.

— Пусть вечно, пусть вечно мчится, — невнятно лепетала Наташа, опять страдальчески, упоенно и страстно приникая к Владимиру. Точно сквозь сон, видел Владимир запушенную инеем липовую аллею бульвара, бездонные просветы неба меж разорванными краями туч, трепетавшие звезды, видел широко раскрытые, непонятные и тоже бездонные Наташины глаза, ощущал всем телом теплоту ее рук, ее ног, всю ее, желанную и вновь родную. Они неслись куда-то в неведомые пространства, испытывая нечто колдовское. Сознание вспышками освещало медвежью полость, широкую, ладную спину лихача, край облучка, конец оглобли. Легкий могучий бег рысака стремительно разрывал улицу.

— Пусть вечно, пусть вечно мчится... — одними губами, в блаженстве, в отчаянье, в тоске, в страсти, в безумии шептала Наташа. Бледная, бессильная, она напоминала усопшую. Черты лица ее заострились, потемнели, закаменели. Что-то губительное, ведьмовское, какое-то мертвое и непостижимое очарование мерещилось в них, и не было сил от них оторваться. Настоящее перестало связывать прошлое с будущим. Безумие простерло свои черные крылья.

Ветер свистел и завывал дико в ушах, снег слепил глаза, колол, резал лицо: Владимиру мерещилось, что и рысак, и он, и Наташа, и лихач слились в нечто единое, одушевленное одной жизнью...

...Владимир пришел в себя, оглянулся: вороного не было видно. Лихач спрашивал, куда дальше ехать, Владимир сказал Наташин адрес. Серый рысак перешел на машистую рысь.

Отпуская лихача, Владимир невольно опять залюбовался конем, трепетом его атласной кожи, — особо тонкой на голове, — его шеей, гордой и победной, его стальными связками. От рысака шел пар, падали клочья желтой пены.

— Добрый конь, — сказал лихачу Владимир.

— Ничего конек, — ответил парень, пряча деньги. — Старателем прозывается... Добытчик наш... им и живем одним.

Рысак скосил глаз, и он опять сверкнул желтым пламенем.

Лихач медленно отъехал. Владимир и Наташа замешкались у подъезда.

— Уезжаете? — спросила Наташа, очевидно только для того, чтобы сказать что-нибудь. Она стояла с опущенными ресницами. О, как хорошо знал Владимир значение этих опущенных ресниц!

— Пойдем к тебе! — чуть слышно вымолвила Наташа, не поднимая ресниц.

Где-то за забором, по соседству, звякнула щеколда.

— Ко мне нельзя, — после долгой паузы глухо ответил Владимир. — Сейчас за нами гнался сыщик. Он сторожил мою квартиру еще вчера. Сейчас мы от него ушли, но он непременно будет ночью опять меня сторожить. Я дома не ночую...

— Где же вы проведете ночь? — спросила Наташа безжизненно, незаметно для себя и Владимира переходя на «вы».

— Еще не знаю, у кого-нибудь из знакомых.

Наташа закрыла муфтой лицо.

— Прощайте, — с трудом молвила она, взглянула на Владимира враждебным и одновременно запоминающим взглядом, не сделав к нему ни одного движения. Она точно замерла... Месяц показался из-за облаков, от серебристого тополя, где они стояли, пала длинная негустая тень. Далеко, где-то на задах, на окраине, бездушно стучала колотушка. Наташа медленно пошла к подъезду. Владимир спрятал голову в поднятый воротник.

Ночь он провел у студента Петровского.

Уехал Владимир без осложнений. На вокзале, правда, суетился сыщик в черной поддевке и в белых валенках. Владимир боялся, что его задержат, но когда подали поезд, он удачно отделался от охранника.

2. Будни

I

Устроиться Владимиру удалось статистиком в больничной кассе при железопрокатном и сталелитейном заводе. Завод и рабочий поселок расположены были на берегу Днепра, верстах в тридцати от крупного промышленного губернского центра. Прописался Владимир по чужому паспорту и первые месяцы работал в кассе спокойно, приглядываясь к рабочим. Из единомышленников с ним вместе работали Генрих, Максим и Василий. Генрих, студент, из немецких колонистов, руководитель статистического отдела, отличался рассудительностью, правда, чересчур медлительной. Его считали лучшим советчиком, когда требовалось хладнокровие. Был он в работе требователен и обстоятелен, говорил мало и с весом. Максим, старший бухгалтер, в недавнем петербургский токарь, успел провести к тридцати двум годам лет десять в тюрьмах и в изгнаниях. В заключениях его изрядно били, увечили, морили голодом, Максим имел даже штыковую рану, но и это не убавило в нем ни подвижности, ни заразительного смеха, ни балагурства, неудачи с ним легко переносились, и взгляд его на мир и на людей был прост и ясен. Работал он споро.

Слесарь Василий Сергеев сидел обычно в приемной кассы за высокой конторкой, выписывая ордера больным на получение пособий. Большеголовый, плотный, плечистый, но бледнолицый, с тонкими, почти бескровными губами, Василий нигде подолгу не уживался: не спускал он ни мастерам, ни инженерам, ни другим на-

чальникам. Выступал Василий всегда неожиданно, пожалуй, даже и для себя. Глаза у него, синие и холодные, легко делались неистовыми. Но иногда среди приятелей и товарищей Василий улыбался странной, как бы несвойственной ему улыбкой, наивной, даже совсем простодушной, и тогда ничего не стоило взять его в руки. Ему приходилось содержать большую семью: жену и пятерых ребят, один одного меньше. Нужду, и немалую, Василий переносил без жалоб, а если и сетовал изредка, то только на свою «супружницу», женщину неграмотную, голосистую, разбитную и сварливую.

Металлист Коростелев входил от рабочих в правление кассы. Он умирал от чахотки. Было жутко смотреть в его глубоко запавшие глаза, слушать ужасное хрипение в груди, наблюдать, как он, двадцати восьми лет, задыхаясь, через силу, еле-еле поднимался по лестнице. И все же Коростелев продолжал помогать товарищам, уверяя, что на миру и смерть красна.

Генрих, Максим, Владимир, Василий, Коростелев составляли ядро группы. За исключением Генриха, всем пришлось много учиться. Владимир никогда не работал статистиком. Максим не занимался бухгалтерией, а Василий держал ручку в заскорузлых пальцах, будто боялся ее раздавить. Коростелев являлся в правлении кассы единственным представителем группы, малограмотным и неопытным. По вечерам брали работу на дом, стучали на счетах, выводили колонки цифр, разносили по книгам данные о денежных выдачах.

Рабочие приходили в кассу за лечебными листами, за талонами к врачам, за пособием. Василий обычно первым вступал с ними в беседы, обсуждал житье-бытье. Справлялся он со своей «письменностью» худо, и товарищам по группе нередко приходилось его заменять, между тем как сам он то собирал слушателей около своей конторки, то таинственно уводил собеседника в укромные места и там долго и горячо с ним шептался, то одевался и «исчезал» куда-то «по делу», то вступал в пререкания с заводскими служащими, коих он сильно не жаловал. Всюду у Василия обнаруживались приятели, «знакомцы». С одними он работал в шахтах, с другими в Таганроге, третьего «спервоначалу» встречал на плотах: «Помнишь, еще выпимши были!» Земляки и знакомцы иногда тщетно пытались вспомнить встречи с Василием. Василия это нисколько не смущало, и он не скупился на воспроизведение сомнительных подроб-

ностей. После убедительных «обхаживаний» Василий отзывал в полутемный коридор Генриха, Владимира либо Максима, скривив губы и приложив ладонь ко рту горсточкой, заговорщицки шептал: «Вечером ко мне, туды-сюды, придет один из новеньких. Ничего парень, сгодится. Загляните... передам его вам...» Острым языком Василий облизывал губы, щурился и щипал прядь волос у правого виска.

Из «обхоженных» больше других «сгодились» монтер Клименко и литейщик Валохин. Клименко любил помолчать, слово у него было трудное. Валохина в цеху уважали за правдивость. Группа прочила их обоих в правление при новых выборах.

С их помощью, и с помощью, конечно, Василия, удалось составить два кружка. Еженедельные беседы в них проводили Генрих и Владимир.

В конце апреля у днепровской кручи собрались на первое после объявления войны губернское совещание. Прибыло пять делегатов. Выяснилось: вся организация насчитывает не больше семидесяти человек.

— Не много нас, — вымолвил Василий и покачал кудлатой головой.

— Бывает и хужей, — успокоительно заметил Максим, попыхивая трубкой.

Участники совещания тоже нашли, что дела за последние месяцы поправились. Владимир предложил поставить подпольную типографию. Представитель губернского центра, товарищ Николай, видимо, превосходный оратор, сообщил: «Нужные связи с рабочими-типографами имеются, шрифта можно достать сколько угодно. Есть и станок». Наладить типографию поручили Николаю. Решили, далее, приступить к лучшему охвату больничных касс, прежде всего на больших заводах; был разработан и утвержден подробный план. После совещания, которым остались очень довольны, Максим таинственно заявил, что у него «есть нечто». Тут он извлек из кармана бутыль: «Чистый, будто детская слеза», — победно присовокупил он, вынимая также и закуску. Спирт разбавили днепровской водой. Апрельская южная ночь над рекой, луга, месяц вызвали в памяти Владимира строки из Алексея Толстого:

Вот и месяц из-за лесу кажет рога,
И туманом подернулись балки,
Вот и в ступе поехала баба-яга,
И в Днепре заплескались русалки.

В Заднепровье послышался лешего вой,
По конюшням с дозором пошел домовой,
Вот и ведьма уж пологом машет...

«Удивительно, — думалось Владимиру, — как вся эта нежить чудесно передает самую душу украинских ночей; но, пожалуй, еще более удивительно, что этот сказочный мир-символ все еще трогает и вызывает отклик. Бедное, зверушечье, отсталое сердце. Как часто оно погружается в наивное и смутное прошлое!»

Развели костер. Запахло дымом, водой, весенними травами. Обнаружились таланты. Генрих мастерски играл на гребешке. Василий проявил себя ловким и неустанным плясуном. Николай глотал водку, ничем не закусывая. Когда возвращались домой, подвыпивший Максим разбил камнем зеркальное окно в магазине. Из будок ночные сторожа бросились вдогонку за виновниками и стали свистками вызывать на подмогу городовых. Пришлось во весь дух улепетывать. У Максима хватило озорства криками подзадоривать погоню. Он едва от нее ушел. Генрих устроил Максиму головомойку: так ведь нетрудно было провалить и все совещание. Максим поднял его на смех из-за игры губами на гребешке. Генрих надулся.

— Мы не монахи, дружище, — примирительно сказал Максим и хлопнул Генриха по плечу.

II

Руководил больничной кассой секретарь Давид Розенталь, сторонник Плеханова, человек значительных познаний и политического опыта. Правление с председателем Лошиным шло за Давидом. Генрих, Владимир, Максим, Василий сначала притеснений от Давида и Лошина не испытывали, несмотря на резкие споры с ними о войне. Мирное сожительство продолжалось, впрочем, недолго. Давид заметил, что группа Генриха и Владимира собирается на стороне и ведет работу в кассе и на заводе. Секретарь сделался суше в обхождении, чаще стал теребить себя за висячие хохлацкие усы. Между ним и Василием уже произошли недоразумения. Группа поддержала Василия. Потом пришлось выступить против председателя Лошина. Лошин имел немалые заслуги в прошлом: в девятьсот пятом году он руководил местным советом рабочих депутатов, был арестован, высылался, работал в союзах. Во время войны

Лошин объявил себя оборонцем, занял место председателя кассы, старательно оберегая ее от попыток превратить в опору для подполья. Он не однажды давал понять и Генриху, и Максиму, и Владимиру, что ему известно о работе их группы и что он этой работы не одобряет. Тогда группа решила свалить Лошина на ближайших перевыборах правления. Василий собрал по заводу против Лошина большой обличительный материал. Лошин дружил с крупными служащими заводоуправления: с инженерами, с мастерами. Бывал он на приемах и у директора, жестокого и скупого самодура. Правление Лошин подобрал из бесцветных и малограмотных рабочих, из покорных заводских старожилов. Часто Лошин посмеивался над «догматиками» и «начетчиками». Его насмешки коробили даже Давида; однако Давид продолжал держаться за Лошина: он считал Лошина рабочим европейской складки. Перед Европой Давид преклонялся; о свободе собраний, слова, союзов и партий он говорил, брызгая слюной, размахивая руками и не слушая собеседника.

Группа составила свой список правления. Председателем наметили Коростелева, его помощником Василия; вошли также в список Клименко и Волохин. Василий на заводе не работал, а служащих кассы закон предусмотрительно лишал избирательных прав. Василию пришлось оставить кассу; кое-как удалось его зачислить на завод, где он повел подготовительную работу. Давид и Лошин, понятно, скоро об этом дознались. Распря сделалась открытой. Правление больше не допускало на свои заседания ни Генриха, ни Владимира, ни Максима. Коростылев тоже, якобы по оплошностям конторы, своевременно не оповещался о заседаниях. К тому же он слег, харкал кровью.

Общее годовое собрание было назначено на воскресенье. Владимир, Генрих, Максим отправились вместе на завод, но у ворот их встретила пешая и конная полиция. В ворота им удалось пройти, но при входе в цех, куда рабочие сходились на собрание, сивоусый с утиным носом околодок задержал их и направил к «господину приставу». Пристав разъяснил: «Означенные служащие к заводу не относятся» и присутствовать на общем собрании прав не имеют.

— Лошина проделки! — процедил брезгливо Генрих и тряхнул длинными пальцами, точно сбрасывал с них грязь. — Подговорил администрацию, а та известила

охранников. — Он и Максим отправились домой. Владимир еще раз попытался проникнуть в цех. На его удачу, сивоусый околодок уступил место другому сослуживцу; подошла толпа рабочих, и, замешавшись в нее, Владимир прошел в помещение.

III

Доклад правления, приготовленный Давидом, сделал Лошин. Лошин, небольшого роста, коренастый, чернявый, с густою проседью и сильно помятым лицом, говорил вначале невнятно и заикаясь, но потом овладел речью. Цель его доклада состояла в том, чтобы ограничить обсуждение вопросами, связанными с узко-деловой жизнью больничной кассы. Он удачно с этим справлялся. Он рассказал, сколько в кассе денег, упомянул о балансе, пожалел, что доля заводоуправления во взносах не велика, перечислил виды пособий и их размеры.

Слушали Лошина внимательно. Многие знали о борьбе двух групп, догадывались, что собрание не пройдет гладко, поэтому сошлись дружно и в большом числе. Облепили машины, подоконники, стояли плотной толпой, сидели на полу, некоторые забрались на балки под самый потолок. За столом около Лошина деловито шуршал бумагами Давид. Слева, широко расставив ноги, грузно «исполнял обязанности» в кресле пристав с бакенбардами николаевских времен. Позади кресла в непосредственной близости к своему начальнику переминался с ноги на ногу сивоусый околодок, вполне готовый к услугам, отчего утиный нос его все время куда-то неустанно устремлялся. Пристав, слушая Лошина, наклонялся в его сторону, прислоняя ладонь к уху, видимо, туговатому, таращил на собравшихся склерозистые глаза и строго поводил ими, как бы предупреждая «нежелательные явления».

После доклада у стола неожиданно появился Василий, окруженный группой рабочих. Лошин сумрачно оглядел его. Василий был бледен, губы у него дрожали. Он попросил слово и, не дожидаясь разрешения у председателя, старика литейщика Вахрушина, проворно взобрался на табурет, услужливо ему подставленный, звонко, тревожно и даже зловеще крикнул:

— Товарищи рабочие!..

Кашель, перешепоты, шарканье по асфальту прекратились. Пристав приподнялся, стал вертеть толстой пу-

пырчатой шеей. Нос сивоусого околодка готов был отделиться от лица. Всем сделалось ясным, что Василий скажет нечто, совсем на лошинский доклад не похожее. Что-то непокорное, своевольное, злое и вызывающее таилось в его напряженно приподнятых тяжелых плечах, в горящих из темного подлобья глазах, в спутанных волосах, во всей его коренастой фигуре.

— Товарищи рабочие, — повторил обращение Василий и потряс над головами собравшихся крепким кулаком. Этот кулак был выразительнее слов.

— Нам, товарищи, говорили здесь о разных делах, туды-сюды, но, между прочим, о главном нам ничего не выразил докладчик. А если начать с главного, то надо наперед спросить, как живется теперь рабочему человеку.

— Прошу строго держаться повестки дня и обсуждать только дела больничной кассы, — поспешно перебил Василия пристав.

Блюститель порядка приподнялся, надул щеки и постучал по столу кулаком, туго затянутым в белую перчатку.

— Ловко! — грохнул кто-то по адресу пристава из задних рядов, даже как бы и с восхищением. Сивоусый околодок вытянул шею, поглядел строго направо, откуда послышался возглас, зашевелил беззвучно губами.

— Я и хочу, господин пристав, обсуждать дела кассы. — Василий повел глазами в сторону пристава так выразительно и насмешливо, что кое-где сдержанно засмеялись.

— Наша касса, — продолжал Василий, — рабочая касса, потому я и говорю о рабочих. — Василий язвительно взглянул на пристава.

— Пра-ашу в пререкания со мной не вступать. Делаю первое предупреждение.

— Вот это ловко! — опять как бы восхищенно грохнул кто-то позади, и опять сивоусый околодок вытянул шею, хотел ринуться туда, откуда послышался возглас, но не знал, кому он принадлежал, только покачал головой: «Ах, какие невежи, какие неучи есть на белом свете. Сам господин пристав распоряжается, а они перебивают». Лицо околодка выражало неподдельное негодование.

По собранию прошел волной угрюмый гул. Кто-то осторожно свистнул.

— Слушаю-с, господин пристав, — смиренно по виду, но на самом деле с очевидной издевкой ответил зелено-желтый Василий, покрутил головой, будто освобождал шею от петли. Опять он оглядел собрание, на этот раз приглашая участников его во свидетели: смотрите, мол, как обращаются с нашим братом. Собрание общим натиском, точно его кто-то сзади толкнул, подалось к Василию.

— Итак, — говорил Василий, набирая голосу, — хочу я вам сказать, товарищи рабочие, что живется нам на заводе, туды-сюды, даже совсем дрянно.

— Пра-ашу не касаться, — перебил жестко пристав и еще больше надулся. — Делаю второе предупреждение...

«Братцы мои, да что же это такое?» — раздался на задах тот же самый хриплый голос, какой слышался и раньше.

Готовый к услугам и ко всякой неукоснительности сивоусый околодок не выдержал, его утиный нос полетел в толпу, но толпа угрюмо и неподатливо сдвинулась, сделалась зловещей, околодок отступил к креслу, нос возвратился на место.

— Если будут продолжаться подобные безобразия, — пригрозил пристав, поднимая руку, — я вынужден буду закрыть настоящее собрание. Вы не в питейном заведении.

— Вот именно, — крикнул кто-то двусмысленно из передних рядов.

По собранию вновь прошел невнятный гул. Василий стоял на табурете, еще более зеленый. Тонкие губы его резко кривились. Он тяжело дышал. Успокоившись, он продолжал:

— Возьмем для примера наше заводоуправление. Каким манером оно с нами обходится, как оно себя держит? Оно себя держит царем и богом.

— Пра-ашу... — совсем испуганно закричал пристав. Стоя, он в смятении обдергал книзу серую шинель. Рядом с ним метался сивый околодок, нос его нырял в толпе. Околодок горел самоотверженностью, но не знал, что ему предпринять.

— Хорошо, господин пристав, — вполне примирительно сказал Василий. — Нет, неправильно я сказал, товарищи, про наше заводоуправление, что оно себя держит царем и богом. Оно держит себя в двадцать разов хужее...

Василий, видимо, довольный поправкой, повел плечами и бросил на собрание веселый взгляд.

— Лишаю вас слова... Прекратите... — не своим голосом, визгливо и задыхаясь, заорал пристав и поднял вверх правую руку. Группа городовых бросилась к Василию. Толпа закачалась, но напору полиции не поддалась. Полицейским пришлось пробираться около стены, где проход был свободнее. Вдогонку им неслись шутки, брань, крики, острые, едкие словечки. Председатель собрания беспомощно дергал головой, силился безуспешно внести порядок. Звонил в колокольчик. Давид что-то шептал на ухо Лошину, Лошин щипал жесткие, темные усы, лицо у него дергалось, точно в тике. Выдавили окно, звон осколков еще больше взбудоражил полицию. Сивоусый околодок, орудуя всеми оконечностями, рвался к Василию. Утиный нос околодка угрожал, он даже стал острее и вытянулся. Ревнителя не пропускали. Околодок отчаянно оглядывался на пристава: «Сами, мол, видите, господин пристав, как я стараюсь, но что ж поделаешь с этими башибузуками...» Василий все еще стоял на табурете и вертел головой, наконец, сощурив близорукие глаза, развел широко руками: ничего не поделаешь — волей-неволей приходится убираться; как будто с нарочитой медлительностью он слез с табурета. Толпа, рукоплеща Василию, скрыла его в своих недрах. Пристав, не зная, что предпринять, обессиленный, пожимая плечами, сердито глядел на президиум. Наконец председателю удалось несколько угомонить собрание. Он спросил, кому угодно взять слово. Никто не отзывался. Председатель повторил предложение.

— Прошу слова, — вымолвил Владимир, не называя себя; он с трудом протиснулся к столу и поднялся на табурет, с которого говорил Василий.

IV

Владимир не предполагал выступать, но после того как пристав лишил Василия слова, после того как председатель тщетно приглашал высказываться по докладу Лошина и над собранием повисло напряженное и угрюмое ожидание, он, Владимир, понял: рабочие хотят выслушать то, что думал сказать Василий и что ему не удалось сказать. Повинуясь этому молчаливому приказу, Владимир взял слово. Владимир давно не высту-

пал на больших открытых собраниях, с девятьсот шестого года. Он испытывал волнение, но скоро с ним справился. Собрание сосредоточило на Владимире свой тысячеглазый взгляд. Куда ни обращался Владимир, он встречал глаза, поощрявшие его, спрашивающие глаза, изнуренные работой и нуждой, усталые давней, постоянной усталостью, глаза с темными провалами, с синими и черными подглазниками, затаенные, тщательно хоронившие сокровенные думы. Какое разнообразие оттенков, чувств, настроений! Но было во всех этих взглядах и что-то общее, объединяющее, единое и цельное.

Хотя и не знал еще Владимир, какую он скажет речь, но он уже знал, что он скажет хорошо и что общий план придет ему сам собой, без особых усилий. Пушкин однажды заметил: «Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений, следственно, к быстрому соображению понятий». Вот это расположение и вот это быстрое соображение и переживал сейчас Владимир. И действительно, план речи пришел в голову как-то сразу, легко, и он, Владимир, без напряжения начал говорить.

Пристав сначала не спускал с Владимира глаз, теребил бакенбарды, снимал и надевал фуражку, но «оратор из рамок не выходил» и все время упоминал только больничную кассу. Владимир говорил свободно и плавно, и на лице пристава почил даже отсвет некоей благожелательности и снисходительности, смешанной, впрочем, все еще с большой настороженностью. Сивоусый околодок, глядя на начальника, тоже прекратил устремляться, замер за креслом и, слушая Владимира, держал руки по швам. Нос его тоже мирно опочил. Все идет чинно, благородно: тут уж ничего не скажешь худого...

Владимиру пора было перейти к тому, что делалось за стенами завода. Он видел, рабочие хотят слушать о главном, о войне. Владимир подготовил их к этому главному: сведения о болезнях, о пособиях, о заработной плате касались военного времени и наводили на мысли о войне. Эту подготовку собрания поняли и Давид, и Лошин. Давид пытливо следил за Владимиром, похрустывал пальцами. А Лошин насупился и наклонился низко над столом. Поняли Владимира и некоторые из собравшихся. Направо у стены, скосив плечи, худощавый рабочий, в глубоких складках на лице, точно иссеченном шрамами, внимательно слушая Владимира, дву-

смысленно улыбался, приподнимал брови и разглаживал с довольным видом усы. Дальше на подоконнике сидел пожилой литейщик; его Владимир встретил недавно в больничной кассе. Время от времени литейщик поощрительно, украдкой кивал головой. Из разных углов на Владимира глядели с сочувствием и поощрением.

V

...Владимир говорил о законах рыночной борьбы, о прибылях, о росте и победах гигантских предприятий, о банках, о финансовой олигархии, о монополиях и колониях, обо всем том, что считал действительными причинами современных войн. Когда пристав начал беспокойно возиться в кресле, кашлять, поглядывать с сомнением на Владимира, он упоминал Австрию, Германию, — пристав тогда остывал. Надо было продолжать речь, надо было следить и за приставом, и за собранием. Владимир чувствовал, что выступление удачно. О войне он не сказал ни слова, и, однако, он говорил только о ней. Слушатели, по крайней мере многие из них, понимали, куда клонит Владимир. Щуплый рабочий со складками-шрамами улыбался и щурился все язвительнее и язвительнее. Пожилой литейщик продолжал поощрительно кивать головой, а впереди литейщика, в первых рядах, молодой парень со светлым пушком на губах и в необычайно грязной фуражке не сводил с Владимира глаз, шевеля непроизвольно губами. Этих трех слушателей Владимир держал в поле своего зрения и через них проверял действие речи и на других слушателей.

Собрание понимало Владимира, но слушателям хотелось услышать более ясные слова, сказать же эти более ясные слова было невозможно. Но невозможно было и отмолчаться. И это одинаково чувствовали и Владимир, и рабочие и одинаково мучились и искали выхода.

Худощавый рабочий перестал язвительно улыбаться и не сводил теперь с Владимира выжидательного взгляда. У него был такой вид, будто он хотел что-то подсказать Владимиру. Испытующе смотрел на него и бородач, а молодой парень, очевидно, незаметно для себя, все ближе и ближе придвигался к Владимиру.

...Владимир обратил внимание собрания на противоречия в современном обществе: именно они, эти проти-

воречия, расширяясь и углубляясь, приводят «к различным столкновениям». Услышав «о различных столкновениях», пристав встревожился, схватился за баки, приподнялся, хотел сказать что-то пресекающее, но Владимир, следивший за ним, поспешил перейти к делам больничной кассы, связав этот переход замечанием: «Возвращаясь к докладу председателя, считаю нужным отметить...» Пристав опустился в кресло.

— Поближе к делу, — явно иронически сказал неведомый голос из задних рядов, тот самый, который раньше говорил «ловко» и который доставил так много огорчений сивоусому околодку. Многие засмеялись. Они заметили и неестественный переход Владимира от общих вопросов к жизни завода, и движение пристава. Владимир сказал несколько фраз о больничных делах и опять упомянул «о разных столкновениях». И опять пристав затревожился, и опять Владимир сделал резкое и на этот раз подчеркнутое, механическое отступление к докладу Лошина... Сдержанный, но уже более дружный смешок прошел по собранию. То, что искал Владимир, было нечаянно найдено и им, Владимиром, и слушателями. Что-то веселое, что-то озорное пробегало по рядам, все дальше и шире распространялось, происходило какое-то скрытое, нарастающее движение; что-то теплое, горячее шло от толпы на Владимира, дышало на него, обнимало и захватывало. Между ним и слушателями уже происходил разговор, понятный им одним и непонятный ни приставу, ни околодку, ни городовым. Этот разговор о главном происходил с помощью повторений одной-единственной случайной и пустой фразы: «Возвращаясь к докладу председателя, я хотел бы отметить...» Неуместность этой фразы, ее настойчивое повторение получали особый злонамеренный смысл; фраза означала: «Дальше, товарищи, правду о войне говорить мне нельзя, это вы отлично видите, и вы должны понимать мои недомолвки... Но я все время говорю о войне, я ее осуждаю, выход — в борьбе с войной. Посмеемся над приставом с николаевскими бакенбардами...» И слушатели понимали Владимира. Смешки, улыбки, двусмысленные покашливания, одобрения усиливались. Владимир уже играл повтором: «Возвращаясь к докладу председателя, возвращаясь к докладу председателя...» Слова о председателе звучали гротеском, издевательством и над Лошиным, и над Давидом, и над приставом. Щуплый рабочий ухмылялся во весь рот, литейщик по-

ложительно держался за бороду и сжимал ее, точно собирал в нее слова Владимира, а молодой парень в грязнейшем картузе в такт речи Владимира двигал плечами. Пристав испытывал неопределенное беспокойство, но не мог понять, что же такое происходит, между тем как нос околодка совсем поглупел.

Закончил свою речь Владимир указанием: общие условия, ведущие ко взаимным обострениям, надо устранять тоже общими же, народными силами, а не вразброд и не в одиночку, как вздумается каждому. Возвращаясь к докладу председателя, надо отметить, что в нем этих общих выводов нет и в помине и что рабочим надо о них подумать самим.

Председатель долго звонил, стараясь поскорее затушить увесистые хлопки. Давид совещался с Лошиным, лицо у него было непроницаемо.

Владимир ожидал, что Давид возьмет слово, но вместо него с бесцветной речью выступил старший бухгалтер Савченко, после него говорили член правления Книжный, рабочий Федоров. Они ни словом не обмолвились ни о речи Владимира, ни о речи Василия, обсуждая исключительно кассовые вопросы. Их слушали рассеянно.

Владимир сначала не понимал поведения Давида и Лошина. Понял он это поведение, когда Лошин, ссылаясь на поздний час и на то, что дела больничной кассы требуют дополнительного обсуждения, предложил перенести собрание на очередной воскресный день и когда председатель, смяв голосование, объявил заседание закрытым. Владимир спохватился поздно, рабочие уже расходились. На заводском дворе молодцеватый городовой, придерживая на боку болтавшуюся шашку, подбежал к Владимиру, приложил руку к козырьку.

— Их высокоблагородие господин пристав просют вас в контору.

Владимир хотел было затеряться в толпе около ворот, но передумал и пошел за городовым. Почему-то он уверил себя, что пристав на этот раз его не тронет.

Пристав и в самом деле встретил его любезно:

— Слушая вашу речь, — объявил он снисходительно, разлядывая в то же время Владимира, точно он впервые его увидел, — могу сказать: ученая речь... скажу прямо, даже не для такого собрания; нашему народу надо попроще. Гм... Конечно, и у вас были места... так сказать, скользкие, так сказать, туманные, однако... какое же сравнение может быть с этим, простите за вы-

ражение, вихрастым вертопрахом? Никакого сравнения не может быть. Полная необразованность... и туда же лезет поучать других... нахватался разных верхушек, но совершенно не переварил, совершенно... Учиться надо с самых простых азов...

— Учиться никому не вредно, господин пристав, — неожиданно ввернул словцо Василий, неведомо откуда появляясь из-за спин служащих, рабочих и городовых, окруживших пристава и Владимира. Пристав от удивления, а может быть, и от негодования даже не нашелся что ответить, сердито надулся и замигал белесыми ресницами. Василия тем временем и след простыл.

— Да, знаете... — еле вымолвил пристав. — Желаю здравствовать, — прибавил он уже сухо, небрежно поднес руку к козырьку и монументально направился к выходу. Рядом с ним мелькнул утиный нос сивоусого околодка.

Возвращался домой Владимир усталый и счастливый. Редкая удача! Жизнь не часто его баловала, совсем не часто.

VI

Новое общее собрание состоялось только спустя три недели. Василия за это время рассчитали с завода, и он, опасаясь ареста, перебрался в город. Владимир не всегда ночевал дома и тоже собирался уехать. Уход его, а также уход Генриха и Максима ускорили Давид и Лошин. Они обнаружили у Максима в бухгалтерских книгах оплошности и предложили ему оставить кассу. Генрих и Владимир, понятно, вступились за Максима и были уволены. Максим зло и весело поиздевался над Давидом, и тот кусал свой длинный ус, а Василий перед отъездом прижал Лошина в конторе к стене и едва его не избил.

Проникнуть на годовое собрание никому из группы не удалось. Коростылев лежал в больнице, а он был единственным, кто имел право на собрании присутствовать. Давид и Лошин провели свой список правления. Список группы собрал четверть всех голосов. Лошин и Давид опирались на обеспеченных рабочих и на служащих конторы.

Перебравшись в город, групповики старались пристроиться по старому примеру в больничных кассах. Генриху удалось занять место секретаря кассы на самом крупном машиностроительном заводе. Максим с его

помощью поступил в ту же кассу старшим бухгалтером. Владимир тоже стал скоро секретарствовать в объединенной кассе заводов эстампажного, печного и железопрокатного. Помощником себе он взял Василия. Дела пришлось принимать от товарища по группе Лентовского, на вид до чрезвычайности положительного, говорившего всегда с большим достоинством. За последний год Лентовский отстранился от подпольной работы. Избегая воинского призыва, он решил уехать в Минск, в Союз городов, где ему пообещали отсрочку. Он спешил с отъездом, и, когда Владимир пришел принимать дела, Лентовский объявил, что дела больничной кассы в совершенном порядке, Владимир примет их от товарища Евы. К сожалению, товарищ Ева простудилась, а он, Лентовский, должен незамедлительно завтра же уехать, у него рассчитан каждый час. Побеседовав еще несколько минут, Лентовский сердечно распрощался с Владимиром, пожелав ему успехов и удачи.

Два дня спустя Владимир принимал от Евы дела... «Дел» по-настоящему никаких не обнаружилось. Бухгалтерские книги отличались непорочностью. Лентовский не потрудился завести даже черновой кассовой книги: денежные выдачи значились только на корешках ордеров. Статистика болезней не разрабатывалась. С переписки копий не снималось, протоколы заседаний правления долей были утеряны, долей представляли собой крайне неопрятные и неряшливые черновики.

Товарищ Ева, скромная девушка лет двадцати трех. усыпанная веснушками, точно кукушечье яйцо, работала в кассе. не жалея ни здоровья, ни сроков, но не знала, как и за что приняться, и потому вела дела вкривь и вкось. Владимир пригласил Василия разобраться в канцелярском хаосе, но Василий, потрудившись до холодного пота несколько дней, вошел однажды в комнату Владимира с зеленым лицом и с зелеными глазами и объявил: он предпочитает самую тяжелую, самую черную работу на заводе, но надсаживаться над этими мерзопакостными, над этими подлыми, над этими гнуснейшими бумагами он больше не намерен, провались они в тартарары к Вельзевулу в преисподнюю. Он, Василий, честный революционный пролетарий, еще не ополоумел и не рехнулся. И вдобавок он желает предупредить: попадись ему в руки Лентовский, живым он от него, Василия, не уйдет. Это уж вернее верного, своему слову доблестные пролетарии никогда не изменяют.

Владимир с трудом уговорил Василия не уходить из кассы.

Текущая работа не ждала. В то же время надо было торопиться с приведением в порядок запущенных старых дел. Осенью предстояло годовое общее собрание с отчетами, а Владимир не умел вести бухгалтерских книг, да и в статистике не отличался опытностью. На помощь пришли Генрих и Максим. Генрих указал, как упорядочить общее делопроизводство, а Максим взялся обучить Владимира бухгалтерии и для этого переселился к приятелю с чемоданом, видавшим многие и разнообразные виды, и с лампой. Лампой Максим гордился необычайно. Лампа стоила четырнадцать рублей пятьдесят копеек. Ее украшали замысловатые виньетки, наяды, русалки, цветы. По вечерам Максим отдыхал на кушетке, любуясь лампой, ее зеленым абажуром, осененный мягким, ровным и ласковым светом. Перебираясь к Владимиру и сидя в тряской пролетке, Максим бережно держал лампу в руках, точно мать грудного ребенка, и все видели, что лампа стоила полумесячного оклада.

Совместные странствования по ухабам и закоулкам двойной итальянской бухгалтерии, по книгам реskонтро и главной кассовой были изнурительны. Максим, и сам не сильный в счетоводстве, путался и ошибался, но признаваться в том не любил, старался ошибки свалить на недогадливость Владимира, а когда это не удавалось, то обычно говаривал, что ошибаются даже самые опытные бухгалтеры и что «по существу» мировая революция едва ли заметно пострадает, если буржуазная отчетность не будет усвоена как следует «тем или иным профессиональным революционером». В конце концов и учителю, и ученику сплошь и рядом приходилось доходить до истины своим умом.

Иногда, открывая давно открытое, они радовались, бросали книги, начинали тузить друг друга либо мирно раскуривали трубку, причем Максим уже принимал снисходительный вид, воображая себя истинным наставником.

Добытые знания Владимир передавал Василию и Еве. Василий с натугой усваивал «интеллигентские выкрутасы» и готов был на «этих загогулинах и крючках» повесить их изобретателей. В забытьи он выражался порой до того тяжеловесно, что Ева вздрагивала плечами и либо жалобно смотрела на своего сослуживца,

либо старалась не слышать его проклятий, приправленных такими солеными словечками, что даже сезонные рабочие, проходившие мимо «со струментом», делали стойки и предовольно улыбались.

На работу и на обучение уходило пятнадцать-шестнадцать часов в сутки. Не заметили, как прошло лето. Владимир отощал. От худосочья по телу пошли болячки. Сводить их пришлось несколько месяцев. Заводоуправление догадалось, что дела больничной кассы запущены, и не прочь было прищемить правление и в особенности служащих кассы: дирекция считала кассу учреждением крамольным, имела в правлении своих соглядатаев — членов из конторского состава. Эти доверенные надоедали расспросами, придирками, указаниями.

Максим прожил у Владимира около шести недель.

Переезжая к себе, он больше всего заботился о своей знаменитой лампе...

VII

Пособия выдавались по пятницам. В правление кассы тогда набивалось много больных и увечных. Больные кашляли, хрипели, шептали невнятные слова, стонали, задыхались, подолгу отсиживались на некрашеных скамьях, еле переводя изнуренные, страдальческие глаза, легко раздражались, бранили заводские порядки. Приходили землистые, желтые, с запавшими, подведенными животами, преждевременные сорокалетние старики и старухи, в коростах, в чирьях и нарывах, забинтованные, пропахнувшие иодоформом, с увечьями ног, рук, с перебитыми костями. Было жутко смотреть на эти сборища замордованных, полуживых людей, обессиленных работой и нуждой. В пасмурную, дождливую пору, когда в приемной гнила полутень, больные напоминали фантастический гофмановский мир, жуткий и бредовый; а иногда Владимиру мерещилось, будто он в морге и перед ним — трупы, по странности не утратившие еще способности передвигаться. Нужно было вести себя очень осмотрительно: жандармы, заводоуправление не спускали глаз с кассы. И для себя, и для Василия, и для Евы Владимир выработал особое поведение — не отвечать прямо самим на вопросы, задаваемые рабочими без обиняков, а, спрашивая, их самих наводить на желанные ответы. Василий хвалил эту практику, но в то же время нередко срывался и начи-

нал «разутюживать», не жалея ни сил, ни вдохновения. Иногда он до того распалялся, что огрызался на предупредительные и осторожные замечания Владимира и упрекал его в оглядках и в излишней умеренности. Наступая на Владимира, сжимая кулаки, Василий зло спрашивал:

— До каких же это пор будем мы ходить около да около? От ожиданок и лопух не растет. Сколько веков только ими и занимались. «Они» небось не дожидают, а гонят себе народ мильон за мильоном на колючую проволоку, на пулеметы и пушки. Всех бы их надо безусловно... — Василий ударял крепким кулаком по столу: чернильницы, карандаши, ручки, папки прыгали на столе. Ева осторожно отодвигалась и еще ниже склонялась над больничными листами.

Приглядываясь и прислушиваясь к рабочим, Владимир удивлялся их выносливости. Еще поразительнее было то, что эти люди, внешне порабощенные, сохраняли достоинство, честь и внутреннюю независимость. Несмотря на тяжелые условия быта, на нищету, на отсталость и невежество, они не продавали ни ума, ни своего сердца. Общность труда охраняла их, общность труда их облагораживала, выпрямляла, воспитывала стойкость...

Рабочие-правленцы приняли Владимира сначала сдержанно, но мало-помалу ему удалось сойтись с ними поближе. Председатель правления литейщик Кравченко, обладая природной сметкой, с трудом, однако, подписывал свою фамилию. В нем было много широкого добродушия, даже, пожалуй, снисходительности, нисколько, впрочем, не обидной иронии, очень умеренной и располагающей к нему, было много нерушимого чувства превосходства над господами жизни и над охранителями устоев. Неизвестно, когда и как, но совершенно твердо Кравченко осудил и эту жизнь, и этих господ настолько, что даже и не возмущался разными непорядками, подлостью, обманом и глупостью, а все свое внимание обращал на то, как от всего этого избавиться. Что следует делать, Кравченко знал еще смутно, но то, что усваивал, больше никогда им не забывалось. С Владимиром он сошелся из правленцев первым и свел его с печником Семеновым и кузнецом Нефедом, тоже членами правления. На них и опирался Владимир в кассе. Однако попытки составить из них и их товарищей нелегальный кружок были пока неудачны. Где-нибудь за

городом назначалось собрание, но обычно на него являлись только Владимир да Кравченко, — правленцы-рабочие в оправдание своих неявок ссылались на семейные и житейские дела и на усталость. Очевидно, одни еще опасались связать свою судьбу с подпольем, другие не совсем доверяли Владимиру. Василий, нередко нападая на правленцев, пушил их за «почесыванье» и за трусость. Те, в свою очередь, жаловались Владимиру.

Владимир такие жалобы иногда передавал Василию. Василий хмурился. Склонив над бумагой лобастую голову и расставив локти почти на весь письменный стол, он желчно отвечал:

— Я их, чертей, не так еще школить буду, в рот им дышло! У меня они попрыгают!.. — Помолчав и неожиданно отчего-то повеселев, Василий откладывал в сторону ручку, сильно потягивался и, бледно улыбаясь, с хитрецой прибавлял: — Иначе с ними нельзя... Потачки им не будет. Не дождутся.

VIII

На фронтах поражение следовало за поражением. Газетный и журнальный шум давно уже стих, и хотя обычные слова и повторялись изо дня в день, но через эту мишуру явно были заметны тревога, неуверенность, недовольство.

В правительственных кругах росли сумятица, интриги; министерская «чехарда» вошла в поговорку.

Владимир внимательно следил за настроениями рабочих. Никто уже не верил в победу «русского оружия», большинство к тому же этой победы и не желало. Исход войны делался очевидным. Теперь правленцы-рабочие уже сами начинали говорить о войне.

Кузнец Нефед пришел однажды в кассу с библией, долго прилаживал очки к корявому лицу, мусолил пальцы, шелестел страницами и наконец со значительным и сосредоточенным видом медленно и вразумительно прочитал Владимиру из Апокалипсиса:

— «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой».

«...И купцы земные восплачут и возрыдают, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и виссон, и порфиры, и багряницы, и всякого благовон-

ного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и мрамора...»

«Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая, и говоря: «Горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру, украшенный золотом и камнями драгоценными, и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство...

...И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и повергнул в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет...»

Подняв указательный палец, кузнец внушительно закончил:

— «Се, гряду скоро!»

Василий, стоя в дверях, с кривой усмешкой спросил:

— Это кто же грядет и куда?

Нефед неторопливо взглянул на Василия, погладил ладонью библию, пожевал губами.

— Мы грядем: кузнецы, шорники, молотобойцы, маляры, литейщики, а куда грядем, о том ты лучше нас знать должен.

Василий подошел к Нефеду, взял библию, перелистал несколько страниц, отложил ее, крякнул:

— Пора бы, батя, — он показал глазами на библию, — пора бы на чердак оттащить: трухлевата книжица.

Кузнец разгладил жесткие усы, благодушно ответил:

— За книгу не держусь. Ученые отрицают ее. А про Вавилон дюже хорошо сказано.

... Развязка приближалась. Владимир это видел и спокойно радовался. Но глубоко, где-то в тайниках души, лежало нечто тоскливое. Может быть, не хватало того, что называют «личным счастьем»? Нет, не то, но что же? Ответа не было.

Да, отчего же все-таки тоска? Была жажда подчинить, покорить мир, внести в хаос нечто закономерное, человеческое, живое; было еще что-то, не передаваемое словами. И вдруг Владимир почувствовал: эта тоска всегда пребудет с ним, что бы ни случилось. И именно она неустанно гонит его все к новым берегам и не дает успокоиться.

Дальняя дорога...

Вечные странники...

IX

Ночью Владимира разбудила жена Василия — Мария Митревна. Судорожно всхлипывая без слез, сухо блестя глазами, она сообщила: мужа схватила полиция.

— Доигрались, добегались! Кто теперь содержать будет мою ораву, кто ее накормит, напоит, обует, оденет? Пущай и берет их всех ваш комитет, пущай и делает с ней, что хотит. Хучь в тюрьму сажайте желторотых, хучь бумажки давайте им трескать... Все вы, мужики, хороши. Что же это за порядки такие: кажный год по ребенку. Я ему, прокурату, говорю: сгодил бы. А он только посвистывает себе... Вот и досвистался...

Владимир с трудом уговорил Митревну.

Спустя два или три дня арестовали Генриха. Вслед за ним взят был кружок рабочих, пять человек, а еще через несколько дней к Владимиру явился встревоженный Максим и рассказал: у него на квартире в его отсутствие произвели обыск, оставили засаду; о ней он случайно узнал от соседей. Надо было немедленно уезжать. Максим передал Владимиру связи, адреса, попросил выручить у хозяйки, если возможно, вещи, когда все утомонится. «Лампу жалко, — промолвил он в заключение, крепко-накрепко сжимая на прощанье руку Владимира, — важнецкая, брат, лампа была. И вдобавок кушетку купил. Кушетка — преотличная. Лежишь себе на ней и млеешь. Не говори: культура — великая вещь. Люблю тихую жизнь...»

С предосторожностями Максим выехал в Петроград.

Скоро Владимир приметил за собой усиленное наблюдение. Сыщики дежурили у кассы, провожали по улицам, торчали около квартиры. В контору под сомнительными предлогами заглядывали неопределенного вида личности, оглядывали внимательно шкафы и столы. Громыхая сапожищами, вломился огромный городовой и без обиняков объявил: пристав поручил узнать адреса служащих кассы.

Ночью пришли с обыском. Владимир был к нему приготовлен, встретил охранников почти радушно. Обыском руководил пристав, правая бровь у него была выше левой, к тому же он как-то странно дергал головой. Пристав старался держаться галантно, прикрикивал на городовых, мрачно и с изуверским видом Ворошивших вещи. В коробке на столе лежало несколько пуль, вынутых из обшивки вагонов с фронта. Пристав долго до-

пытывался, откуда пули. Владимир был уверен, что его возьмут, но его оставили на свободе. Утром хозяин дома, железнодорожный рабочий Тарасенко, выразил Владимиру сочувствие, обозвал жандармов и полицию «анчутками», взяточниками, после чего понес туманную околесицу о трудных временах, жаловался на обремененность семьей, на перепуганное до смерти «женское сословие» и в конце концов попросил Владимира освободить комнату.

Медлить не приходилось. Сыщики следили неотступно, аресты продолжались... Брали служащих кассы, брали рабочих, членов правления. На улице агенты охраны задержали Клименко, он приехал в город по делам группы и успел сообщить, что Коростылева, совершенно больного, тоже взяли в тюрьму. Было очевидно, Владимира оставили «на развод», чтобы лучше обнаружить его связи. Владимир спешно оставил работу у эстампажников и печников, переселился на другую окраину и выходил теперь только по вечерам.

Нужно было наметить новое руководство, связать между собой разрозненные кружки в районах и на предприятиях, покуда «центр» состоял из одного Владимира.

Работала невидимая, но опытная рука предателя. Тщетно Владимир перебирал в памяти всех, кого знал, проверял, собирал осторожно о товарищах сведения. Догадки, намеки, подозрения ни к чему не приводили. Следы терялись. Мерещились больные, мучительные сцены; Владимир просыпался от собственных стонов и криков и уже не мог более заснуть. И вся время его не покидало ощущение, что за ним кто-то наблюдает, кто-то преследует его, хитрый и жестокий, наглый и темный. Встречаясь на явочных квартирах с товарищами, Владимир невольно спрашивал себя: не он ли, не он ли? Это было хуже всего. Усилиями мысли и воли Владимир старался отогнать подозрения, но они, забытые, пришибленные, продолжали свою изнурительную работу в закоулках души.

До позднего ночного часа Владимир посещал собрания, проводил совещания, привлекал новых товарищей. В этой мелкой и кропотливой работе ему помогала Ева. Только теперь он оценил как следует эту невзрачную девушку. Ева никогда не отказывалась ни от каких поручений, выполняя их с редчайшей точностью. Была она некрасива, знала это, стеснялась, но, видимо, она не знала, что иногда ее лицо невольно обра-

щало на себя внимание сдержанным и затаенным сердечным трепетом и человечностью. О личной жизни ее никто в группе ничего не знал. Ева жила одиноко. Отца и мать она давно похоронила. Сестер и братьев не имела. Не было у нее и близких подруг. В группе Ева жила только работой и близко ни с кем не сходилась из-за своей скромности и крайней застенчивости. Она обрекла себя на безвестность и одиночество. Между тем порою Владимир замечал в Еве большие запасы нежности и женственности, но все это она хоронила в себе, тщательно оберегая от нескромного или досужего глаза. Когда работнику угрожала опасность и надо было его предупредить, посылали Еву, и не одного товарища спасла она от засады, облав, от обысков и арестов.

...Приехал член Государственной думы, социал-демократ, сторонник обороны. В роще за городом собрались с разных фабрик и заводов до сотни рабочих. Депутат, высокий и коренастый, с усталыми и умными глазами, в потертом пиджаке, выступил вяло и неубедительно. Владимир, Никитенко и товарищ Николай легко справились с депутатом; их резолюция собрала больше двух третей голосов, на собрании преобладали члены правлений касс и союзов. Депутат ушел расстроенный и даже не простился с Владимиром, хотя перед собранием они успели побеседовать и поспорить...

О сходке по городу ходило много слухов. Передавали, что Владимир выступил с необыкновенной речью; это было явным преувеличением. Жандармы и полиция справлялись о нем в кассе эстампажников. Надо было торопиться с отъездом и поскорее найти заместителя. У железнодорожника Матвеева во время ночного совещания дом стали окружать охранники и полиция: кто-то предал собрание. Патруль успел предупредить участников совещания, и они скрылись, попрыгав через забор, между тем пешие и конные городовые, с ротмистром и приставом во главе, уже почти оцепили дом. Владимир замешкался, его заметили на заборе, зашикали, засвистели, бросились наперерез в соседний переулок. Тем временем Владимир успел соскочить на землю, пересечь пустырь, забежать во двор и спрятаться в пустом хлеву. Погоня промчалась мимо. Владимир слышал, как по булыжникам процокали звонко копытами лошади. Матвеева взяли в тюрьму.

...Владимиру указали на Тулейникова как на замес-

тителя. Тулейников недавно возвратился из-за границы и охотно дал согласие принять от Владимира дела, но затем передача затормозилась. То Тулейников опаздывал на явку и после ссылался на неотложные занятия, то оправдывался, что лежал больным в кровати, то заявлял, что его преследует сыщик и пришлось долго его «водить» по городу. Он щурил подслеповатые глаза, косил правым плечом, потирал потные руки, обещал непременно прийти в следующий раз — и опять не приходил.

А кольцо вокруг Владимира смыкалось все тесней. В некоторых частях города он уже не решался появляться. Вместо Тулейникова дела принял нерасторопный Никитенко. Уехать Владимир решил в Петроград, но пришло шифрованное письмо, и он вместо столицы, где ему давно хотелось поработать, направился в один из губернских городов средней Нечерноземной полосы по новому, чрезвычайному и неотложному делу.

3. Ольга

I

Чрезвычайным и неотложным делом были заняты, помимо Владимира, еще пять человек. Из них Владимир постоянно встречался только с Ольгой и с Соколовым.

Странное лицо было у Ольги: продолговатое, неправильное и даже будто перекошенное. Запомнился также ее рот, большой и с первого взгляда некрасивый. Когда же она его раскрывала, обнаруживался такой ярко-коралловый и необыкновенно правильный овал верхних десен и такой ослепительный, вкусный и крепкий ряд зубов, что прекрасным делался и рот, и все Ольгино лицо. Глаза у Ольги были большие, напряженные, меняли цвет, чаще казались светло-зелеными. Ольга гладко причесывалась. Владимир считал Ольгу северянкой. Одевалась она просто, но хорошо, почти изысканно, носила платиновые часы-браслет в алмазах очень чистой воды.

В Ольге поражало природное целомудрие; оно, казалось, таилось в каждом ее мускуле, в складках платья, в ровном и спокойном голосе. О прошлом Ольги Владимир почти ничего не знал. Ничего неизвестно было о родителях ее, о воспитании, о среде. Привлекая к делу, Владимиру сообщили, что Ольга состояла в группе боевиков-максималистов, принимала участие в разных террористических предприятиях, но от максималистов отошла, сохранив личные связи. Она высказывалась за поражение русских войск. Лет ей было двадцать пять — двадцать восемь.

Ее товарищ по группе, Соколов, приземистый, коренастый, очень угрюмый, всюду, где появлялся, вносил нечто тревожное, таинственное и опасное. Люди себя чувствовали с ним стесненно, будто в чем-то перед ним были повинны. Соколов никогда не смеялся, не улыбался, да и не подходила улыбка к его темному и неприветливому лицу. Говорил он крайне неохотно, с натугой, тщательно подбирая слова. Газет не любил и редко в них заглядывал, занимался физикой, химией, технологией.

...Дело требовало сноровки и отваги. Предстояло освободить из тюрьмы трех заключенных. Один из них, Никандров, недавно осужденный за пропаганду среди солдат на двенадцать лет каторжных работ, являлся среди большевиков одним из самых ценных работников. Он сидел в одной камере с боевиками-максималистами Климовым и Яковлевым. Они обвинялись в убийстве жандармского ротмистра, им угрожала смертная казнь. Яковлев и Климов ждали суда, Никандров — отправления в каторжный централ. Все трое заявили товарищам на воле, что хотят бежать. Решили подвести подкоп под тюрьму, под камеру в нижнем этаже, где они содержались. Когда Владимир приехал в город, многое было уже сделано. Около тюрьмы у купца Овчинникова сняли пустой мучной лабаз и вели отсюда подкоп. Работали техник Соколов, Ольга и еще два максималиста. Шахта велась на глубине двух аршин. Соколов нагружал ломовую подводу кулями с землей, обильно испачканными мукой, земля вывозилась за город. Уже успели пройти улицу и приблизились к тюремной стене. Работали посменно днем и ночью. Чем дольше рыли, тем труднее было вести шахту. Нехватало воздуха; от дождей накоплялась вода, ее приходилось отводить. А надо было спешить. Никандрова каждый день могли отправить, а Яковлева и Климова осудить военным судом и повесить. Максималисты обратились к большевикам с просьбой помочь им. Им дали Владимира. Он охотно согласился принять участие в деле; опасность привлекала его; настроение, которое у него создала война, находило выход. Но не дрогнет ли он, хватит ли сил и умения? Владимир наблюдал за общим ходом предприятия, добывал деньги, через подкупленного тюремного надзирателя вел с заключенными переписку: надо было много предвидеть; например, как, когда взломать в камере асфальтовый пол, чтобы

не заметили дежурные надзиратели, куда и где поместить бежавших. Все эти вопросы подробно обсуждались Владимиром и Ольгой, между тем Соколов с двумя товарищами продолжали работу кротов. Работала в шахте и Ольга, но главное ее назначение состояло в том, чтобы помочь арестованным во время побега оружием, если бы это потребовалось.

II

Ольга пришла к Владимиру усталая: около пяти часов она проработала под землей. Тюремную стену удачно прошли; подкоп велся уже во дворе. Владимир приготовил на спиртовке чай, разложил хлеб, яйца, масло. Ольга неподвижно отлеживалась на кушетке. В открытое окно вторгались выгон, кладбищенская роща, часовня, поля со снятым урожаем, деревянные хибарки на взгорьях. За чаем Владимир прочитал Ольге расшифрованное письмо от Никандрова. Заключенные надеялись на скорое освобождение, находили обстановку благоприятной. Ольга рассеянно мешала ложкой крепкий, почти черный чай, думая о чем-то своем и будто постороннем делу. Решили прогуляться. Шли широкими тихими улицами. По обеим сторонам привольно раскидывались сады, тронутые осенью. Низкое солнце мешало остывшие лучи с прохладной желтой листвой. На деревьях блестели длинные паутинные пряди. Пахло тем свежим, бодрым, отрадным и в то же время грустным и радушным запахом, какой бывает в садах Черноземной полосы сентябрьскими вечерами. Откуда-то издали, с задов, с гумен несет мякиной, из огородов — укропом, а из самых садов — увяданием, дымом. На яблонях серебрились последние редкие яблоки.

Ольга негромко сказала:

— У дяди, где пришлось мне расти, я очень любила выбегать в сад по утрам. Сад еще свеж и росист, он седой, и нет ничего отраднее, как найти в траве любимое яблоко в пятнышках, покрытое серебристым налетом, и тут же съесть его. Чудесные были у дяди антоновки и бергамот.

Ольга опустила голову, погладила правую бровь:

— Сказано: «большой орел с большими крыльями, с длинными перьями снял с кедра верхушку, сорвал верхний из молодых побегов его». И еще сказано: «зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое древо зе-

ленеющее... не погаснет пылающий пламень, и все будет опалено им от юга и до севера...» И вот — огнь пожирающий, и вот я сделалась опытной в убийствах.

— Жалеете об этом?

Ольга пожала плечами.

— Не люблю людей: много надменности, чванливости, алчности, невежества, рабства... Обращали вы внимание, как некрасив, как уродлив человек, если сравнить его с кошкой, с волком, с птицей? До чего неуклюж, неповоротлив он. Вялые мускулы, отвислые животы, короткие ноги у женщин, длинные руки у мужчин. Как редко попадается красивое тело, одухотворенное лицо. С каким трудом находят прекрасное в человеке даже такие мастера, как Рафаэль, Рубенс, Пушкин, Гете... А прославленный человеческий ум... Все истины условны; все истины крайне недолговечны. Да и много ли их? Сколько мучений, крови, смертей на кострах инквизиций, на эшафотах и как же, однако, тощи и убоги откровения человеческого разума.

— Значит, вы отдаете себя ради избранных, ради героев?

Ольга, прищурившись, смотрела в остывающее густо-синее небо.

— О героях прекрасно однажды сказал Ницше: «Может быть, во всех великих случаях происходило одно и то же: толпа молилась на бога, а этот бог был сам только жертвенным животным...» — это очень верно.

— Следовательно, вы сделались опытной в убийствах ради будущего человечества?

Ольга пристально глядела на кремовые груды облаков, позлащенных по краям закатными лучами...

— Скажите, отчего такую власть имеют слова? Я всегда с каким-то необыкновенным внутренним упоением произношу про себя: «свет вечерний»... Да... о будущем человечестве... Не люблю его. Будущий человек обо мне и не вспомнит. Да и какой он будет, этот человек, неизвестно. Может быть, он будет хуже нас... — Помолчав, Ольга прибавила: — Я — мстительница. Я — оружие.

— Это неправда, — заявил Владимир.

— Может быть, и неправда. Мы еще почти ничего не знаем о себе.

— Что же побудило вас, Ольга, сделаться опытной в убийствах?

Ольга слабо улыбнулась.

— Призвание... Мне незнаком страх смерти. Я — не храбрая, я просто-напросто лишена человеческого страха смерти. Жизни я боюсь больше, чем смерти... боюсь грязных, корявых лап действительности. В детстве я боялась смерти... а потом перестала бояться; когда перестала, не заметила. Это большое несчастье — не бояться смерти... огромное несчастье. Это, должно быть, со стороны очень страшно... Все большие, все гениальные люди боялись смерти: Христос, Толстой, Гете. Помните моление в Гефсиманском саду — «Да минует меня чаша сия...»?

— Мне с вами не страшно, — сказал задумчиво Владимир.

Ольга ничего не ответила.

Миновали кладбище. За кладбищем поля разламывал глубокий овраг. Солнце на краю горизонта напоминало червонный татарский шатер. Кладбищенская роща погружалась в сумерки, но на верхушках сосен, кленов, тополей еще трепетала и скользила прощальная солнечная позолота. Владимир и Ольга присели у оврага. Внизу по песчаному дну его журчали неторопливые родниковые ручьи. Ольга сорвала несколько сухих былинок, стала обвивать ими тонкий и гибкий указательный палец. Владимир в первый раз обратил внимание на ее руки, короткие, почти детские, но мускулистые и очень живые. Что-то они напоминали Владимиру, но что же именно? Вдруг в сознании всплыло: несколько лет назад Владимиру пришлось быть на приеме у хирурга. Хирург, молодой, тщательно выбритый, худой, в ослепительно белом халате, расспрашивал его, положив руки на стол. Отвечая на вопросы, Владимир не мог отвести взгляда от этих рук: были они бледные, тонкие, женственные и вместе с тем крепкие и подвижные. Чувствовалось, что они постоянно имели дело с жизнью, отвечали за жизнь, эти ловкие, опытные и страшные руки, игравшие со смертью. Такие же, как у хирурга, были и Ольгины руки. Владимиру представилось: Ольга держит браунинг и целится; револьвер сливался не только с ее рукой, но и со всей ее фигурой, он составлял как бы часть ее существа, был ее органом.

Ольга спросила Владимира:

— Вы боитесь смерти?

Владимир долго не отвечал.

— Не знаю. Должно быть, боюсь.

— Смерть упоительна, — медленно сказала Ольга. Она поднялась, отряхнула платье. Недалеко, за поломанной оградой, серели кресты. Ольга молвила: — Люблю деревянные кресты на могилах.

Они подошли к черному кресту, на железной доске Ольга вслух прочитала:

— «Здесь покоится прах Николая Чупракова. Убит в 1909 году. Жития его было 27 лет». — За что убит, кто убил?.. Вероятно, уже все забыли об этом Чупракове... Мой ровесник...

III

Из дневника Владимира (даты тщательно зачеркнуты).

«...Вести дневник... Да простится мне мой проступок.

Я люблю Ольгу. У меня ощущение, что Ольгу я скоро потеряю... Ольга — человек с судьбой... И мне хочется как можно больше сохранить о ней в памяти...

Нашел для дневника удобное место... Беседовал с Ольгой о делах... Читали Тютчева. Признаюсь, от нее впервые воспринял я причудливые изломы тютчевской лирики.

Ольга говорила:

— Любовь и смерть связаны таинственными узами. Вспомните из «Фауста»: «Его любить, и тихо млеть, и целовать, и умереть». А Лермонтов с его стихами: «Выхожу один я на дорогу». А Гоголь, у которого Хома влюбился в мертвячку. А смерть мадам Бовари у Флобера с песней слепого о юбке, задираемой ветром кверху? А смерть Рафаэля в «Шагреневой коже»... О Тютчеве не говорю... Не вспоминаю и Пушкина с его влечением к смертельному. Вчитайтесь также в некоторые рассказы Бунина... в стихи молодого поэта-футуриста Маяковского... Прослушайте последний акт «Хованщины»... Не состоит ли высшая поэзия в этом соединении жизни и смерти?.. Прекрасное не только жизнь, прекрасное не только смерть: прекрасное — это таинственное сплетение жизни и смерти, тела и духа...

Ольга сказала о смерти:

— Смерть лучше всего названа Львом Николаевичем в предсмертном сне Андрея Болконского: помните, — в двери вламывается о н о. Смерть есть о н о. Жизнь — это Я. Смерть — это когда Я превращается в «не я», в о н о, в другое. Смерть — все, что я вижу,

слышу, обоняю, осязаю. Это — небо, облака, звезды, леса, реки, животные, птицы, все застывшее, делимое, непонятное, внешнее... «Оно»... Жизнь — это внутреннее, это — я, понятное.

Проходили мимо театра. У главного подъезда на мокром асфальте сидела девочка — нищая, лет восьми, в тряпках, полуголая. Молча она протягивала синюю от холода руку. Лица из-под грязного платка почти не было видно.

— Как все торопятся на зрелище, — молвила Ольга. — И никто даже и не взглянет на ребенка. Сейчас будут жалеть Ленского, Татьяну, думать о судьбе Онегина, наслаждаться музыкой, мечтать, грустить, а рядом помирает ребенок. Все это омерзительно. А еще считают себя честными, добрыми, умными, ведут идейные разговоры. Иногда мне кажется: красота и искусство — это дьявольское наваждение, они существуют лишь для того, чтобы прикрывать все отвратительное, злое, себялюбивое. Гете благословлял за это поэзию. Не честнее ли, однако, заглянуть в лицо жизни, не набрасывая на это лицо чудесного, преображающего покрывала Майи... Придет время, и будут удивляться, что люди когда-то увлекались добром, забывались красотой и в то же время допускали, чтобы на их глазах от голода и холода погибали дети. О нас будут думать, как мы думаем о людоедах, о худших временах рабства, о пытках инквизиции. Добром, красотой, моралью, философскими системами, вероучениями люди ограждают себя от хаоса, от боли, от ужаса жизни. С системами и вероучениями куда легче. Лев Толстой построил себе систему успокоения, или по крайней мере притворился, будто нашел ответ и успокоился; он окостенел, вообразил себя проповедником, учителем жизни... Так спокойнее. Все проповедники — люди крайне бессердечные...

Она подошла к девочке...

Возвращались домой сонными улицами. Шаги звонко отдавались по деревянным мосткам. Осенний холодок бодрил. Дома быстро загасили свет. От лунного света тело Ольги дымилось... мне всегда делалось немного страшно, когда смотрю на обнаженное женское тело, точно действительно оно таит в себе дьявольское обольщение. Ольга подняла руки, свела их над головой, крепкие соски нетерпеливо поднялись...

Но почему она остается далекой и недоступной? Есть между нами глухая преграда.

Мне хочется как можно больше записать об Ольге: томят тяжкие предчувствия. От Ольги я скрываю их. Знаю, есть они и у нее. Она их тоже скрывает. Иногда ловлю на себе ее взгляд, упорный, странный, огромный, как бы вбирающий меня всего в себя».

IV

Из дневника Владимира.

«Ольга:

— Порою вы и ваши товарищи, Владимир, представляетесь мне самыми страшными людьми. Слишком вы деловиты, слишком все взвешиваете на весах разума.

— В России, Ольга, как раз недостает таких дельцов. В России самое страшное — мечтатели.

— Есть нечто выше и мечты, и вымеренной деятельности, — это страдание. Не люблю людей, но человеческие страдания меня угнетают.

Ольга — хирург, но хирург с огромной болью в душе.

Не вижусь с Ольгой несколько дней... Бессонные ночи, глухой стук сердца, смятые подушки, недокуренные папиросы, головная боль, вереница изнурительных мыслей, неизвестность, темные ожидания... Не с кем побеседовать...

О прошлом Ольги по-прежнему ничего не знаю. Жила у дяди. У дяди был сад. В нем — вкусная антоновка и бергамот... Меня Ольга тоже ни о чем и ни о ком не расспрашивает. Это и хорошо, но как-то даже и обидно... У Ольги пристрастие: читать книги о животных, о птицах, о рыбах. Во время чтения лицо ее делается детским, губы раскрываются; иногда несколько раз надо ее окликнуть, прежде чем она отзовется...

На людях всегда остро чувствую, насколько мы с Ольгой одиноки и враждебны окружающему. Отщепенцы, отверженные, странники. Известность, слава художника, писателя, ученого, семья, уверенный, спокойный труд — как все это далеко от нас! Мы — безымянные,

безродные, бездомовные. Такими и уйдем из жизни... Жалеем об этом? Нисколько...

Кому-то надо поддерживать, укреплять, расширять житейское: трудиться, сажать деревья, снимать жатву, плоды, рожать и воспитывать детей. В «Бесах» Шатов бессвязно и чадно бормочет: «Было двое, и вдруг третий человек, новый дух, цельный, законченный, как не бывает от рук человеческих, новая мысль и новая любовь, даже страшно... И нет ничего выше на свете». Может быть, это и правда, но мы, я и Ольга, рождены для другого. Таков удел наш. Иногда, однако, я завидую простой непреложной жизни. Мускулы тоскуют по труду, по здоровой усталости. Хотелось бы походить за плугом, поплотничать, вдыхая запах горячих сосновых стружек, освободиться от одних и тех же мыслей... В городском саду однажды я подметил восхищенный и голодный взгляд Ольги, направленный на девочку лет трех, светлокудрую, голубоглазую, в сиреневом платьице и коротком осеннем пальто. Малютка бежала за шпицем, называя ее вместо собачки седячкой: «Седячка, седячка!» Заметив, что я гляжу на нее, Ольга потушила взгляд, ускорила шаг...

Оба мы заметно похудели... Долго беседовали о друзьях...

Ценю в Ольге сдержанность, с какой она говорит о войне. Нет лишних слов, но она очень внимательно следит за событиями, все превосходно понимает и помнит. Она легко разбирается в том, что происходит на фронте, по сухим, путаным и лживым сводкам воспроизводит истинную картину передвижений боев. Удивительно, откуда у нее такое чутье к военному делу? Может быть, это от предков? Но кто были ее предки? Зрительная память у Ольги необыкновенная. Она превосходно запоминает местность, дорогу и уже потом никогда не сбивается.

Ольга:

— Заметили вы, Владимир, как изменились люди за время войны? Они очень изменились. Повсюду появились проныры и пролазы, алчные и жадные дельцы, нахалы, оборотистые и на все готовые юноши, люди с меткими, цепкими взглядами, вьюны, развязные говоруны,

ловкачи и шантажисты. Их ничто не смущает. Нет никаких представлений о морали, о достоинстве. Лови момент! Они не теряются ни при каких обстоятельствах и всегда сумеют приспособиться. Без прошлого, без роду, без племени. Бессовестные, лупоглазые. Они — в газетах, в журналах, в учреждениях, в тылу, на фронтах, в гимназиях, в науке, в искусстве... Старая Русь уже стерта войной с лица земли. Она окончилась. Не знаю, худо это или хорошо, но я себя тоже чувствую уже в прошлом. Вы лучше, чем я, приспособлены к жизни... Вы ограждены вашим марксизмом. Я из последних...

Это — правда. Ольга из последних...»

V

Лабаз, низкое, длинное здание, помещался против тюрьмы через улицу. Владимир вместе с Ольгой зашел в помещение поздним вечером. Внутренность лабаза тускло освещалась ночником: боялись, что свет, хотя двери плотно завешивались парусиной, проникнуть может на улицу через двери или через какую-нибудь щель.

Владимир с трудом разглядел обстановку. В одном углу были навалены почти до потолка мучные мешки, набитые землей. Пахло свежим и могильным. В другом углу, ближайшем к мешкам, зияла широкая яма; кучи щебня, мусора, песку загромождали вход в нее; у стены стояли снятые половицы. Ими, когда прерывалась работа, закрывали вход в шахту. Напротив, у стены, на камнях лежали широкие и короткие доски, подобие стола. На полу три свернутых тощих тюфяка, набитых сеном, на них подушки-думки. На стенах висели платье, три браунинга.

Двое работающих, Шорников и Кузьмин, жили в лабазе затворниками и уже около месяца почти не выходили из него, дабы не навлечь подозрения.

Кузьмин был худощавый юноша лет двадцати двух, тихий, застенчивый. Он давал объяснения Владимиру, между тем как Соколов и Шорников работали в шахте.

— Шахта у нас трехгранная, — пояснял Кузьмин, — призматическая, по примеру народовольческой на Московско-Курской железной дороге. Такая шахта — самая удобная: требует меньше труда. Работать мешает недостаток воздуха, хотя нам приходится легче, чем восьмидесятникам-террористам. Помните описание работы под землей у Александра Михайлова, как над ними про-

носились поезда, дрожала и сотрясалась земля, трещала деревянная обшивка, сыпались камни, угрожая обвалом? У нас спокойнее. В общем работа идет успешно. Правда, и у нас бывают сюрпризы...

Кузьмин подвел Владимира к углу, где лежали мешки с землей, и показал пять человеческих черепов.

— Нашли почти под самой тюремной стеной. Очень странно, что, кроме черепов, не было обнаружено никаких других костей; очевидно, кого-то обезглавили и туловища похоронили в одном месте, а головы — в другом. Обратите внимание еще на одну странность: у всех пяти черепов — проломы с правой височной стороны: должно быть, их умерщвляли одним и тем же способом... Тюрьма старинная, ей, по утверждению историков края, больше трехсот лет. Она видала виды...

Черепа, набитые землей и положенные Кузьминым в ряд на один из кулей, слепо глядели черными впадинами, щерясь дикими и страстными оскалами. Действительно, у всех у них была проломлена правая височная кость. Ольга взяла один из черепов, но тут же положила его обратно.

— Загадочная история, — согласился Владимир, больше приглядываясь не к черепам, а к Кузьмину.

Про Кузьмина Владимир знал от Ольги, что он живет в особом, фантастическом мире. Все свободное время Кузьмин отдавал революционной литературе семидесятых и восьмидесятых годов. Он читал и перечитывал «Былое», мемуары, истории разных революционный предприятий, автобиографии, литературу «Земли и воли», «Народной воли». Он знал, как никто, хронологическую канву событий тех лет, мог сообщить, когда, при каких обстоятельствах был взят тот или иной работник средней руки. Лучшими моментами в его жизни являлось получение книги о революционном прошлом. Может быть, ему следовало бы не рыть шахту, а заниматься в стенах университета, в архивах, так как, бесспорно, из него вышел бы превосходный историк революционного движения, с тем, однако, существенным отличием от обычных историков, что минувшему Кузьмин отдавался со страстью, всеми помыслами. Так жил этот милый юноша в сыром, темном и холодном амбаре, работая под землей. Ольга сообщила, что Кузьмин, несмотря на запрещение хранить в лабазе что-нибудь лишнее, прятал где-то под полом пачку любимых изданий.

Из ямы показался Соколов, за ним Шорников. При слабом освещении лица их едва-едва выделялись из темноты. Оба поднялись отдохнуть и выпить чая. Оба были в одних рубахах, в коротких штанах до колен и в сандалиях на босу ногу.

О Шорникове Владимиру было известно немногое. Духовного звания, уволенный за бунт из семинарии, Шорников несколько лет прослужил в земстве и потом ушел в террор и в экспроприации. Он до конца был предан Ольге и следовал за нею повсюду, принимая участие во всех ее боевых предприятиях. Он довольствовался тем, что видел Ольгу, мог с ней говорить, делить опасную и кровавую участь. Был он по виду очень угрюм, говорил мало, но эти его свойства как-то не тяготили людей. Ольга относилась к Шорникову, как сестра к брату. Они с полуслова понимали друг друга, и часто им одного взгляда довольно было для взаимного объяснения.

Соколов и Шорников устроились на мешках у стола с колбасой, хлебом и чаем. Их лица были ужасны, утомление доходило почти до изнеможения. У Шорникова дрожали руки, и он должен был делать усилия, чтобы не расплескать стакана. Соколов тяжело горбился.

После чая устроили совещание. Шахтеры заявили, что работы осталось всего лишь на четыре-пять дней. Владимир, со своей стороны, сообщил, что по уговору с заключенными пол в камере можно будет ломать, когда они дадут световые сигналы в окно; их в лабаз передаст Ольга. Владимир хотел было спуститься в шахту, но нужно было спешить на явочную квартиру.

На явочную квартиру шли вместе, Ольга с Владимиром. Ольга сказала:

— И Шорников, и Соколов, и Кузьмин — замечательные люди. С ними я забываюсь. Я живу тогда в особой среде, совсем не похожей на окружающую суету сует, — и мне лучше и легче...

Владимир ответил:

— И вы, Ольга, и Кузьмин, и Шорников, и Соколов — люди исключительной силы и красоты духа, преданности революции, героизма, но вы не умеете правильно разрешить некоторых коренных вопросов революции. Кузьмин знает, как умирал Валерьян Осинский, как ходил в народ Александр Михайлов, а Мышкин в Вилюйске пытался освободить Чернышевского, но и он,

Костя, и вы, Ольга, не учли опыта прошлой революционной борьбы. Краеугольным в русской революции является вопрос об отношении стихии к сознанию, большинства к меньшинству, класса к партии, толпы к героям. Вспомните: шестидесятники проповедовали критически мыслящую личность; потом бунтари-бакунисты растворяли эту личность в народной стихии, преклоняясь перед мужиком-общинником. После неудач бунтарей народовольцы провозгласили в противовес стихии заговор решительного меньшинства. А правду открыл автор брошюры «Что делать», сочетав стихийность с сознательностью, класс с партией, толпу с героями. Его тип профессионального революционера и психологически, и теоретически, и практически разрешает собою дилемму, которая так мучила несколько революционных поколений, приводила их к гибели и которая не разрешена ни вами, Ольга, ни вашими товарищами. Тут ваша беда. Вы больны человеческими страданиями, живете в искусственной среде, Кузьмин грезит прошлым, Шорников вами, вашей судьбой, Соколов полон мрачной жизни. Вы — одиночки.

— Вы тоже очень одиноки...

— Это правда, но я одинок по-другому. Революционер всегда должен быть готовым к одиночеству. Он — против течения, он ведет войну не только с заведомыми врагами, но и в своем кругу, с косностью, с предрассудками, с трусостью. Но я и люди моей складки никогда не теряем ощущения связи с народом, с жизнью. Вы этой связи не ощущаете.

— Когда нет примирения в жизни, его ищут в смерти. Может быть, я найду его...

Всю остальную дорогу до конспиративной квартиры Ольга и Владимир шли молча.

VI

...Ольга пришла к Владимиру с опустошенным лицом.

— Их перевели в другой корпус; Никандрова отделили от Яковлева и Климова. Соколов сообщит дополнительные сведения.

Владимир и Ольга долго сидели неподвижно. Казалось, они забыли друг о друге.

Хозяйка квартиры, старушка Матрена Николаевна, приоткрыла дверь:

— Что же это, родные, вы без огня сидите? Не надо ли чайку?

— Давайте, бабуся, — ответила рассеянно Ольга, не шевелясь.

Матрена Николаевна знала, что Владимир живет с Ольгой, и очень одобряла обоих. Старушке нравилось, что Владимир не пьет, не водит лишних знакомств, много читает и обходителен в обращении. Ольгу Матрена Николаевна считала богатой и осторожно справлялась у Владимира о приданом.

— Чтой-то вы больно невеселы, — говорила старушка, внося лампу. От этих простых слов Владимиру сделалось легче. Матрена Николаевна внимательно оглядела Ольгу, вытерла губы концом платка, каким была повязана, хотела еще что-то прибавить, но ничего не прибавила и только сокрушенно покачала головой.

Пришел Соколов. Он узнал, что Климова и Яковлева через месяц будут судить. Несомненно, их повесят. Защитник в этом совершенно уверен. Жандармы и тюремщики что-то подозревают: недаром они разобщили заключенных и смертников поместили отдельно. Продолжать подкоп бессмысленно, арестованные сидят теперь в третьем этаже.

Соколов говорил толково и положительно. Слушателю со стороны можно было подумать, будто в комнате ведется обычная житейская беседа. Ничто не выдавало волнения Соколова, и только по редким, мгновенным судорогам, искажавшим его лицо, можно было догадываться о целых потрясениях, переживаемых этим человеком с темным лицом, с угрюмым и упрямым лбом.

Что делать дальше? Владимир предложил выяснить, нельзя ли заключенным бежать через стену во время прогулки. Еще раньше, осматривая тюрьму, он отметил, что стены не высоки, и тогда же у него мелькнули мысли о побеге с прогулки. Легкий по своей организации, этот побег являлся, однако, более опасным для заключенных. Очевидно, поэтому его и не выбрали с самого начала. Теперь он оставался единственным выходом. Ольга и Соколов согласились с Владимиром. Соколов далее рассказал: когда в лабазе узнали о неудаче, Кузьмин упал в обморок. Ольга слушала Соколова спокойно, только немного побледнела, да еще взгляд ее сделался более глубоким. Передавая Соколову зашифрованную записку для арестованных, Владимир заметил, что рука у Соколова дрожала, и пытливо по-

смотрел на него. Соколов отвел взгляд, заторопился, долго не мог найти фуражки, хотя лежала она у него почти на глазах.

Владимир подошел к окну. По стеклу медленно катились крупные темные капли. Он распахнул рамы. Ночь обняла его сырыми осенними запахами. Владимиру вспомнились Ольгины антоновские яблоки, и тут он почувствовал: прежние пути пройдены, наступает новая, неведомая полоса: прошлое утратило связь с настоящим. «Распалась связь времен»... Он закрыл окно, оглянулся на Ольгу. Она сидела у стола, подпирая рукой тонкий подбородок. Ресницы у нее были низко опущены. Владимир, не отрываясь, смотрел на женственный и в то же время сильный изгиб ее руки. О главном, о неудаче подкопа, о товарищах, которым угрожала смерть, говорить почему-то было трудно, но и молчание делалось тягостным.

Ольга медленно поднялась, постояла:

— Не провожайте... Пойду одна...

VII

...Владимир вышел на улицу и невольно отдался очарованию: такие легкие, прозрачные дни осень дарит только напоследок, уступая зиме. В необъятных небесах белые, негустые облака вставали обетованными странами. Был зво́нок и по-ноябрьски ломок воздух. Прохлада оседала на плечи, щекотала ноздри.

Пересекая улицу, Владимир по привычке осторожно оглядел ее. Тащилась старушка в черном чепце, в облезлой шоколадного цвета ротонде; тарахтела пустая водовозная бочка; группа мальчишек «заносила» змей, хотя ветер еле-еле шевелил последние желтые листья на деревьях. Мальчишки, впрочем, скоро убежали на выгон. Редкие пешеходы шли, поеживаясь и сутулясь.

Обнесенная серыми стенами, нелюдимо нависла тюрьма: два трехэтажных корпуса, невысокая и невидная церковка, мастерские, пристройки. Тюрьма казалась опустевшей. Было непонятно и удивительно, как могло существовать это мрачное грязное здание под таким чистым, непорочным и свободным небом.

...К побегу приготовились. Никандров сидел отдельно от Яковлева и Климова, но гуляли они вместе. Из веревок, простынь и белья были сплетены «кошки», лестницы с трехлапыми якорьками; на них пошли руч-

ки от параш. Во время прогулок заключенных сторожили два тюремных надзирателя; у стены ходил часовой. Гулять выводили по восемь—десять человек. Предполагалось, что кто-нибудь из гулявших займет разговором тюремщиков, беглецы выберут время, когда часовой скроется за углом корпуса, закинут на стену «кошки», вскарабкаются наверх, перебросят «кошки» на другую, наружную сторону стены, спустятся и добегут до пролеток. Две пролетки и лошадей Владимир добыл под городом у знакомого агронома, близкого к подпольным кругам. Одной пролеткой управлял Соколов, другой — Шорников. Ольга и Саша Кузьмин дежурили около тюрьмы боевиками. Гулять Никандрова, Яковлева и Климова выводили во втором часу.

Уже четыре дня выезжали Соколов и Шорников, а Ольга, Кузьмин и Владимир занимали свои посты. Кузьмин обычно гулял около лабаза, Ольга скрывалась в небольшой роще за выгоном. Впрочем, они менялись местами.

Удобный момент для побега все не наступал. Обстоятельства складывались не совсем благоприятно: «кошки» приходилось хранить в камере, где часто производились обыски, Никандров недавно перенес лихорадку. Хуже всего обстояло дело с пролетками: на тихих, захолустных улицах они бросались в глаза. Тюремная охрана и сыщики могли на пролетки обратить внимание. Наблюдение за сыщиками вел Владимир. Ему же принадлежало и общее руководство. Он выяснил, что около тюрьмы обычно дежурят два охранника, два молодых парня в кепках. Дежурили они, к счастью, не постоянно и к полудню куда-то уходили часов до четырех, а иногда и совсем не появлялись.

Из тюрьмы, с третьего этажа, Никандров, Яковлев и Климов перед прогулкой открытием фортки давали знать, что они готовы к побегу. Сотни непредвиденных случайностей могли повредить и без того чрезвычайно рискованному предприятию.

VIII

...Владимир выходил «на дело» первым. И сегодня еще за час до прогулки он тщательно осмотрел выгон, улицы, переулки, сады и дворы. Из главных тюремных ворот показался начальник Копылов, жестокий костлявый старик, известный кровавыми расправами над за-

ключенными. Экипаж его, на дутых шинах, сверкнул спицами.

«Вероятно, отправился с докладом к губернатору», — подумал Владимир, довольный отъездом Копылова.

Последние дни Владимир выпал из житейского круга. Людей, дома, деревья, предметы, улицы он видел как бы в отдалении. Все стало чужим. Спал Владимир не больше трех-четырех часов в сутки тревожным сном, но усталости не ощущал. Приходилось много ходить, и он удивлялся своей бодрости. Помыслы Владимира были целиком сосредоточены на заключенных, на предприятии, на Ольге и на смерти.

Никандрова Владимир знал по немногим встречам; Яковлева и Климова он никогда не видел. Но теперь он с ними сжился, точно они были близки ему издавна, с раннего детства. Владимиру ясно представлялось, как они томились долгими осенними ночами, с каким трепетом ожидали очередной прогулки, как прятали «кошки», следили за тюремщиками и часовым. Больше всего Владимир боялся за Никандрова. Никандров был почти вдвое старше Яковлева и Климова. Тюрьма и болезни сильно его истощили. Между тем участие Владимира в побеге объяснялось стремлением помочь прежде всего именно Никандрову: Владимир припоминал выступления Никандрова в девятьсот пятом году против либералов. Никандров тогда обнаружил себя природным вожаком и трибуном. Друзья и товарищи по партии ждали от Владимира удачи, и он понимал: этот побег будет делом его чести. Владимир всегда во всякую работу, за которую брался, вносил личную заинтересованность. Тем более подавляла его теперь ответственность. И он собрал все свои силы.

Ольга... Несколько дней назад он застал ее у себя за чисткой браунинга. Отложив браунинг, Ольга спросила:

— Думали вы, Владимир, когда-нибудь, что профессия мстителя, даже тогда, когда она освещается самой возвышенной и самой благородной идеей, накладывает неизгладимое клеймо?

— Я думаю, что это не так, — ответил Владимир, внимательно приглядываясь к Ольге.

— С каждым убийством что-то отнимается. Мир делается более пустым и бесцветным. Жизнь теряет смысл. — Она поднялась с кушетки, взяла браунинг и, опустив голову, стала рассеянно гладить его ладонью.

И тут Владимир с новой и необычной остротой почувствовал: «Завтра ее могут убить...» Мысль была чудовищна и в то же время проста и естественна.

С тех пор он стал много думать о смерти, о своей смерти, но еще больше о смерти Ольги. Он увидел и убедился, что к смерти он не готов. О ней надо было думать большими и окончательными думами; но таких дум у него не было. Все было как бы вчерне. Был смысл отдельных действий, поступков, но малые смыслы не покрывались одним главным, решающим. Не находя этого главного смысла, Владимир даже растерялся сначала. «Непременно надо все обдумать до конца, сделать все ясным», — говорил он себе. Но оказалось столько неотложных дел, мелочей, что заниматься размышлениями никак не удавалось, и он мало-помалу примирился с тем, что, может быть, придется умереть, не постигнув самого важного.

Боялся ли Владимир смерти? Он считал, что боялся. Больше он, однако, боялся за Ольгу, за Никандрова, Яковлева и Климова, за боевиков, хотя этого он и не сознавал, а, наоборот, думал, что боится за себя..

IX

...Владимир, стараясь быть незамеченным, прошел в запущенный обширный сад. Сад примыкал к лабазу, откуда раньше вели подкоп. Наблюдательный пост находился в полуразрушенной беседке. Отсюда через ветхий невысокий забор с выломанными досками хорошо были видны тюрьма, луг, слобода, Зеленая улица, переулки. Владимир внимательно вновь все это оглядел. До вывода заключенных на прогулку оставалось минут двадцать. Чем ближе надвигалось урочное время, тем увереннее делался Владимир. Подобно всем людям, наделенным живым воображением, он беспокоился больше всего когда бездействовал; когда же надо было что-нибудь предпринимать, он быстро овладевал собою.

От беседки пахло гнилушками. Желтые опавшие листья на запущенных дорожках лежали густыми пластами. Владимиру припомнилось: у лесной опушки прикорнула убогая деревня в десять—двенадцать дворов, старая, подслеповатая, с соломенными крышами, окруженная прошлогодними скирдами и ометами. Яркий и жаркий день пахнул медом, полевой кашкой. У дороги на лугу собирала цветы деревенская белокурая девочка

лет шести, босая, в холщовой домотканой рубахе. Прикрывая рукой глаза от солнца, она безотчетно улыбнулась проезжавшему мимо Владимиру. И эта улыбка, и вся ее тоненькая и серая фигурка с цветами точно воплощали собою все лучшее в погожем дне.

«Что же это мы делаем? — с неожиданным удивлением подумал Владимир. — Какой силе, какому закону мы повинуемся? Вот отдаем свои жизни, идем на кровавое дело. А ведь совсем недавно было детство, игры, смех; и еще более недавно цвела юность». На мгновение он закрыл глаза, и так сильно захотелось ему, чтобы все настоящее оказалось сном, наваждением, и такой горячей и мощной волной захлестнула его жажда жизни, что у него закружилась голова и на какое-то краткое мгновение он, может быть, потерял сознание.

«Что же это я! Что же это я!..» Огромным усилием воли Владимир подавил в себе смятение и глубоко, всей грудью вздохнул.

...В тюремном окне на третьем этаже открылась форточка. Почти одновременно из Знаменского переулка показался Соколов. На углу Зеленой улицы он спрыгнул с козел поправить упряжь. Пегая, невысокая, но, видимо, сильная лошадь изредка поводила ушами и встряхивала гривой. Оправив упряжь, Соколов сел опять на козлы и стал изображать незанятого извозчика.

Вслед за ним появился и другой извозчик — Шорников.

Через выгон медленно шла к роще Ольга, одетая в серое осеннее полупальто. Владимир вынул папиросу и закурил — подал Ольге условный знак. Ольга еле заметно наклонила голову.

Об Ольге надо было тоже подумать в последний раз, но думать уже было некогда. Саша Кузьмин, одетый мастеровым, заглядывал осторожно через забор в сад. Владимир и ему подал знак. Саша передал знак Соколову и Шорникову и сел около лабаза на скамейку. Лицо у Саши было измученное.

Все находились на своих местах. Владимир напряженно оглядывал тюрьму, стены, выгон, боевиков. Из тюремных ворот вышла группа надзирателей. Протрусил мещанин, в пальто до пят, с мешком картофеля. Город напоминал о себе отдаленным, сдержанным гулом. Иногда, точно по сигналу, все звуки сразу затихали. На тюрьму, на улицу, на луг наваливалась сторожкая тишина.

Владимир, продолжая оглядывать окрестности, время от времени безотчетно трогал в правом кармане браунинг. В холоде стали чувствовалась неотвратимость. Никакого страаха не было. Все прошлое отодвинулось, сделалось посторонним.

X

...Было двадцать пять минут второго. Вдруг над тюремной стеной, выходившей на выгон, взвилось что-то серое. Владимир поспешно привстал с перил беседки. Взметнулись темные фигуры: одна, другая, третья. И тут же Владимир увидел Ольгу; она поспешно шла от рощи к углу Зеленой улицы, где дежурил Соколов. Беглецы перебрасывали «кошки» с внутренней стороны стены на наружную. Владимир подал сигнал, Ольга уже стояла на тротуаре, засунув правую руку за борт пальто. Недалеко от нее, впившись взглядом в беглецов, перебирал вожжами Соколов. Саша Кузьмин прислонился плечом к старой ветле у лабаза, как-то странно запрокинув голову и опустив руки по швам. Лицо его походило на белую маску.

Яковлев и Климов уже успели спрыгнуть на землю, в то время как Никандров только собрался спускаться по перекинутой им лестнице.

«Ну скорее! Ну, поскорей же!..» — торопил его мысленно Владимир. Время словно куда-то провалилось... Его не было...

Владимир услыхал сухой щелк... за ним последовали другие выщелки...

«Начинается... А ведь я и ранее знал, что будут непременно стрелять...» Владимир судорожно сжал браунинг, втянул голову в плечи. На мгновение он опять растерялся: он не знал, что дальше делать с собой: бежать ли на помощь, стоять ли на месте, или, быть может, надо отдать какие-то распоряжения. Ольга взглянула через забор на Владимира. Взгляд ее показался Владимиру суровым. Владимир пришел в себя. Яковлев и Климов бежали от стены через выгон. Владимир махнул платком. Но еще раньше сигнала Соколов, натянув вожжи, с искаженным, черным лицом уже помчался навстречу беглецам. Поравнявшись с ними, он крикнул им и осадил лошадь. Яковлев и Климов вскочили в пролетку. Она понеслась по улице. Климов и Яковлев то и дело оглядывались назад. Это были молодые.

здоровые парни, похожие друг на друга, — или такими они показались тогда Владимиру. Соколов нахлестывал кнутом лошадь, хотя надобности в этом не было никакой: пегая лошадь, точно отлично понимая происходившее, не жалела сил. Прохожий в поддевке и в бараньей серой шапке, заподозрив, очевидно, неладное, махнул на лошадь с тротуара палкой, крикнул: «Держи, держи!» — но пролетка уже скрылась за поворотом.

Тем временем Никандров спрыгнул на землю. В то же мгновение распахнулись тюремные ворота и выбросили группу надзирателей и солдат, человек двенадцать. Позже выяснилось: товарищи, гулявшие с Никандровым, Яковлевым и Климовым, удачно «заговорили» дежурных дядек, и они не заметили побега. Но на беду солдат-часовой не сделал своего обычного маршрута, обернулся, увидел Никандрова на стене, поднял тревогу и стал стрелять...

XI

...Никандров, пригнувшись и потеряв фуражку, бежал в сторону Зеленой улицы. Он бежал зигзагами, чтобы помешать целиться в себя, и изредка оглядываясь. Шорников по сигналу Владимира спешил беглецу на помощь, понукая лошадь. Надзиратели и солдаты преследовали Никандрова, находясь в трехстах-четырехстах шагах. Расстояние это быстро уменьшалось, но еще быстрее к Никандрову приближался Шорников.

— Лови-и!.. Держи-и!.. Эй!.. О-о-ой!..

Преследователи сначала не стреляли по Никандрову, видимо, уверенные, что он от них не уйдет. Но когда Никандров был уже недалеко от пролетки, они открыли пальбу. Стреляли беспорядочно, не целясь: бежали врассыпную, стараясь перерезать Никандрову и Шорникову дорогу. Выстрелы звучали зловеще и жарко. Тогда Владимир увидел: Ольга, распахнув пальто, что-то крикнула Шорникову, бросилась к пролетке, одновременно с Никандровым вскочила в нее и тут же выхватила револьвер системы «парабеллум»: обернувшись к преследователям, она откинула левый локоть, согнув его острым углом, и несколько раз выстрелила. Сухопарый и жилистый надзиратель в мундире, с наганом, опередивший остальных, запнулся и, загребая руками, точно пловец, плюхнулся лицом в землю. Фуражка съехала на затылок, он стал сильно дергаться. «Но почему она

стреляет из парабеллума, когда она хотела взять с собой браунинг?» — пронеслось в голове у Владимира, точно вопрос о револьвере во всем происходящем и был самым важным.

...Раздались учащенные выстрелы. Пролетка неслась уже по Зеленой улице. Ольга, все так же держа парабеллум на локте правой руки, продолжала отстреливаться.

Рыжеволосый солдат в длинной, сильно поношенной шинели, отбросив винтовку, присел и свалился на бок. Владимир успел схватить взглядом лицо Ольги — синее, с огромными глазами — и черное дуло парабеллума. Пролетке оставалось до поворота за угол всего шагов пятьдесят. «Ну, скорее же, скорее... — торопил мысленно седоков Владимир. — Сейчас они уйдут, и я тоже скроюсь в соседний двор... Ну, скорее же, скорее...» Но тут Владимира точно хлестнуло по глазам: Ольга уже лежала посредине улицы... пролетка уносилась дальше, все дальше. Шорников, согнувшись и натянув вожжи, гнал лошадь, не замечая, что Ольги в пролетке нет. Никандров хватал Шорникова за пиджак, но тот не оборачивался...

Ольга лежала посредине улицы...

«Что же это она?» — Владимир еще не понял происшедшего, но уже бросился от беседки к забору, к Ольге. Ольга медленно приподнялась и, опираясь правой рукой, обратила голову в сторону пролетки. Пролетка как раз была на повороте, в следующий миг она скрылась. Ольга откинулась назад. По ее телу прошла длинная судорога. И только тогда Владимир понял, что с нею случилось. Ноги его налились тяжестью и приросли к земле.

XII

...Ольгу уже окружили. Из соседних домов и улиц бежали обыватели. Мимо забора, где находился Владимир, промчался парень с задорным хохолком; на бегу он что-то дожевывал. Пожилой чиновник в распахнутом мундире в пуху топтался у себя на крыльце: его разбирало любопытство, и в то же время он боялся «попасть в историю». На Зеленой улице пронзительно верещал полицейский свисток. Заливались собаки, кудахтали куры. Мальчишка в рваном картузе козырьком назад летел к месту происшествия с отчаянным лицом, точно за ним гнались.

Владимира непреодолимо потянуло к Ольге. Он понимал, что это безрассудно, что его могут взять, но противиться влечению был не в силах. Он вышел на улицу, точно лунатик. Браунинг он, впрочем, сунул в угол беседки, под гнилую отставшую половицу. Машинально он принял спокойный вид.

Ольга лежала навзничь, откинув правую руку. Глаза ее были закрыты. Спутанные тонкие пряди волос разметались по траве. На лице уже проступала темная землистая тень. Губы посерели. Пальто было распахнуто. Шерстяная блузка под левым соском набухала черной кровью. От крови шел легкий парок. Тяжелое, прерывистое дыхание мучительно распирало ее ребра, грудь, и все тело ее судорожно и неистово напрягалось. Что Ольга была еще жива, Владимир отметил почему то с ужасом и внутренне похолодев. Он даже пошатнулся. Тошнота подступила к горлу, он еле овладел собой.

...Сгрудившиеся вокруг Ольги солдаты, надзиратели, обыватели, мальчишки, торговки глазели на ее кончину с жадным, тяжелым и враждебным любопытством. Низкорослый солдатик, нескладный, лупоносый, хрипло вымолвил, ни к кому не обращаясь:

— Двоих... наповал...

В голосе его прозвучала почтительность. Уже распоряжался городовой-усач, приглашая разойтись, но никто не трогался с места. Откуда-то сбоку вынырнул совершенно лысый человечек лет тридцати, с сильно покатым лбом, с вытянутыми тонкими губами, с нагловато бегающими глазами.

Он крикнул фальцетом:

— Люди на фронтах погибают!.. А они здесь какими делами занимаются! Стерва!..

Носком грязного и заскорузлого ботинка лысый человечек пнул Ольгу в бедро и тут же юркнул в толпу.

— Убегли! — сказал громко кто-то позади.

Ольга вытянулась, медленно открыла глаза и повела ими по небу, потом ее взгляд перешел на толпу... Толпа затаила дыхание.

Ольга нашла и узнала Владимира. Подобие бессильной страдальческой улыбки и какого-то в то же время удовлетворения обозначилось вокруг ее рта, уже скованного смертью. Взгляд Ольги стал всеобъемлющим. В нем было прощание, ободрение, ласка, нечто такое человечное и всепобеждающее, что Владимир задохнул-

ся и уже ничего не видел, помимо Ольгиных глаз. И он ответил ей тоже последним прощальным взглядом. Им он сказал ей: побег удачен; он, Владимир, с ней, с Ольгой, навсегда родной, единственной; невыразимо прекрасна и выше жизни ее смерть, так как смерть порою оправдывает жизнь лучше, вернее и правдивее самой жизни, и умирать ему, Владимиру, уже никогда не будет страшно, — он знает: есть смерть, утверждающая жизнь. И нет также больше и одиночества...

Навсегда запомнилось: Ольгины глаза, синее, всепринимающее небо, великая безмерность...

Владимир и Ольга были в окружении чужой, враждебной и косной толпы, бессильной, однако, над ними, над их оправданием жизни и смерти, над их непонятным им пока великим и трагическим счастьем.

Все перенесенное и испытанное Владимиром за последние годы: утрата друзей, семьи, Наташи, мытарства, отщепенство, работа в кассах, жизнь с Ольгой и то, что она лежала теперь умирая, — все это получило высший смысл и высшее оправдание. Будто все происходило с ними только для этого страшного и прекрасного мгновения, чтобы найти в нем последнее завершение. Все это Владимир пережил в кратчайшее мгновение.

Точно кто-то изнутри толкнул Ольгу. Глаза ее круто закатились. По телу прошла глубокая судорога... Началась агония... Потрясенный жалостью к последним трепетаниям тела, Владимир тяжко глядел на белый и чистый лоб, так много знавший дум, на эти глаза, еще недавно созерцавшие целые миры, на этот рот, который он целовал, на руки, опытные в обращении со смертоносным оружием, не ведавшие трусости, маленькие и твердые руки мстительницы, теперь уже беспомощные...

— Упокой, господи, душу рабы твоея, — неожиданно сказала старая женщина, по-деревенски одетая. Женщина истово перекрестилась и надвинула глубже на лоб, по самые глаза, черный платок. Никто не поддержал ее.

...Мелькнуло белое лицо Саши Кузьмина. Он дергал Владимира за рукав, стараясь увести его.

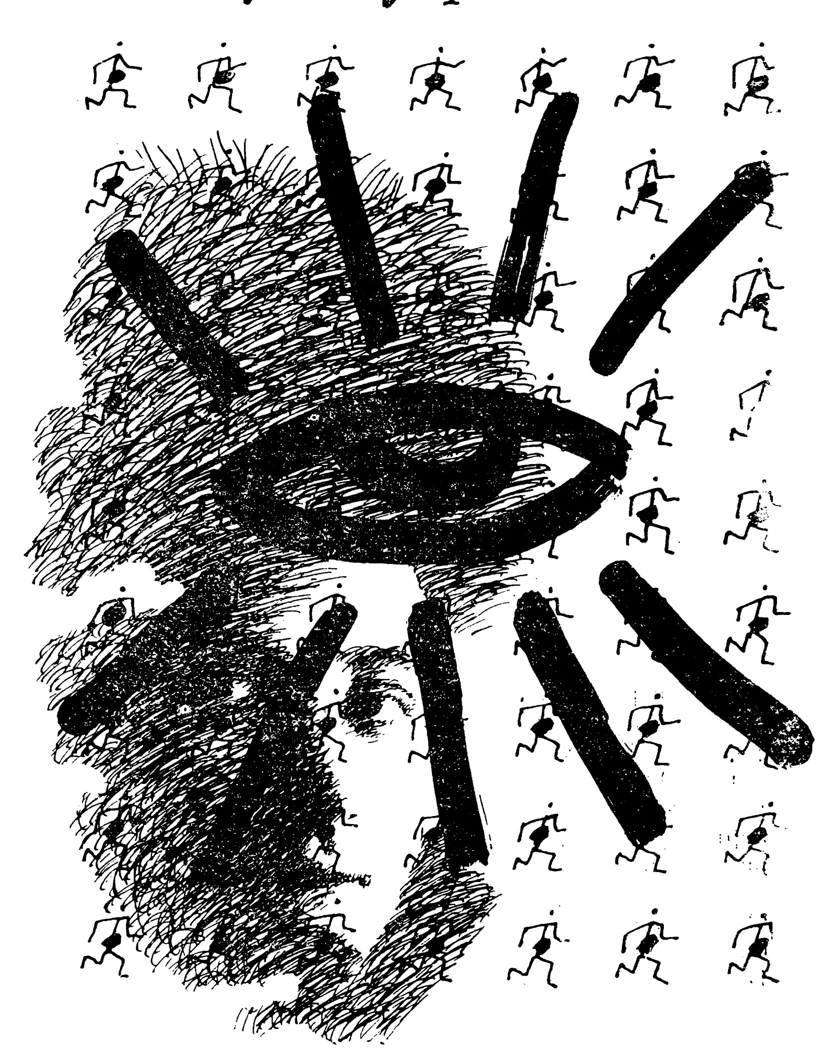
Владимир, шатаясь, пошел за Кузьминым.

Оба не заметили, что за ними последовал охранник.

Ночью Владимир и Кузьмин были взяты. Подозревали их участие в побеге.

Сидеть пришлось недолго: их освободила Февральская революция.

Глаз Урагана



Вокруг корабля, захваченного ураганом, сгущался мрак. Днем он кажется даже темней, чем ночью, потому что темнота усиливается вследствие контраста с сохранившимися отблесками света. Завывание и свист ветра, столкновение волн, треск гнущихся и ломающихся мачт, скрип составных частей корабля — все эти бесчисленные звуки смешиваются в страшный, отаянный рев, заглушающий даже раскаты грома. На поверхности моря уже не видно широких могучих волн: оно кипит ключом, точно громадный котел, нагреваемый огнем подводных вулканов. Низко спустившиеся, даже ползущие по воде облака часто светятся, и свет их можно принять за отражение какого-то ада. В зените появляется окруженное мраком беловатое пространство, которое моряки прозвали «глазом урагана», как будто они действительно видели в урагане беспощадное божество, спускающееся с неба, чтобы схватить и утопить их.

Реклю

I

Сто верст от Минска до Замирья поезд тащился всю долгую ночь, пропуская вперед воинские эшелоны, платформы с фуражом, орудиями, автомобилями и аэропланами. Окна были открыты, но в вагоне прочно сгустилась духота. Валентин пытался уснуть, но мешали разговоры офицеров, их храп, суета на станциях. Ломило в висках, в суставах, и все же Валентина не покидало спокойное настроение. Опасность, кажется, миновала. Он удачно обошел ловушку екатеринославских охранников. Весной и летом арестовали Александра, Николая; Василий скрылся в Москву; у Валентина произвели обыск, оставив его свободным. Однако он скоро убедился, что сделали это единственно для того, чтобы лучше выследить остатки подпольной группы. Валентина держали в плотном кольце агентов, не отступавших от него ни днем, ни ночью. Очень подозрительным показался также недавний случай с листками и шрифтом. Их

неожиданно привез из Каменского-Запорожья табельщик Семенов. Семенов заявил, что его квартиру сторожат филеры. Поздно вечером, едва отделавшись от сыщиков, Валентин перенес шрифт и листки к знакомой, а когда возвращался домой, то своевременно заметил у себя на дворе конного городового, понял, что в квартире обыск, несколько дней скитался, ночуя у друзей на Амуре. В эти же дни Валентин узнал: один из товарищей, Гортанов, служит в Земском союзе на Западном фронте. Валентин телеграфировал Гортанову. Получил приглашение немедленно выехать в Несвиж. Удачей было и то, что друзья нашли для него «железный» паспорт на имя Измайлова. В Минске Валентин предъявил телеграмму Гортанова и без осложнений был зачислен на службу.

По дороге в Несвиж, на минском вокзале, забитом солдатами, офицерами, чиновниками, в гаме, в сутолоке и бестолочи Валентин убедился, что он не сделал никакой ошибки, укрываясь от жандармов во фронтовой полосе. Он затерялся в душной толпе и впервые за последние месяцы почувствовал, что он — как все, никому не нужен, и что к нему не липнут наглые и воровские взгляды наблюдателей.

Новая гимнастерка коробилась. От сапог — их он давно отвык носить — делалось жарко ногам, но непривычнее всего были узкие белые погоны с желтыми вензелями. Валентин невольно скашивал на них глаза, и ему все казалось, будто погоны сидят на его плечах не так, как у других, то лезут вверх, то сползают. Видеть их, однако, было приятно: они приобщали его к едущим и служили защитой. Валентин добродушно и чуть-чуть насмешливо улыбался углами рта, а заняв место в вагоне, еще раз с облегчением подумал, что избежал очередной, четвертой неволи.

В Замирье поезд пришел часов в пять утра. Дальше поезда с пассажирами не шли. За Замирьем следовал полустанок Погорельцы, его часто обстреливали немцы, а станцию Барановичи занимали их части. Валентину хотелось пить, но офицерская чайная оказалась переполненной. Он вышел на перрон. Тихое утро дышало прохладой, с полей и лугов пахло травой. Солнце светило молодостью. Валентин сел на брезентовый чемодан. Виски уже не ломило; он испытывал ту звонкую легкость и пустоту, какие бывают после бессонных ночей лишь у здоровых людей. Потом сразу пришла сон-

ливость, разлилась истомой по телу. Сквозь дрему Валентин услышал: вблизи что-то жестко и металлически бухнуло, точно сильно ударили тяжелым молотом по большому железному листу. Звук повторился, умножился. Открыв глаза, Валентин увидел: высоко в глубоком небе, будто по волшебству, из ничего возникали круглые белые облачка. Они медленно таяли, их появлялось все больше и больше, и все чаще и ожесточенней били молотком по жести. Валентин догадался: ведется обстрел немецких аэропланов. Стреляли шрапнелью из зенитных орудий, расположенных над Замирьем. Пожилой офицер в капитанских погонах, с шершавым лицом, поднялся со скамьи, тряхнул плечами, достал портсигар. Он слишком долго и медлительно вынимал папиросу, стучал ею по крышке портсигара. Глаза у него беспокойно щурились на небо. Старик еврей с седыми пейсами, в лапсердаке, схватил за руку курчавого мальчика лет трех, быстро поднял его, прижал к груди, что-то забормотал, стал совать ему в рот огрызок бублика. Вышла группа офицеров; один из них, самый высокий, поводил полевым биноклем по небу, опустив его, сказал убежденно:

— Летит целая эскадрилья.

Круглые облачка возникали почти над самой станцией. Валентин старался найти аэропланы, но, сколько ни вглядывался в те пространства, где рвались снаряды, ничего не мог увидеть. Потом ухо различило сплошное и отдаленное гудение моторов, и вдруг над головой, неотвратимо и бешено нарастая, раздался противный и пронзительный шип. Шипение или свист продолжались будто очень долго. Валентин машинально втянул голову в плечи, и в тот же миг, покрывая и заглушая стрельбу и все звуки, нестерпимо и властно вторгаясь во все тело, грозное «ббах!» разорвало воздух. Грохот был злораден, и снова вверху надсадно зашипело и засвистело, и опять, переполняя все, мстительный грохот и вой потрясли небо и землю. И тогда Валентин увидел немецкие аэропланы. На недосягаемой высоте они двигались еле заметными то черными, то ослепительно сверкающими точками. Валентин насчитал их до шести. Они летели еще далеко от станции, их бомбы рвались где-то в поле, но Валентину чудилось, что зловещие птицы — над перроном, а бомбы — над самой головой. В макушке остро засверлило, все чувства и ощущения переползли и сосредоточились только на ней одной. Валентину

и всем остальным, кто находился на станции, страстно и тоскливо хотелось что-нибудь делать: защищаться, стрелять, рубить, — но все это было ненужно, нелепо. Черные гарпии одни царили в небесах и над землей и были недоступны. Белые облачка окружали их бестолково и беспомощно. В этой беспомощности, бездеятельности таилось самое страшное. Не отдавая себе отчета, Валентин поражался также несоответствию между этой безмятежной и девственной лазурью и гибельными машинами. Бомбы продолжали рваться ближе, ужасней и разрушительней. Края станционной крыши резали глаза; ветки ольхи были точно вырезаны. Почему-то отметилось, что перрон не убран, засорен окурками, коробками из-под папирос, скомканной бумагой. Комендант станции, худой, в оспинах, стоя у сигнального колокола, приказывал скороговоркой:

— В блиндажи, господа, в блиндажи.

Валентин подумал, что действительно нужно укрыться.

Но как быть с чемоданом? Он представил себе, что лезет с ним в блиндаж: это ему показалось смешным и недостойным. Да и можно ли быть там с вещами? Чемодан бессмысленно выпирал крышкой, боками. Валентин осмотрелся. Старик еврей по-прежнему прижимал мальчика ко впалой и грязной груди и совал ему бублик. Капитан курил, папироса в его руках дрожала. Группа офицеров теснилась в дверях. Самый высокий из них, с биноклем в руках, широко расставил ноги, словно не был уверен в прочности земли. Поручик в поношенной шинели, засунув глубоко руки в карманы, утверждал, что в бинокль всегда можно определить момент, когда с аэроплана сбрасывается бомба: аппарат дает крен на одно крыло. Раздавался взрыв, разговоры прекращались, глаза делались пустыми, точно окна нежилых домов. Валентин продолжал сидеть на чемодане.

Окно офицерской чайной распахнулось, из него выглянула молодая женщина. Голову и грудь ее прикрывала белая косынка. Из-под косынки над правым ухом выбивалась темная прядь волос. Садясь на подоконник и перегибаясь за окно сильным и гибким движением, женщина тревожно и с любопытством сощуренными от солнца глазами стала всматриваться в небо. Ноздри ее трепетали. Валентина поразило надменное, нервное выражение ее лица. В том, как упруго и легко она изогну-

лась и держалась руками за оконные наличники, было много женственности. Грохот снаряда заставил женщину вздрогнуть. Валентин, сам того не зная, глядел на нее пристальным взглядом. Их глаза встретились. Женщина в косынке бессознательно и бледно ему улыбнулась. В улыбке Валентин нашел страх, дружелюбное человеческое участие, слабость, доверие. Он принял все это, как неожиданный трогательный подарок в час ужаса. Новый удар горячей волной хлестнул Валентина. Женщина беспомощно обнажила ряд влажно сверкающих крепких зубов, лицо ее побледнело, черты заострились, окаменели, расширенные глаза сделались совсем черными, смело разведенные брови перестали шевелиться. Она еще смотрела на Валентина, но уже не видела его. Он испытывал жалость. И если бы потребовалось оборонить ее и погибнуть, он сделал бы это не задумываясь. Он невольно привстал с чемодана, подался к ней и с горечью и обидой понял, что никакой помощи он оказать ей не в силах. И тут же за оскалом ее зубов, за застывшими мускулами лица померещилось ему что-то смертное, будто через этот оскал он увидел голый череп и черные впадины глазниц. Это сочетание прекрасного, живого со смертным продолжалось одно кратчайшее мгновение, и так оно было необычно, что Валентин не вынес его и отвел взгляд.

Разрывы снарядов делались более глухими и отдаленными. Валентин перевел дыхание и уже более спокойно подумал: «Сегодня я впервые видел войну. Как хорошо, что я жив!» Круглые облачка перемещались все дальше и дальше к северо-западу. Аэропланы терялись в небе. Орудийная пальба затихала. Женщина в косынке захлопнула окно, скрылась. Жирно гудя над станцией, тяжело и низко пролетел биплан. В группе офицеров кто-то сказал глумливо:

— Наш поднялся, значит, немцы уже далеко.

Спустя несколько минут сделалось известно, что в районе Замирья разрушен обывательский дом, один из снарядов попал в конюшню, убил конюха, трех лошадей. Станция от налета не пострадала.

Пришли машины из Несвижа. Усаживаясь, Валентин вспомнил о женщине в косынке, поискал ее глазами. Ее нигде не было видно.

II

Управление Земского союза при штабе армии помещалось на окраине Несвижа, в старых казармах с толстыми, прокисшими стенами. Дорогой в машине случилась поломка, и в город Валентин приехал около одиннадцати часов дня. Несмотря на позднее время, канцелярии и многочисленные отделы еще пустовали. Служащие бродили по пыльному двору, завтракали в столовой, лениво выходили из спален. Валентин заметил, что в управлении живут бездельно, неряшливо, бестолково. Никто не мог объяснить, где оставить вещи, что нужно делать новичку. Бросив чемодан в полутемной, со сводчатым прохладным потолком комнате, похожей на приемную, Валентин отправился искать Гольцмана, товарища по работе в екатеринославских больничных кассах. Гольцман гулял за казармами с рослой чернявой девицей в легкомысленных кудряшках. Ее украшали к тому же пять-шесть крупных родинок. Гольцман имел почти карликовый рост, сутулился так сильно, что издали казался горбатым. Серебряные погоны сползали на спину. Отирая пот с покатого и угловатого лба, он пыжился показать, что молодцевато ведет девицу под руку; спотыкаясь, оправлял свободной рукой пояс; пояс лез почему-то все кверху, на грудь. Гимнастерка была слишком широка и рукава непомерно длинны. Гольцман клонился к девице, заглядывал ей в глаза. Увидев Валентина, он смутился, обрадовался, оттопырил нижнюю губу, приложил руку к козырьку, держа ладонь «лодочкой», баском промолвил:

— Ба-ба! Кого я вижу! Ждал тебя еще вчера. Гортанов показывал мне твою телеграмму.

Он мельком снизу вверх взглянул на девицу в кудряшках, расставил ноги, дернул ляжкой, приподнял плечи.

— Ну, что же, будем знакомить тебя с фронтовым бытом.

Гольцману, видимо, очень хотелось показать, что он здесь свой человек и, может быть, даже опытный рубака. Он также явно подчеркнул свою близость к Гортанову, и Валентин понял, что Гортанов в чинах. Напыщенность Гольцмана представилась Валентину смешной. Он хлопнул его слегка по плечу. Гольцман смущенно замигал детски-чистыми глазами, осел и стал снова походить на старательного и незатейливого статистика.

— Да ведь ты с дороги. Нужно умыться, позавтракать, — всполошился он. — Идем, идем, — заторопил он Валентина. — Прошу простить, — он развел руками, шаркнул ножкой перед девицей в родинках, схожих с бородавками, сделал ей под козырек, опять держа ладонь «лодочкой»; потащил Валентина сначала к его вещам, потом в умывальную, оттуда в столовую.

После чая они вышли на казарменный двор. Было жарко, душно; занятия уже начались, но служащие не спешили к своим местам. Большинство из них носило военную форму и даже оружие. У одних болтались сбоку сабли, у других кобуры с наганами, некоторые почему-то прицепили себе кортики морских офицеров. Чаще всего попадались молодые, здоровые. Валентин спросил Гольцмана:

— Это все укрываются от призывов?

— Понемногу укрываются, — ответил усмехнувшись Гольцман. — Тут, брат, настоящий бедлам. Никто ничего не делает. Распутство. Вон влево, видишь, сараи и конюшни: в них по ночам на сеновалах бог знает что происходит. Вчера сделали облаву: пар десять женских кальсон обнаружили — впопыхах оставили.

— А Гортанов чем занят?

— Сам увидишь, — загадочно заметил Гольцман. — Кстати, тебе пора к нему на прием.

Попасть к Гортанову оказалось делом совсем не легким. Он занимал кабинет с приемной. У дверей в кабинет дежурили два санитара, в приемной сидел секретарь с длинной талией и зеленым лицом кокаиниста, однако очень ретивый и расторопный. Валентину он заявил сначала: у Гортанова срочное заседание, потом записал в очередь. Очереди пришлось ждать часа два.

Входя в кабинет, Валентин столкнулся с бритым, среднего роста человеком. Подвижное его лицо перехлестывали резкие морщины. Серый без погон китель облегал рыхловатые плечи. Человек задержался в дверях, скользнул безразличным взглядом по Валентину, полуобернувшись, сказал Гортанову:

— Очень прошу вас, Николай Владимирович, послать в отряд Красовского несколько палаток.

Бритый был Петлюра.

Гортанов принял Валентина деловито и дружески, крепко и долго тряс ему руку, усадил на диван, придвинул кожаное кресло, расположившись в нем, потянулся, вкусно зевнул:

— Заседания одолели, не высыпаюсь.

— Ты, должно быть, тут воротила? — осведомился Валентин. — Я еле попал к тебе.

— Да, да, церберы у меня надежные, — как бы иронически ответил Гортанов.

— Говорят, ты здесь помощник уполномоченного?

— Фактический заместитель, — поправил Гортанов, поглаживая жесткую бородку, подстриженную узким клином. — Генеральствуем, генеральствуем, бог грехам терпит... Ты со своим паспортом приехал сюда?

— Нет, с чужим, — ответил Валентин и стал быстро рассказывать, при какой обстановке он покинул Екатеринослав.

Гортанов съежил татарские брови, передвинул лежащие на краю стола бумаги, озабоченно предупредил Валентина:

— Будь осторожен, здесь район действующей армии, работают военно-полевые суды. — Он почесал переносье конопатыми пальцами, наклонившись к Валентину так, что тот увидел его крепкий затылок, вполголоса прибавил: — Лучше прикинуться, что мы не знакомы друг с другом, будет удобней и тебе и мне. Место, какое я занимаю сейчас, дает возможность устраивать товарищей. Им надо дорожить.

Валентин кивнул головой.

— Ну, вот, — заторопился Гортанов, потирая ладони. — Я назначу тебя ревизором. Работа интересная, ответственная. Кругом хищения, нерадивость. Многое только налаживается.

Валентин усмехнулся.

— Я не собираюсь работать здесь не покладая рук: у нас есть и другие обязанности.

— Разумеется, разумеется, — поспешил согласиться Гортанов. — Однако наша работа не исключает добросовестного отношения к делу.

— Но и не требует этой добросовестности. Тебе, вероятно, известно, что я за поражение!

— Поступай как знаешь, — промолвил Гортанов. — Что делается в наших кругах?

Валентин возвратился к началу своего рассказа, но, убедившись, что Гортанов слушает его рассеянно, поднялся с дивана. Гортанов проводил его до дверей.

— Итак, мы друг с другом не знакомы, но ты заходи сюда запросто, особенно по делу.

Свидание произвело на Валентина смутное и, пожа-

луй, неприятное впечатление, хотя он боялся признаться в этом. Валентин встречался с Гортановым еще в девятьсот пятом году в рабочих предместьях Петрограда, а позже на явочных квартирах Москвы. Гортанова считали талантливым и опытным организатором. И в самом деле, он обладал практической сметкой, был осторожен. В годы войны Валентин и Гортанов работали вместе в больничных кассах. Гортанов от подполья отошел, ссылаясь на болезнь печени, но товарищей не чуждался. Вспоминая все это, Валентин старался убедить себя, что Гортанов, в сущности, прав и что при разговоре им были допущены лишь случайные неудачные обмолвки. Остаток рабочего дня он отдал хлопотам, неизбежным при зачислении на службу в армейском управлении.

Под вечер Гольцман предложил Валентину прогуляться по парку. Снизившееся солнце, изредка закрываемое белыми и точно оснеженными облаками, еще нагревало землю и воздух, но в парке уже сгущались лениво-прохладные тени. Парк был древний, огромный и на окраинах своих уже запущенный. Он окружал еще более древний замок Радзивилла. Замок оброс, осел в землю и не походил на обычные средневековые сооружения, какие изображают на картинах и в учебниках. Стиль у него был смешанный, переходный от высоких и грузных громад запада с зубчатыми башнями и бойницами к русским барским усадьбам, низким, с бесчисленными пристройками, удобными не столько для обороны, сколько для привольного спокойного житья. Но его замыкали толстые стены, вполне сохранился ров, к воротам через ров был перекинут каменный мост, и это все еще напоминало о прошлых кровавых и суровых былях. Осматривая полускрытые стенами строения, Валентин испытывал грусть и успокоение. В замке помещался штаб армии. Вестовые, штабные офицеры, интендантские чиновники, уполномоченные Красного Креста, Союза городов, Земского союза спешили из замка и в замок. Парк зеленел пышным убранством листвы, изобиловал тугой и сочной травой. Повитый золотыми плащами, которые накидывало на него солнце, он оглашался птичьим гамом. В камышах тинистого пруда крякали утки, у берега играла рыба, квакали лягушки, столбами вилась мошкара. На лужайках паслись стреноженные лошади, доносилось возбужденное ржанье. Парк звенел многострунным оркестром от роста,

от созревания, от избытка сил, но все это будто не касалось замшелых, поросших плесенью стен замка. Он уходил в сосредоточенное безмолвие, в одиночество. И все же он жил особой, для многих уже непонятной жизнью, погруженный в сны, отягченный ими, равнодушный и безучастный к тому, что происходило кругом. Будто от него отпало все случайное и мимолетное. Умолкли звуки, голоса, поблекли краски, угасли желания, страсти, в прахе лежат его властелины, но осталось нетленное, общее, смутно и неясно прозреваемое. Будто от свойств, от качеств отделилась их сущность, и, воплотившись в этих серых руинах, бытийствует по-своему. И вот это странное бытие — не бытие, жизнь — не жизнь властвует над настоящим, клонится над ним грудой своих веков, древней своей мудростью.

Валентин знал, что над ним тяготеют иллюзии прошлого, но ему и трудно было и не хотелось стряхнуть их с себя. Он рассеянно слушал Гольцмана и тут же забывал его рассказы, как он, Гольцман, жил в Несвиже.

Они вышли на широкую, посыпанную свежим песком аллею. Солнечные блики, тени деревьев испещрили ее, и она походила на распластанную пятнистую звериную шкуру. Солнце окрашивало облака жидкой позолотой, меж ветвями деревьев, колеблемых легким ветром, дрожали бирюзовые сгустки небес. Из боковой дорожки справа навстречу Валентину и Гольцману вышли сухощавый офицер и женщина. Офицер вел женщину под руку, в другой руке он держал фуражку, помахивая ею. Когда пара приблизилась, Валентин узнал спутницу офицера: он видел ее в окне на станции Замирье утром. Косынки на ней не было, и черные волосы сухо и свежо блестели. Его снова поразили горячее, просвечивающее розовым лицо, своевольные и даже дерзкие глаза. Валентину припомнилось, что однажды он видел сон: на светлом бело-молочном небе горели черные звезды, это было страшно и восхитительно. И вот глаза этой женщины походили на эти звезды. Женщина тоже взглянула на Валентина, узнала его. Валентин не успел разглядеть офицера. Они разминулись. Валентин спросил Гольцмана:

— Кто это?

Гольцман повернулся назад всем корпусом — у него была очень короткая шея, — шепеляво ответил:

— Из контрразведки при штабе армии.

— То есть, как? — переспросил, опешив, Валентин. Он даже остановился. — Я спрашиваю о женщине.

— Ага, о женщине, — равнодушно промолвил Гольцман. — Женщина — полька; из обрусевших, впрочем; беженка, панна Ванда Домбровская; служит у нас в отделе личного состава. Знакомства у нее весьма подозрительные. Этого офицера я знаю, он из контрразведки.

Гольцман вытянул тонкие губы, причмокнул.

Валентин заметил, что он устал. Они пошли обратно к казармам.

Солнце спускалось за край парка, оно было огромное.

III

Из Несвижа Валентину пришлось отправиться в объезд земских учреждений. Он принял место ревизора, остаток лета и начало осени провел в госпиталях, в передовых перевязочных отрядах, в офицерских столовых и чайных, побывав в Койданове, в Столбцах, в Погорельцах, Мире и в ближайших к линии окопов окрестностях. Армейское управление назначило ему в помощь бухгалтера и конторщика. Бухгалтер Николаев, шестидесятилетний старик с провалившимся животом, высохшей кожей и сине-фиолетовыми толстыми венами, с мутными слезящимися глазами, в первую поездку огорошил Валентина непотребными рассказами о своих любовницах, о проститутках, столь скабрезными, что санитар-возница Пасхин, рязанский крестьянин, однажды в отсутствие Николаева не утерпел, обращаясь к Валентину, простуженным голосом сказал: «Многое я слыхал, а такое в первый раз приходится». Он даже сплюнул и слез на время с козел. Валентин решил от Николаева отделаться и обычно оставлял его проверять кассы и отчетность, уезжая дальше с конторщиком Беликовым. Беликов был тих, безответен, исполнителен, но изредка добывал где-то спирт и тогда неожиданно делался заносчивым и необычайно говорливым, — утверждал, что он, собственно, не конторщик, а скрипач и что в Моршанске его игру на скрипке собирались слушать под окна и многие плакали. На другой день после пьянства Беликов избегал смотреть Валентину в глаза, старательно щелкал на счетах, часто сморкался и вздыхал. Впрочем, за три месяца совместных с Валентином поездок запивал Беликов всего лишь два раза.

После летнего, неудачного для нас наступления в районе Барановичей на Западном фронте установилось затишье. И все же то на одном, то на другом участке шли бои так называемого местного значения. Госпитали, бараки, перевязочные пункты переполнялись ранеными, больными. Без устали бухала наша и немецкая артиллерия; иногда обстрел переходил в канонаду. По ночам жутко и мертво, подобно привидениям, в небе бродили лучи прожекторов, рассыпались сигнальные огни. Аэропланы забрасывали бомбами тыл. Из окопов в окопы тянулись грязные, вшивые, изъеденные коростой, чесоткой, чирьями, изможденные, безучастные от усталости, от страхов солдаты. Росли кладбища с безымянными, с безвестными могилами. Валентин побывал на одном из них в серое мглистое утро. Деревянные кресты, все одинаковые, стояли ряд за рядом. Могилы жались друг к другу. Валентин не нашел ни одной надписи, ни одного надгробного слова. Трава была примята, притоптана, прибита свежими комьями глины. Кладбище лежало голое, одинокое. В нем как бы застыл немой вопль, овеществился глухой вой от бессмысленной гибели. Неприкаянная судьба зарытых здесь людей, беспризорность ничем не смягчались; кругом не росло ни одного кустарника, ни одного деревца. Голые поля уходили в угрюмую муть. Валентину припомнилась смерть сиделки в одном из бараков. Женщина, лет тридцати двух, металась на койке в горячечном предсмертном бреду. Воспаленное землистое лицо с проступавшими сквозь кожу костями, с заостренным тонким носом выглядело уже обреченным. Рот у умирающей был полон отличных, нетронутых зубов. Сиделка протяжно и мучительно стонала, потом успокоилась, внятно и тихо запела:

Баю, баюшки-баю,
Баю деточку мою...

Так пела она в беспамятстве, в последних движениях тела. И эта песня, и этот рот умирающей с ослепительными белыми зубами, и это обнаженное кладбище, затерянное в туманах, во мгле, наполнили Валентина такой звериной тоской, таким одичалым одиночеством, что он поспешно зашагал к ближней палатке, чтобы только скорей увидеть живых людей, услышать человеческую речь.

Шли дни за днями. Безотрадно вспыхивали и тлели зори. В ближайших к окопам местах развелись своры

голодных бездомных собак, бродили волки, стаи воронья покрывали обезображенные рытвинами, ямами, канавами бесплодные, поруганные поля. Смерть, разор, нищета чудились в воздухе, в небе, на равнинах, в лесах, в перелесках, в фольварках, в селах. Крайняя черта горизонта на западе, где ежечасно свершалось кровавое и непоправимое дело, пролегала беспощадным лезвием, и милые, мечтательные в недавнем дали казались таинственно-ужасными. Преследовал запах иодоформа и тошнотворный, сладковатый, бьющий в ноздри смрад от разлагающегося мяса еще живых людей, от омерзительных кровоточащих гнойников. И отовсюду глядели глаза, множество глаз, горящих страдальческим изнурительным огнем.

Но больше всего Валентина поразила тупая черствость, открытое равнодушие и бессовестность тыловой сутолоки. Валентин знал правду о войне, об отношениях человека к человеку; в тюрьмах, в ссылке, в подполье он привык к людскому горю, к насилию; но и он был удивлен тем, что увидел. Будто кто-то злорадно, нарочно, обдуманно устроил так, чтобы показать все общественное уродство, черствость, бесстыдство, глумление одних людей над другими. Мало того, что здоровые, образованные, сытые люди с дипломами и университетскими значками прилагали усилия, чтобы не лежать в окопах, не стыть от стужи, не голодать, не стонать, не реветь на операционных столах, не умножать собой преждевременных могил, — они делали во сто, в тысячу крат худшее. Там, где открыто калечились и уничтожались одни люди, другие предавались пьянству, азартным играм, бездельничали, расхищали казну, носились веселыми кавалькадами, орали непристойные песни, выпрашивали ордена, повышения, похабничали, насиловали сестер милосердия, отлеживались венериками в опрятных, уютных палатах, уезжали в отпуск, получали отсрочки, болтали о победной войне, о немецких зверствах, требовали, чтоб им подчинялись беспрекословно, чтобы за ними ухаживали, убирали. О массовых убийствах, где стыла грозная черта горизонта, говорилось не только бездушно, но даже с омерзительным довольством, лишь бы нам остаться живыми...

В первую же поездку Валентин нашел в учреждениях союза распущенность, хищения. Он составлял протоколы, рапорты, доклады. Виновные относились к ним чаще всего безучастно, и это его удивляло, но мало-по-

малу он понял, отчего это происходило. Свои заключения он отправлял в хозяйственный отдел управления, там они тщетно ждали своих очередей. Служащие отдела ссылались на то, что они перегружены и не справляются с работой. Валентин пытался действовать через Гортанова, но Гортанов уезжал по делам в Минск, подолгу там оставался, проводил служебные часы в штабе армии либо заседал, а когда Валентину удавалось его видеть, он слишком поспешно с ним соглашался, сетовал на бесхозяйственность, налагал резолюцию о срочных мерах, резолюция направлялась в отдел, но дела все были срочные, спешные, — начальники и уполномоченные распоряжались лишь в безотлагательном порядке.

Сначала Валентин решил, что Гортанов увлечен работой по оказанию помощи больным и раненым. Гортанов постоянно жаловался, что завален неожиданными делами, много и энергично распоряжался; позже Валентин убедился, что руководство управлением неряшливое. Приказы издавались в изобилии, но тут же забывались; за исполнением их никто не следил. Управление было перегружено людьми. Большинство из них числилось на так называемых ответственных местах, все чем-нибудь заведовали, начальствовали. Таких хорошо оплачиваемых должностей было навыдумано с явным излишком, и все, в том порядке и Гортанов, притворялись, будто все это необходимо. Начальники, заведующие, уполномоченные в действительности являлись дезертирами. Среди них даже получившие отсрочки попадались редко. Обычно человеку, который давно уже был призван и укрывался, выдавалось на руки удостоверение, что он служит в союзе, занимая такое-то «ответственное место», и что о нем «возбуждено ходатайство». По правилам подобные удостоверения ничего не значили, но в управлении они считались законными; Гортанов всему этому потакал. К этому и сводилось его усилие. Работал он мало, ссылаясь на срочные заседания, приходил в армейское управление не раньше часа пополудни, к трем часам покидал кабинет и неизвестно где пропадал. Глядя на него, Валентин несколько раз спрашивал себя, о чем Гортанов думает: он будто бы решал важные и сложные вопросы. Но в один из приемов Гортанов, походив по кабинету, остановился против Валентина, задумчиво промолвил:

— Возможно, что я скоро войду в состав комитета

Западного фронта. Было бы недурственно. Это очень нужно.

Почему, для чего и кому это было нужно, Гортанов не пояснил, но вид имел глубокомысленный и значительный. Валентин вспомнил чью-то шутку, кажется Тургенева, что у многих людей бывает этакое философическое выражение на лице, а в это время они думают о своих штанах.

...В начале сентября Валентину пришлось около недели прожить в перевязочном отряде за местечком Миром. Ночевал Валентин в сарае на сене, ночи стояли холодные, росные. Валентин укрывался шинелью, зарывался в сено, но все же часто просыпался с налетами в горле. По соседству, шагах в шестидесяти, помещалась противоаэропланновая замаскированная батарея. На рассвете немецкие «таубе» отправлялись в наш тыл, — начинался их обстрел из орудий. Пробуждаясь от грохота, Валентин долго не мог сообразить, где он находится, что происходит, торопливо надевал носки, неизвестно зачем выбегал из сарая. Дня через три после приезда потеплело. К вечеру на западе собрались тучи. Линии окопов находились в трех-четырех верстах от отряда. Когда стемнело, канонада заметно усилилась. Валентин сидел в палатке за проверкой кассовой книги. Группа служащих, оживленно разговаривая, прошла в поле. Кто-то сказал: «Немцы, должно быть, готовятся к атаке». Валентин отложил работу, пошел следом. Между густыми клочьями облаков горели редкие звезды. Впереди, касаясь земли, лежала огромная грозовая туча. Она лежала на горизонте, где были окопы, зловещим красным чудищем, освещенная вспышками орудийного огня, разрывами снарядов, ракет. Она набухала от пламени, пучилась, точно пожирала тысячи живых людей, и ее отвратительное брюхо медленно воочию наливалось густой багрово-черной кровью. Чудовище шевелилось, меняя очертания, выпуская безобразные щупальца. Вот оно загнуло хвост, вытянуло лохматую, опущенную к земле морду, и тут же сбоку выросла другая такая же голова с открытой пастью. Чудовище роняло горящие ошметки; от них во все стороны летели жаркие брызги.

— Налево, прямо над нашими окопами рвется немецкая шрапнель, — промолвил босой бородатый санитар.

К омраченным небесам восходил дым мучений, дым

Каина, смертоносный дым человеческих жертвоприношений.

Дракон ревел, не умолкая, сотнями сливающихся громов. Грозный рев усиливался, низкий, подземный. От него гудел воздух, гудела, стонала земля. Сплошной бой потрясал окрестности, и они начинали казаться ненадежными: сейчас твердь уйдет из-под ног или станет зыбким месивом, или вдруг всколыхнется, поднимется стеной, и откроется довременная бездна.

Подавленный как бы вставшим из древнейших древностей библейским видением, Валентин не сводил глаз с боевого участка. Он не заметил, что присоединился к группе служащих, что у него дрожат колени, что он уже не стоит на месте, а медленно идет вперед, туда, где лежит огненный дракон, роняя из пасти громы и окровавленные куски, где бродит душегубом дым. Бессознательно он повиновался непонятному, темному инстинкту, когда зверя, человека неодолимо влечет к себе смертное. Если бы он мог внимательно приглядеться к себе, к людям поблизости, он увидел бы нечто стадное, лунатическое. Валентин, босой санитар, врач, две сестры, конторщик Беликов, раненный в руку солдат шли вперед с немыми, застывшими лицами, вытянув шеи, потеряв осмысленность, вернее, они не шли, а тянулись вперед, все дальше, все вперед. На лицах лежали красные отсветы, позади роился непробудный мрак. Люди не успели стереть своих прежних выражений. Валентин двигался с плотно сомкнутыми устами. Вокруг губ обозначились твердые морщины. Правую руку он держал у пояса, потирая пальцами пряжку. Сорокалетний, с проседью, врач отряда выглядел утомленно, безучастно. Раненый солдат, в накинутом на плечи халате, утирал рукавом рубахи сырой нос луковицей; жесткая рыжеватая щетина густо облепила его шею, лицо до самых глаз. У одной из сестер, низкорослой и грудастой, губы остались полуоткрытыми, она теребила белый передник. Другая сестра, повыше, румяная, дородная, улыбалась неопределенной скользкой улыбкой. Беликов пучил глаза, беспрестанно откашливался в кулак. Группа двигалась, затаив дыхание, навстречу грохоту. Вверху справа блеснул и разорвался случайный снаряд. За ним еще ближе, саженях в пятидесяти, лопнул другой. Тогда люди пришли в себя, остановились, сбились в тесную кучу, точно искали друг у друга защиты. Они стояли на холме. Огненные всплески, вспышки от ракет смешива-

лись с лучами прожекторов, они рассекали небо мечами архангелов. Еще мрачней, ненасытимее полыхал кровью пухнущий дракон, изрыгая все заглушавший рев.

— Подумать только, каких делов может наделать на земле человек, — сказал солдат, поправляя движением плеча халат. — Никогда бы не поверил, если бы не пришлось своими глазами видеть. Поля — не поля, небо — не небо, ночь — не ночь, человек — не человек. Все в огне... Во время нашего наступления на Барановичи при этой артиллерийской подготовке вода расплескивалась от дрожания воздуха. Поставишь кружку наземь, а вода разливается. Великий переворот и бесчинство может произвести вокруг себя человек. Наизнанку все вывернет. Кувырком пустит. И откуда столько зла в нем уродилось?

Солдату никто не ответил. Заливая неестественным светом, откуда-то из надмирных высот низринулся ослепительный белый столб. Столб сначала колебался, дрожал, потом замер. Вблизи стало видно каждую травинку, мутно задымилась роса. Почудилось, кто-то упорно, коварно и долго искал повсюду их, эту группу в семь человек, и теперь они обнаружены. Столб был подобен року. Он одевал людей в саваны, и они словно уже предстояли пред последней, немой чертой. Потом Валентину отметились узловатые, в мослоках и в желтых мозолях, красные, тупые пальцы на ногах босого санитара. Пальцы были уродливы и жалки. Валентин подумал, что у мужчин ноги почти всегда некрасивы и их лучше прятать от женщин. Он посмотрел на дородную сестру милосердия. Обычно розовое ее лицо теперь помертвело от прожектора, сделалось почти меловым. В складках косынки прятались темно-лиловые тени. Сестра глядела вперед большими овечьими глазами.

Светлый столб снова дрогнул, скользнул в сторону, исчез где-то вверху. На горизонте опять ярко загорелся жаркий дракон. Шагах в пяти от себя Валентин заметил черную мохнатую собаку. Она сидела, вытянув морду и подняв уши, тонко повизгивала. В ее глазах дрожало багровое зарево. Шрапнельные снаряды продолжали рваться чаще и ближе. Валентин вместе с другими поспешил возвратиться в отряд.

К утру появились раненые, заполнили палатки. Рассказывали, что немцы перешли в наступление, овладели первой линией окопов, но были отброшены назад.

Валентин спешил в Замирье и лишь мельком видел, как подвозили истерзанных солдат.

Около Мира Валентину пришлось быть очевидцем воздушного боя. Он подъезжал к развалинам замка. Накануне прошел дождь, но дорога успела подсохнуть. Наступало безветренное предвечерье. Из посеребренного разорванного края облака сверкнула точка, за ней другая. Аэропланы летели к местечку, прямо на замок, и, когда сделались различимыми их крылья, стало видно, что попеременно то один, то другой стараются взять высоту. Недалеко от замка один из аппаратов овладел прочно высотой, и другой оказался под ним. Первый приблизился ко второму, и Валентин услышал стрекочущий звук пулемета и понял, что происходит воздушный бой. На втором аппарате вспыхнуло; возможно, это только показалось Валентину. Аппарат накренился, стал падать, вихляя неверно крыльями. Треск пулемета прекратился. Валентин привстал с сиденья. Аэроплан стремительно падал. Валентину представилось отсыревшее осеннее поле, бесформенная куча из стали, деревьев и свежего, горячего мяса, костей, мозгов, — он зажмурился, но от странно-болезненного любопытства вновь открыл глаза. Аппарат уже не падал, не вихлял крыльями, а плыл все влево, медленно поднимаясь, уходя от противника. Мотор встревоженно рокотал. Тогда верхний, описывая над ним круг, стал его настигать, и опять зазвучал пулемет, и второй еще больше снизился и попытался ускользнуть. Но верхний аппарат не позволял ему это сделать. Он все больше и больше суживал круги, не давая противнику ни выйти из них, ни подняться. Несколько раз сухо и повелительно трещал пулемет. Он прижимал противника к земле. Обе машины почти одновременно сели на лугу, недалеко от рощицы. Звонили к вечерне колокола. Валентин хотел сказать санитару, чтобы он направил лошадь к месту, где опустились аэропланы, но тот сам свернул с дороги, поехал по лугу. Разбрасывая из-под копыт комья, проскакал взвод казаков с потными лицами, промчался стального цвета автомобиль. Валентин несколько опоздал; когда он подъехал, у автомобиля сбилась в кучу группа военных. Шагах в двадцати, зарывшись в землю носом и подняв хвост, лежал аппарат с обожженными крыльями; поодаль виднелась другая машина. Русскому летчику удалось ранить в руку немецкого и в плечо его механика. На земле механик бросился бежать к роще,

но был застигнут казаками; офицер остался у машины, поджег ее, пытался отстреляться. Машина была нагружена бомбами. Казаки, схватив летчика, потушили пожар папахами. Передавали, что летчик от досады плакал. Валентин поспешил к автомобилю. В центре группы стоял коренастый молодой немец. Виски у него были липкие от боли. Врач наскоро перевязывал ему руку. Широкое лицо немца было угрюмо. Рука у него мучительно болела; тонкие, мгновенные судороги кривили его побелевшие губы, но он подавлял боль, мельком и исподлобья строго и тяжело оглядывал русских офицеров и казаков. Механик, пожилой, с простым и грубым лицом, сидел уже в автомобиле, он отделался царапинами. Кругом молчали. В молчании чувствовались уважение и почтительность к немецкому офицеру. Валентин подумал, что в людях очень много отваги, презрения к смерти, однако все это расходуется нелепо, расточительно, во вред человечеству, — и все же делается легко и бодро, когда видишь мужество. Подошел победитель, простодушный великоросс с русой бородой. Ему устроили овацию. Он застенчиво улыбался, дружелюбно поглядывая на пленника. Тот его взгляд не принял и сухо откашлялся. Немца пригласили в автомобиль, повезли в штаб корпуса.

...В госпиталях, в отрядах, в столовых и чайных, в дороге Валентин внимательно прислушивался к солдатским разговорам о войне, вступая, где было удобно, с ними в беседы.

Пожилой санитар Плетнев из пензенских крестьян, сидя под вечер на деревянной колоде у госпитальной кухни, заунывно тянул однообразную песню без слов. Валентин угостил его папиросой. Разговорились.

— Хотелось бы мне, — сказал Плетнев, широко расставив ноги и задумчиво глядя в землю, — хотелось бы мне послушать, а еще лучше самому пропеть такую песню, ну, совсем простецкую, про нашу горемычную долю. Скажем, например, про солдата и как его дожидает дома жена и дите малое. Жена дожидает, слезы льет, а мужа и в помине нет, и могилки нет. Земляки тоже все перебиты; нет ни Петра, ни Василия, ни Артамона, а она все надеется, и по ночам все снится ей: идет ее друг по полю, рожь ему по плечи, и видны ей его голова да глаза голубые...

Очень близко и как-то сразу Валентин сошелся с добродушным русым гигантом санитаром Савкиным.

Прислонясь к притолоке, переминаясь, он спокойно повествовал:

— Призывает это меня командир батальона, его высокоблагородие господин Проталов, приказывает: «Ночью, — говорит, — ты, Савкин, должен идти на разведку, в кусты, что влево от окопов, у речки. Посмотришь, как там у немцев, а чтобы тебе скучно не было, возьми с собой этого брунета Басина. Только ты гляди за ним в оба. Ответ будет на тебе. Пусти его вперед себя, а сам за ним наблюдай. Безусловно, — говорит, — он побежит от тебя на немецкую сторону; ты не допускай такого подлого поступка и за черную его измену безусловно стреляй в него безо всякого снисхождения».

— Ваше высокоблагородие, — докладаю я командиру, — а ежели он не побежит? Даже наверное не побежит, потому как Басин имеет георгия за боевые заслуги.

Тут на меня командир посмотрел зверем. Был он из себя неказист, плюгавенький, зубы редкие, лошадиные, и прогнили до черноты. Поглядел он на меня страшным образом, стукнул кулаком по столу, объясняет: «А я тебе говорю, дурья твоя голова, беспременно он побежит. Должен побежать. Понимаешь? Ступай!»

Ночью вышли мы на разведку с Басиным. Отошли за кусты к немецким окопам. Я и рассказал про разговор с командиром, с его высокоблагородием.

— Иди ты, — упреждаю я Басина, — ради Христа к немцам. Не будет ни тебе, ни мне здесь житья. Иди и не сумлевайся. Слово мое нерушимо.

Басин позеленел весь, еле винтовку держит в руках. В глазах слезы, и на меня со страхом смотрит: не доверяет. Постояли мы, простились. Пошел он на немецкую сторону и все оглядывается, а вдруг, мол, я пальну в него. Ушел все-таки, а дошел ли до немцев, не знаю. Может, от шальной пули погиб. Его высокоблагородию доложить не пришлось: тою же ночью разнесло его снарядом на мелкие ошметины. Судьба-то, она и отметила его: говорили, сердце он на Басина держал окромя всего прочего. Было все это больше года тому назад, а забыть никак не могу, как Басин из-за георгия и еврейства должен был дизентировать к германцу. Только вы об этом никому не сказывайте: мало ли что...

Рассказ Савкина был настолько дик и чудовищен, что Валентин ни за что бы не поверил ему, если бы не имел косвенных подтверждений. В прифронтовой поло-

се упорно держались мерзейшие слухи, будто евреев, награжденных за храбрость георгиевскими крестами, подвергают самым постыдным гонениям. Начальство в полосе больших военных неудач спохватилось, решило, что подобные награждения нарушают антисемитский курс и сеют соблазны. Отличившихся стали преследовать. Передавали, что были случаи, когда их сводили в особые ударные батальоны, посылали в наступление на верную смерть, — пристреливали сзади в спину и т. д. Бесхитростный рассказ Савкина подтверждал эти слухи.

Солдат Пажитнев на вопрос о войне кратко ответил:

— В пятнадцатом году захожу я в отхожее место у окопов. Смотрю, весь пол залит кровищей. С чего бы это? Глянул в дырку, а там, в яме, вместе с дерьмом в жиже навалены человеческие пальцы, отстреленные нашим братом, чтобы не воевать. Прямо гора. Которые скрюченные, которые вытянулись, одни прогнили, есть и совсем свеженькие. У меня даже в глазах зарябило и тошнота поднялась.

В канцелярии одного из госпиталей на подоконнике Валентин нашел завалявшееся неотправленное письмо без подписи. Оно было запачкано кровью. Кровь выцвела. Письмо коробилось.

«Милая Надя, — писал неизвестный ровным круглым почерком, — прошло больше года, как мы с вами расстались. Вы были скупы на письма, я тоже редко вам писал. Мешали переходы, бои, усталость, сутолока. Сейчас я в землянке, на столе из двух шершавых досок — коптилка. Кругом убожество, грязь, сырость, мокрицы, полная бесприютность, обездоленность и обреченность. Впереди горбатые черные окопы лежат готовой могилой, дальше в версте противник. Что будет завтра, через час, через пять минут? Каждый куст, дерево, бугорок, ложбинка, воздух, небо таят смерть, страдания. Как далеко все это от недавней жизни! Прохладные стены университета, веселый непринужденный круг сверстников, переулки и особняки Арбата, кремлевские башни и стены ночью у Москвы-реки, вода темная, Кремль грезит о минувшем. Вижу я и вашу прохладную руку, смущенную улыбку, — ее вы пытаетесь скрыть легкой гримасой чистого рта. Надя! Как все это было давно!

Одно чувство не покидает меня. Я оскорблен, не мо-

гу найти другого слова. Когда думаю о смертных казнях, мне всегда представляется один момент — считаю его самым омерзительным. Палач хватает осужденного, срывает одежду, тащит к петле. Это насилие и является самым отвратительным и страшным. Меня, всех нас, брошенных сюда, тоже схватили, нам скрутили руки, и вот мы уже больше года перед петлей.

...Эта война по-особому бездушна. Она разговаривает с нами издалека, из тайных мест машиной, железом, чугуном, сталью. Живого врага нет, не видно! Командир нашего полка, старый солдафон, по виду времен Николая Первого, от огорчения и возмущения, когда представляется случай, пьет горькую, — напившись, ругается непотребными словами, а в более мирном настроении бурчит: «Разве это война? — спрошу я вас, господин офицер. Обман, мышеловка, наглость, издевательство. Врага я должен видеть, милсдарь, чтобы распалиться самому и вселять боевой дух в солдат. Я должен подавать пример-с, греметь, командовать, воодушевлять, быть строгим, великодушным, честным, а мне даже перекреститься при этой войне стыдно-с. Нас превратили в крыс, в кротов, нас отменили-с, говорю я вам, молодой человек. Ни черта, ни бога! Презираю».

В газетах пишут о героизме. Все это ложь. В этой войне нет и не может быть героизма. Смешон благородный Гомер со своей «Илиадой», неправдоподобны Толстой, «Полтава» Пушкина, «Бородино» Лермонтова.

Никто из нас не знает, как все это началось, куда идет? Молчу о себе, о миллионах людей, но и вершители судеб, политики, дипломаты, управители сами только игрушки в загадочных руках истории. Здесь это ясно видно на каждом шагу.

Говорят, эта война развеяла прахом все лучшие общечеловеческие идеи, расстреляла их из мортир. Неправда. Она только развеяла миражи, иллюзии, наивность...

Я привык к смерти, я даже храбр, пожалуй, то есть умею при грохоте снарядов, при свисте пуль владеть собой, отдавать распоряжения. Мы курим, закусываем, смеемся рядом с трупами. Вчера пробирался по делу в тыл; видел свеженасыпанный бугор земли. Торчит нога в сапоге: труп засыпали наспех, кое-как. Носок сапога тупой, задрался кверху. Я думал о том, что ночью надо поправить окопы. В передовом врачебном отряде на койке лежал солдат. Ему спешно отрезали обе ру-

ки. Барак переполнен. По лицу солдата, по воротнику ползали вши. Солдат не мог почесаться, снять паразитов. Смотрел на него с тупым спокойствием.

Не труп ли и я? Люблю ли я вас, моя чудесная Надя? Не знаю. Может быть, во мне ничего уже нет от жизни, все помертвело, обросло диким мясом. Ничто не проходит даром! Нельзя безнаказанно быть замурованным в гробу повапленном. Нельзя без гигантских потрясений всего естества делать с человеком то, что делается сейчас. Со мной недавно был случай...»

На этом письмо обрывалось...

Запомнился еще Валентину благообразный и чистоплотный Данилин, с медлительными движениями, с широким, никогда не улыбавшимся лицом. Он оправился от ранений, и его должны были на днях направить из госпиталя в свою часть. На голове, около макушки, осколок снаряда сорвал у него кожу, образовалась красная, сморщенная плешь; другой осколок ранил его в бедро. Данилин прихрамывал. Когда говорил, то держал ладонь правой руки, точно взвешивал на ней слова, неторопливые, отдельные друг от друга. Не повышая голоса, он говорил Валентину:

— Второй раз отлеживаюсь. Теперь мне ничего не надо. Ни пашни, ни хаты, ни скотины, ни детей, ни жены, ни приятелев, ни удовольствий разных. К смерти надо готовиться. К ней завсегда готовым нужно быть, а тут, на войне этой, от нее никак не уйдешь. Много лишнего мы делаем, оттого и смерти боимся. Заботы, одним недоволен, до другого желание имеешь, злобствуешь, людям вредишь, горюешь, голову себе забиваешь глупостями и пустяками. Смерть — она суеты не любит. Нехорошо, страшно в суете помирать. Сразу набросится смерть на тебя, а ты горячий, в делах весь. И всего жаль, и расставаться неохота. Человек и начинает страшиться. От лишних это забот. Дюже я это понял, никто больше не собьет меня с точки. Ничего мне теперь не надо.

Глаза у Данилина были большие, светлые, с застывшей непроходимой тоской.

Большинство солдат, однако, были менее откровенны с Валентином. Они охотно говорили, что все дорожает, поля остаются неубранными, тягаться с немцами очень трудно, «он кроет почем зря», — но когда Валентин пытался узнать, как они представляют себе буду-

щее, солдаты отмалчивались либо неохотно и сдержанно отвечали: «А кто ж его знает, поживем — увидим... Какой ни на есть, а конец будет. Вам лучше знать, на то вы и образованные...»

Имелись ли подпольные группы в прифронтовой полосе, Валентин не знал. Ничто не указывало на то, что ведется какая-либо работа.

Осень пришлось провести тоже в разъездах. О Ванде Домбровской он вспоминал все реже и реже. В Несвиже ее больше не было видно.

IV

Прошел слух, что предстоит очень строгая проверка всех дел по отсрочкам военнообязанных. Ведал отсрочниками отдел личного состава. Он находился в Несвиже, но имел свою канцелярию и в Минске. Гортанов решил укрепить минское отделение, справедливо полагая, что проверка производиться будет штабом прежде всего там. Заведовать отделением он предложил Валентину. Он повышал его в должности, но по ряду мелких, еле уловимых признаков Валентин догадался, что Гортанов желает его удалить от себя. Всякий раз, когда Валентин подавал ему докладные записки или рассказывал устно об упущениях, о воровстве и халатности, Гортанов морщился, ссылался на более важные дела, соглашался, и Валентин видел, что он только надоедает Гортанову. Поэтому он охотно согласился ехать в Минск.

Канцелярия помещалась при некоем базисном управлении. Никто в нем ничего не делал. Самое назначение этого учреждения было не ясно. Несколько месяцев подряд оно готовилось то к переводу, то к слиянию и закрытию.

В помещении базисного управления Валентин встретил Ванду. Она разбирала бумаги, лежавшие серым ворохом на столе. Валентин спросил у нее, кто является секретарем канцелярии. Она назвала себя. Валентин показал ей удостоверение. Ванда быстро пробежала его глазами, сухо предложила сесть, с видом, говорившим: «Мы совсем вас не ждали, и вы здесь даже и не нужны». Валентину хотелось, хотя он этого ясно и не сознавал, чтобы она взглянула, жестом, словом показала, что она помнит встречу с ним в Замирье во время налета аэропланов, но глаза Ванды были опущены,

длинные черные ресницы прятали их, делая ее лицо замкнутым, почти враждебным. Отрадное чувство, испытанное им, когда он нечаянно увидел ее, померкло, и ему скорее стала уже неприятна и встреча, и то, что придется работать вместе с ней, может быть, в одной комнате. Бередило еще смутное ощущение неожиданно свалившейся на него сложности. Выйдя из канцелярии, Валентин попытался дать себе отчет в этом ощущении. «Гольцман сказал, что Ванда связана с контрразведкой. Вот почему мне так неприятно и даже тягостно сейчас. Но Гольцман, возможно, и ошибается. Правда, тот офицер, с которым она гуляла в парке Радзивилла, подозрителен, но почему бы им не быть просто знакомыми: она красива, он волочился за ней. Жаль, что я тогда не рассмотрел его наружности; а впрочем, зачем мне это знать? Какое мне дело и до него и до этой гордячки? Нужно все-таки проверить», — решил он, шагая по улице. Как и что проверять, Валентин об этом не подумал.

На другой день Валентин принимал дела. Они находились в крайнем беспорядке. Винить в этом Ванду не приходилось. Она исправно вела переписку с учреждениями союза, составляла ведомости, описи, но все это были лишь мелочи. Валентин готовился к проверке отсрочников. Он располагал заявлениями, что об Иванове, Федорове возбуждено ходатайство, иногда задним числом, а ответа не получено. «Незаменимыми работниками» числились заведующие столовыми, чайными, счетоводы, канцеляристы. Еще хуже обстояло с паспортами и с воинскими свидетельствами. Значительная часть служащих перешла в несвижский отдел, где работал Валентин, из другого управления, переведенного несколько месяцев тому назад вместе с армией на румынский фронт. Служащие остались в минском районе, а их документы оказались где-то на юге. По этому поводу велась срочная и совершенно бесплодная переписка. Часть документов хранилась в комитете фронта, получить их оттуда было нелегко. Ванда докладывала обо всех этих неурядицах с хладнокровным, даже с беспощадным видом. Валентин ушел с работы подавленный. Он отправил Гортанову письмо, ответа не последовало. Он написал вторично. Гортанов отозвался «отношением». В нем Валентину предлагалось «принять самые безотлагательные меры», усилить штаты работниками; дальше выражалась уверенность: управление надеется,

что он в наикратчайший срок оправдает доверие в деле, которое ему поручено и которому придается «первенствующее значение». Получив эту отписку, Валентин решил, что благосклонное доверие может заключиться военным судом и что ему, неповинному, придется отвечать за чужие преступления и мошенничество. «Повышение по службе» представилось Валентину в новом и довольно мрачном освещении. Неужели Гортанов намеренно отправил его в Минск вести дело заведомо обреченное, — отправил, рассчитывая на простоту и неопытность его, Валентина, в земской работе? Валентин старался отогнать от себя эти подозрения. Но чем больше входил в свою работу, тем чаще и чаще эти мысли не давали ему покоя. Тогда он решил отказаться от канцелярии и уже приготовился написать об этом в Несвиж, но случилось одно неожиданное обстоятельство; оно понудило его отступить от этого решения.

Неделю спустя после своего приезда в Минск Валентин повстречался с Гвоздиковым. Гвоздиков отбывал совместно с ним архангельскую ссылку, отличался легковесным и ветреным характером, был болтлив, проказлив, в рассказах о необычайных своих похождениях и приключениях заметно привирал. Он любил помогать «от души ближнему», с готовностью ввязывался в семейные и другие осложнения, советовал, убеждал, нагружал себя поручениями, за кого-то хлопотал, негодовал, радовался. От всего этого получалась перепутаница, нелепости, дичь. «Ближние» страдали, шарахались от Гвоздикова куда попало, грозили расправами и даже бивали неутомимого покровителя и друга, отчего Гвоздиков унынию не предавался. Столкнувшись на перекрестке с Валентином, он разразился на всю улицу восклицаниями, бросился его неистово обнимать, подхватил под руку, потащил к себе на квартиру; крючковатый, непомерно длинный нос покраснел у него от возбуждения. Он дергал из стороны в сторону худой шеей, размахивал руками, шинель то и дело распахивалась. Минут через пять Валентин уже знал, что Гвоздиков занимает «страшно ответственное место» в Земском союзе, что он «свой» человек в штабе фронта, — но все это, впрочем, чепуха, главное же — он нестерпимо рад встрече с Валентином, было бы «роскошно», если бы Валентин сейчас же, сию минуту собрал свои вещи (вероятно, живешь в каком-нибудь вертепе), переселился бы к Гвоздикову, так как у него такая квар-

тира, каких в Минске ни у кого теперь нет. Пригласив переехать к себе Валентина, Гвоздиков тут же об этом забыл и уже спрашивал дальше, знает ли Валентин о «грандиозном» и решительном нашем наступлении по всей линии Западного фронта, и когда тот усомнился, Гвоздиков остановился, вытаращил глаза: «Поверь мне, мой друг, имею неопровержимые данные из первых источников». Их он, однако, не сообщил. Вечер Валентину пришлось провести вместе с Гвоздиковым. Он действительно занимал две большие и удобно обставленные комнаты. Дня через два Гвоздиков забежал к Валентину и сообщил, что в комитете он виделся с их общим товарищем по ссылке Иосифом. Иосиф узнал о Валентине, просил его непременно зайти, оставив для него свой адрес.

Иосиф жил на окраине, в тесной конуре. Конура имела единственное достоинство — отдельный ход. Иосифа Валентин знал за человека, необыкновенно приверженного к конспирациям. Он изводил товарищей подробными наставлениями, как вести себя революционеру. Всюду ему мерещились провокаторы, сыщики. Встретившись где-нибудь у приятеля с новым человеком, Иосиф до того подозрительно, пронзительно и враждебно разглядывал его, что тот не знал, куда ему деться. При этом Иосиф нес таинственную околесицу либо отмалчивался. Когда знакомый уходил, Иосиф беспокойно спрашивал приятеля: «Ты его хорошо знаешь? Будь с ним осторожен, он не внушает доверия. Преподозрительнейшая личность!»

Идти с Иосифом по улице было мучительно; он вертел во все стороны головой; пропуская какого-нибудь прохожего, ожесточенно сопел, толкал товарища в бока: будь, мол, начеку, — ускорял шаги, почти бежал, порывался скрыться во дворе, прятал лицо в воротник пальто, брал извозчиков, торопил их в неизвестном направлении, а однажды прямо приказал: «Извозчик, за границу!» Докучая пространными рассуждениями о правилах конспирации, Иосиф на глазах у всех терял записки с адресами, с шифром, забывал их на окнах, на столах. Нелегальная литература выпадала у него из карманов в театрах, в магазинах, на ходу. Неумеренные конспиративные наклонности нисколько также не избавили Иосифа от постоянных арестов. Не успев отбыть тюрьму или ссылку, Иосиф снова «проваливался», и жизнь его с восемнадцати до тридцати пяти лет прошла

в изгнаниях и подробном изучении быта российских тюрем. Злоключения эти Иосиф переносил с видом твердым, будто он был уверен, что никакой другой участи ему судьбой и не предназначено. Тюрьма, лишения уже успели оставить на Иосифе свой разрушительный след: грудь высохла, запала. Кожа на лице сделалась дряблой, пористой, серой; щеки по-стариковски обвисли, и только большие и черные глаза блестели и часто зажигались. Жил Иосиф одиноко, неприютно.

Открыв Валентину дверь, он тотчас же шепотом предупредил, что кругом живут «подозрительные типы», опустил занавеску, отчего в комнате сделалось совсем темно. Он надсадно кашлял, носил пенсне, которое сидело криво на его носу. Пенсне держалось на толстом и длинном шнуре; Иосиф то и дело откидывал шнур, задевал рукой пенсне, оно падало. Иосиф ловил его, путаясь в шнуре. Поглядывая близорукими глазами и безуспешно стараясь придать им строгость, Иосиф расспросил Валентина, что он делал в последние годы, почему оказался в Минске; в свою очередь сообщил «о многих случаях». «Случаев» и вправду было сколько угодно, и теперь Иосиф жил нелегально, будучи связан «кое с кем некоторыми делами, имеющими некоторое отношение к некоторой подпольной работе». Других подробностей Иосиф Валентину пока не доверил, но просил у него бывать.

Второе свидание между ними произошло недели через две. Валентин пришел к Иосифу сказать, что он намерен уйти из союза. Иосиф слушал его, кружась по комнате: ходить по ней, из-за ее малых размеров, было нельзя, а Иосиф по старой тюремной привычке долго сидеть на месте не мог. Покружившись, кашляя и сверкая глазами, он глухо перебил Валентина:

— Оставлять тебе место нельзя. Я кое с кем советовался. Товарищи очень обрадовались, когда узнали, что ты ведаешь делами по отсрочкам. Ты можешь быть полезным. — Тревожно оглядевшись, Иосиф продолжал: — Под величайшим и строжайшим секретом: на фронте и здесь в Минске есть группа военных работников. Они служат в Земском союзе, в Союзе городов. Есть и в действующей армии. Некоторые ведут работу, другие скрываются и отсиживаются. Ты можешь им помочь с отсрочками. Остерегайся только Гвоздикова. Если проговоришься, завтра весь Минск будет знать. Я тоже допустил оплошность, что передал тебе через

него мой адрес. Нужно было назначить первую встречу на улице. Мы совсем перестали считаться с конспиративными условиями... Я уверен...

Валентин, в свою очередь, не дал говорить Иосифу:

— Я не рассчитывал дольше оставаться в канцелярии; меня могут судить военным судом за укрывательство.

Иосиф запутался в шнуре, с ожесточением ответил:

— Что значит «не рассчитывал»! Ты нужен на твоем месте, вот и все. Считаю вопрос решенным. Если будут угрожать судом, ты скроешься, перейдешь на нелегальное положение, вот и все.

Валентин провел рукой по волосам.

— Я и так живу по чужому паспорту.

Иосиф раскрыл рот, несколько мгновений остановившимися глазами смотрел на Валентина, забывая о правилах конспирации, воскликнул на всю комнату:

— Не может быть! Чего же ты молчал? Замечательно!..

Вид у него был ликующий. Он хлопнул дружески Валентина по плечу, схватил его за пуговицу гимнастерки, брызжа слюной и показывая гнилые зубы, продолжал:

— Отлично, все ясно. В случае чего даже и паспорта искать не надо... Словом, нашего полку прибывает.

Он потирал от удовольствия руки, щипал неопределенного цвета бороденку, остыв, с опаской покосился в темный угол, где стояли одни рваные его калоши, будто опасался с их стороны предательства, забормотал, что Валентину надо вести себя в канцелярии очень осторожно, не выделяться из среды остальных служащих и т. д.

Валентин ушел от Иосифа озабоченным. На фронте нашлась своя группа людей. Пусть их работа не имела пока широкого охвата, в нужные сроки, — он знал это по девятьсот пятому году, — такие группы, ничтожные по числу, в кратчайшее время собирали вокруг себя тысячи, десятки тысяч людей, руководили ими, бросали их в бой. В Несвиже и в Минске Валентин с облегченным чувством отдыхал от подполья, но мало-помалу чужая обстановка, оторванность от родной привычной среды, поведение Гортанова, бестолочь стали все больше, все сильней и чаще его тяготить. Теперь служба в канцелярии получила свой смысл. Но тут же он вспомнил Ванду, ее горячее, будто всегда освещен-

ное солнцем, просвечивающее лицо, холодные глаза; вспомнил и офицера из контрразведки и то, что нашептывал ему в парке Гольцман. Ясность исчезла, все спутывалось. В служебные часы он нередко приглядывался к Ванде. Сначала она держала себя с ним отчужденно, потом более дружелюбно. Она вступала в беседы, ее советы и предложения отличались разумностью. С утра перед ним возникал ее образ, он перебирал в памяти мелочи, сказанные ею слова, манеры оправлять волосы, входить в кабинет, и, хотя работа в канцелярии казалась ему скучной и лишенной интереса, он шел в управление охотно, с желанием скорей увидеть ее.

Невольно он следил за ее посетителями. Они возбуждали в нем недоумение. Ходили к ней чаще все штабные офицеры, надушенные, с глянцевитыми и тщательно проложенными проборами, — интендантские и земские чиновники, врачи, начальники технических дружин и отрядов. Больше остальных Валентину не нравился адъютант Карский, балетный артист, недавно призванный на службу, самолюбивый и ограниченный, но с такими сильными и стройными ногами, что ими нельзя было не любоваться. Принимая знакомых, Ванда смеялась не своим, деланным смехом. Валентин, занимаясь у себя, ловил доносившиеся из соседней комнаты голоса, хмурился, ходил из угла в угол, курил одну папиросу за другой, и, если после приема поклонников Ванда входила к нему, он обращался с ней сдержанно. Но бывало и так, она появлялась грустная и скучная. Валентин удивлялся перемене: всего лишь несколько минут тому назад до него доносились ее наигранный, нервый голос, обрывки пошловатых фраз, — разговоры, как и где провести вечер, в кино, в ресторане, в театре, у знакомых, — теперь перед ним была другая женщина. Валентин начинал смутно подозревать, что Ванда живет в большой смене чувств, настроений, мыслей, и это в ней привлекало его, как влекут путешественника неизведанные и нераскрытые края. Возвращаясь от Иосифа, Валентин вспомнил все это и многое другое с новой тревогой. Город глухо покоился в ночной тишине, небо было закрыто зимними тучами.

...Гортанов уведомил Валентина, чтобы он поторопился с приведением дел в порядок: штабом фронта уже отдано распоряжение о проверке отсрочников, назначены комиссии, ревизия ожидается самая тщательная.

В свою очередь Иосиф передал Валентину список военнообязанных товарищей; их надо было избавить при проверке от немедленной отсылки на фронт. Просмотрев их документы, Валентин убедился, что они находятся в обычном беспорядке. Он тщетно размышлял, каким путем можно будет помочь друзьям. И в первый раз со всей неотвратимостью пред ним встал вопрос о Ванде. Делопроизводство находилось в ее руках. Сделать что-нибудь помимо нее было невозможно. Открыть ей свои замыслы Валентин не мог. Кто она? Во имя чего будет она подвергать себя опасностям? Как изложить ей дело? А может быть, она действительно служит в контрразведке? Нет сомнений, в учреждениях союза, где немало людей с сомнительным политическим прошлым и настоящим, контрразведка имеет свои кадры осведомителей, и еще вероятней, что такие осведомители должны быть в отделах личного состава. Знакомые Ванды подозрительны. Чем больше думал об этом Валентин, тем чаще она представлялась ему такой осведомительницей. Он удвоил к ней свою любезность, но вместе с тем внимательней стал за ней наблюдать. Однажды он пошел за Вандой после вечерних занятий. Туманная изморозь рассеивала холодный свет луны, оседала на деревьях; улицы затихли. Валентин прятался за прохожими, их было немного. Ванда шла шагах в двадцати. Валентин напрягал зрение, чтобы не потерять ее из виду. Он как бы внутрь себя принимал ее фигуру, знал, какое у нее сейчас лицо, как лежат складки ее платья, щеки от мороза стали у ней совсем алыми, немного огрубели; она иногда растирает их ладонью правой руки; глаза остыли, в них лунные отсветы и темные тени от ресниц. Третьего дня в кабинете она наклонилась к нему с бумагами, прядь волос коснулась его уха; эта прядь выбивается и теперь, на ней иней. Теплое дыхание сгущается в пар и тут же исчезает; оно напоминает о жизни, о горячей крови, о здоровье, о влажных устах. И одновременно он шел за ней украдкой, следил, как за врагом. Ванда свернула в переулок, где жила. Он был пустой, сонный. Валентин замедлил шаг. Вдруг ему показалось, что она оглянулась в его сторону. Он спрятался за выступом дома в пролете между воротами. Уши его горели. Переулок казался косым. Он задыхался. Прижимаясь к серому простенку, он осторожно посмотрел из-за выступа. Ванда удалялась. Ее фигура уже расплывалась в лунном тумане. Валентин опять спря-

тался за угол и вновь выглянул. Ванды уже не было в переулке.

На другой день он внимательно присматривался к ней. Она была спокойна, деловита. Валентин решил, что она его вчера не видала. В полдень он пошел в комитет Западного фронта; нужно было переговорить с одним из уполномоченных союза, и Валентин, ожидая своей очереди, бродил по скучным и длинным коридорам. Было пыльно, шумно. Спешили рассыльные, курьеры; с необычайно деловым и озабоченным видом пробегали и хлопали дверьми секретари, бухгалтеры, канцеляристы, на ходу отвечая осаждавшим их посетителям. Врачи, сестры милосердия, начальники отрядов, заведующие хозяйством бродили пестрыми группами. Валентин обратил внимание на человека, стоящего в конце коридора у окна. Плотный, коренастый, в распахнутой шинели, он оживленно беседовал с молодой сухощавой женщиной. Черты ее были красивы и строги, на щеках горел сомнительный румянец. Ее, впрочем, Валентин ясно не разглядывал, вглядывался он в коренастого мужчину: как будто он где-то встречался с ним. Да, ему положительно знакомы и этот крепкий затылок, и эти короткие, подстриженные бобриком волосы, и лучистые, непроизвольно улыбающиеся глаза, и точно не защищенная открытая грудь. Неизвестный нагнулся, потер колено, выпрямившись, провел указательным пальцем правой руки по усам победным и довольным жестом... И, как далекое видение, пред Валентином предстал тюремный двор во Владимире. Заключенных в польском корпусе только что выпустили на прогулку. Снег на дворе лежал рыхлый; арестанты затеяли игру в снежки. Один из них, догоняя приятеля, поскользнулся, упал и, когда поднялся, потер колено, рассмеялся и расправил рукой усы. Он сделал все это точно так же, как и этот человек у окна. «Неужели он? Да, он!» Валентин узнал его, знаменитого шуйского Арсения, студента Михаила Фрунзе, боевика, пропагандиста и агитатора, руководителя окружной организации. Колено Арсению вывихнули казаки при аресте. Они поймали его и тащили на аркане, волоча за лошадью. Валентин сидел с Арсением в одной камере. Арсений был приветлив, покладист, его любили. Он умело тушил тюремные ссоры и дрязги. Потом Арсению предъявили смертную статью за стрельбу в урядника. Дважды присуждали к петле; дело тянулось два года, окончилось шестилетни-

ми каторжными работами. Шесть лет с тех пор уже прошло. Значит, Арсений перешел на положение ссыльнопереселенца, и, если он теперь здесь, в Минске, он, очевидно, бежал и скрывался под чужим именем. Арсений заметно постарел; вокруг глаз частой сеткой легли легкие морщины, но по-прежнему взгляд был молод, лучист, и так же, как раньше, он откидывал с вызовом назад голову, и так же светло, открыто и победно он улыбался. Фрунзе пристально смотрел на женщину: видимо, она ему нравилась. Валентину захотелось подойти, напомнить о себе, о Владимирской тюрьме, но почему-то он этого не сделал, — может быть потому, что пропустил нужный момент. Пока он решал, Арсений простился с собеседницей, широким шагом направился к выходу.

— Живем, живем, — твердил Валентин дорогой из комитета в управление.

Встреча всколыхнула забытое, связала с сотнями, с тысячами соратников. Пусть он здесь почти одинок, пусть на личную ответственность ему приходится вести запутанное, непривычное дело: свои люди, боевые друзья не перевелись, и уж, наверное, они не сидят сложа руки.

В канцелярии Валентин вынул из ящика список, врученный ему Иосифом, снова пересмотрел его. Он перебирал фамилии одну за другой. За каждой из них ему представлялся Арсений, он старался угадать. Занятие было явно бессмысленное, но приятное. Валентин настолько увлекся, что не слышал, как в дверь постучала и вошла Ванда. Шуршащее черное платье туго облегало ее бедра, и темный смелый излом бровей оттенял белизну ее кожи. Валентин накрыл листом список, неприязненно взглянул на нее, молча подписал очередные бумаги. Собирая их в папку, Ванда неожиданно сказала:

— Вам нездоровится? Вы очень сегодня бледны.

Валентин с удивлением поднял на нее глаза. Она никогда не задавала ему личных вопросов. Смутившись, он взял карандаш, ненужный ему, ответил:

— Благодарю вас. Немного устал. Вчера вечером поздно гулял, — долго не мог уснуть. Сегодня пришлось часа два ждать приема у Кузьмина.

— Поздние прогулки не всегда бывают полезными.

Ванда еле заметно улыбнулась. Улыбка показалась Валентину двусмысленной. «Неужели заметила она ме-

ня в переулке?» Он обвел ее косым и угрюмым взглядом. Она была спокойна, пожалуй, даже дружелюбна. «Нет, она вчера меня не видела».

— Вы правы, поздние прогулки следует отменить.

Ванда вышла из кабинета. Валентин проводил ее до дверей. Легкие завитки на ее затылке были нежны и грешны.

Он долго неподвижно сидел в кресле, закрыв глаза; решительно встрепенувшись, торопливо придвинул к себе чернила и бумагу, написал Гольцману открытку. В ней он спрашивал, не согласится ли Гольцман занять место секретаря в канцелярии. Валентин ждет от него срочного ответа. Он спешил опустить письмо и ушел из управления раньше урочного времени. Звук крышки, после того как он бросил в ящик письмо, был сух, он обрывал и что-то отрезал.

V

Валентин навестил Гвоздикова, застал его за спешными приготовлениями. В нижней рубашке, потный, с торчащими вихрами, Гвоздиков расставлял вина, закуски, фрукты.

— Вовремя, брат, вовремя, — закричал он, бросаясь к Валентину. — Интим-суаре, день рождения, встреча друзей и... букет потрясающих женщин. Приехал некий эскулап с фронта, — ты его не знаешь, — рубаха-парень и зелия не гнушается, привез толику спиртуоза, а у меня с давних пор коньяк застоялся. Мы и решили встряхнуться. Ты, разумеется, непременный гость, но, во избежание недоразумений, два замечания. Будут у меня все свои, приятели, народ отличный, но в политике, понимаешь, ни бельмеса, и вообще... Потом... — Он замялся, краснея, выпалил: — Зовут меня тут не Гвоздиковым, а Гоздаковым. Во-первых, старая привычка скрываться; язык прямо не поворачивается назвать себя по-настоящему; а во-вторых, ненавижу свою фамилию до судороги и исступления. Главное, буква «и» — Гвоздиков, — она, брат, все портит. А ежели ее переменить на «а» да еще это проклятое «в» убрать, получается и звучно и благородно: Гоздаков — ударение на «а» непременно: Аксаков, Гоздаков, — нечто дворянское. Я — демократ до мозга костей, но холуйских имен не выношу: претит и претит.

Валентин, улыбаясь, посоветовал:

— Ты лучше присвоил бы себе двойную фамилию: Гвоздиков-Гоздаков: пышней и увесистей.

— Ты думаешь, двойная фамилия лучше? А ведь это мысль!.. Боже мой!

Гвоздиков дернул себя за вихор и стал посреди комнаты с отчаянным и несчастным видом.

— Боже мой! Я же совсем забыл охладить белое вино. Снегу, снегу!

Схватив таз, он выбежал через кухню на двор.

К девяти часам собрались гости. «Рубаха-парень», госпитальный врач, выглядел мрачным, седеющим человеком, с красным мокрым носом. Он привел с собою пожилого тихого прапорщика Востокова, похожего на помещика средней полосы. Востоков, как узнал Валентин, до призыва был земским учителем. Пришел долговязый бритый актер Словаковский, очень самоуверенный. Говорил он громким, «бархатным» голосом. С Словаковским была молодая женщина, ее звали Нелли. У Нелли от кармина горели губы, узкое лицо казалось перекошенным. Оба они служили в союзе. Бренча шпорами и саблей, появился скуластый кавалерист, обожженный ветрами и морозами; за ним — сослуживцы Гвоздикова, Топа и Миша. Они охорашивались, приглаживая височки, вид имели умильный, расторопный, будто были всегда наготове выполнить любую просьбу собравшихся. К тому же они очень походили друг на друга и даже одевались почти одинаково. На них были кургузые гимнастерки. Со смешками впорхнули, очевидно неразлучные подруги, Лиза и Киса, милосердные сестры. У Лизы носик был вздернут, у Кисы, наоборот, клонился долу. За Кисой и Лизой последовал поручик Стрепетов, по утверждению Гвоздикова, его закадычный и окончательный друг. Поручик умно и насмешливо щурил глаза, спокойно и снисходительно рассматривал гостей. Он получил отпуск, последние месяцы неотлучно пробыл в окопах. Его стали расспрашивать о фронтовой жизни. Сложив руки на груди, он неторопливо рассказывал с усмешкой:

— Об общем состоянии фронта в окопах не судят. Мы знаем только местные факты, а факты у нас разные. Недавно на соседнем участке немцы перешли в наступление. Ротный командир решил, что ему надо получить инструкцию от командира полка, покинул землянку и роту, отправился в тыл, командование передал поручику. Поручик в скором времени пришел к заклю-

чению, что ему следует отыскать командира полка, оставил участок на прапорщика. Прапорщик, в свою очередь, счел нужным переговорить с поручиком по телефону и, так как телефонная связь была нарушена, отправился в тыл. Фельдфебель, старший унтер-офицер тоже очутились в тылу. Командиром роты остался младший унтер. Солдатики сочли за благо целиком сдаться немцам в плен.

— Ужасно, ужасно, — откликнулся на рассказ актер Словаковский совершенно равнодушным голосом. — Ужасно то, — продолжал он уже поучительно, — что мы теряем всякое доверие союзников. Мы не выполняем своих обязательств, тогда как у нас есть все данные для победоносной войны: людской материал у нас неиссякаем, пространства необъятны. Все это позволяет нам маневрировать сколько угодно, сколько угодно, говорю я.

Стрепетов сдержанно ответил:

— Людской материал не всегда охотно ложится в окопы.

Словаковский понял намек.

— Преклоняюсь перед нашими героями, но нельзя же всех интеллигентных людей посадить в окопы. В России они наперечет. Если их перебьют, то, осмелюсь спросить вас, что будет с культурой, с наукой, с искусством?

Стрепетов промолчал.

Гвоздиков, закончив приготовления у стола и потирая руки, пригласил гостей к столу. Гости расселись. Госпитальный врач сурово посмотрел на разведенный спирт, издал хрюкающий звук, наполнил рюмку, пробормотал что-то невнятное о дне рождения Гвоздикова и первый, ежа усы, опорожнил рюмку. Остальные потянулись к Гвоздикову чокаться. Спустя четверть часа общее настроение повысилось. Кавалерист ухаживал за Кисой и Лизой решительно и деловито, глядя на подруг столь откровенным взглядом, что они опускали глаза. Валентину была видна его короткая, кирпичного цвета шея и каменный затылок: в согнутой шее, в наклоне головы таилось что-то бычье, упорное. Рядом с Валентином сидел прапорщик Востоков. Востоков пил и закусывал медленно и опрятно. Словаковский с бокалом в руках гримасничал, щурился, гладил себя по жилету табачного цвета, много говорил. Нелли отпивала вино маленькими глотками, показывая длинные

отполированные ногти. Иногда она шутливо царапала ими руку Гвоздикова, шумного, неутомимого, хотя и бледного от коньяка и хлопот. Стрепетов сидел у конца стола, поставив около себя бутылку красного вина и думая о чем-то своем, видимо, невеселом. Топа и Миша вели себя благопристойно, пили, точно по команде. Гвоздиков сказал, что Нелли прекрасно читает стихи. Ее начали упрашивать. Она отошла к кушетке, где было потемней. Говор, звяканье вилками, тарелками, ножами прекратились. Нелли читала:

Кто б ты ни был, — заходи, прохожий,
Смутен вечер, сладок запах нарда...
Для тебя давно покрыто ложе
Золотистой шкурой леопарда.
Для тебя давно таят кувшины
Драгоценный сок желтей топаза,
Что добыт из солнечной долины,
Из садов горячего Шираза.
Розовеют тусклые гранаты,
Ломти дыни ароматны, вялы,
Нежный персик, смуглый и усатый,
Притаился в вазе, запоздалый...

В стихах звучали восточное сладострастие, лень, пышность; в них женщина была раба и одалиска. А Нелли произносила стихи, закрыв глаза, протянув руки вперед, точно кого-то искала. Она походила на сомнамбулу. Во всей ее фигуре, в голосе было нечто болезненно-притягательное. Продекламировав, она несколько мгновений стояла неподвижно, потом, будто проснувшись, открыла глаза, — они блеснули русалочными лунными отсветами. Она устало опустилась на стул, положив безвольные, обессиленные руки на колени. Милашки Топа и Миша одновременно поспешили к ней с бокалами красного вина. Уступая просьбам, она прочитала «Незнакомку» Блока.

— Вам это нравится? — тихо спросил Валентина прапорщик Востоков, наклоняясь в его сторону.

Валентин ответил:

— По-своему, пожалуй, нравится. А вам?

— Хорошо, изысканно, — спокойно промолвил Востоков, — но это не обязательные стихи, я хочу сказать, не те, которые нужно запомнить, если их хотя однажды услышишь или прочтешь. Должно быть, в поэзии я ретроград. На досуге дома читал и Блока, и Андрея Белого, и Волошина, и Бунина, и Гумилева. Не перевелись еще у нас прекрасные поэты. А вот — если буду

помирать и захочется вспомнить в последний час что-нибудь из стихов, думается, ничего мне из этих поэтов не понадобится, а придет на память какое-нибудь стихотворение, заученное в детстве. Есть, например, поразительное стихотворение у Лермонтова: «Выхожу один я на дорогу...» Вот это запоминается с детства и навсегда; почему — не сумею толком даже вам ответить. Чувство в нем есть большое, искреннее, — человечность, а формы как будто нет, не видно, сливается целиком с настроением. И когда после таких стихов посмотришь, что делается кругом, на эту суету, на убийства, на войну, на бахвальство, — то видишь: бессмыслица, кровавая глупость, ничего все это не стоит и забудется человечеством. Каким образом, в действительности, воевали троянцы с ахейцами, да и воевали ли они, никто не знает, а Гомер со своей «Илиадой» жив и по сию пору. Поверьте, и с нашими геройствами будет точно так же: их забудут.

Освещенное желтым косяком света лицо Востокова грустно и виновно клонилось к Валентину. Востоков потирал и мял мясистые, знавшие работу пальцы. Валентин решил, что прапорщик совсем не уместен и на этом сумбурном вечере, и еще больше на фронте, у себя в полку. «Вероятно, отличный семьянин, старательный и исполнительный работник, любит проводить время в саду, в огороде». Он хотел ответить, что ему, Валентину, больше нравится поэзия Уитмена и Верхарна и что у них новая, современная человечность, но в это время в дверях показалась Ванда. Появление ее здесь, у Гвоздикова, для Валентина было настолько неожиданно, что он сделал неловкое движение рукой и расплескал на скатерть бокал с вином. Ванда пришла с адъютантом, артистом Карским. Обходя участников вечера, Карский просил «о снисхождении за то, что опоздал», таким тоном, будто все только его и ждали. Он, правда, лишил гостей драгоценных минут, но что делать, что делать. Ванда, подавая Валентину руку, повела удивленно бровью.

— Не ожидала вас здесь встретить, — сказала она мельком и прошла дальше к другому концу стола.

На ней было шелковое, шоколадного цвета платье. В темных волосах густым, насыщенным пятном краснела роза. Гвоздиков, милашки Топа и Миша бросились усиленно угощать и ее и Карского. Потом упрашивали Карского танцевать. Он долго ломался, подошел к пи-

анино, ударив по клавишам, заявил, что пианино расстроено и что танцевать он не может. К пианино подсела Нелли. Они долго совещались. Нелли заиграла «русскую». Карский стоял несколько мгновений неподвижно, его длинные и сильные ноги напряглись. Закинув над головой руки, он хлопнул в ладоши, издал непередаваемый гикающий звук, сорвался с места, подбоченясь, кружась и приседая, понесся по комнате. Он плясал все быстрей, как бы не касаясь пола ногами. В комнату ворвалось что-то неистовое, тарелки, стаканы, ножи, вилки, бутылки дребезжали и ходили ходуном. Вот сейчас они оживут, понесутся, как в сказке, наперегонки, следом за плясуном.

Валентин, впрочем, следил больше за Вандой. Она сидела у края стола, подавшись вперед и не сводя жарко заблестевших глаз с Карского. Она хотела казаться равнодушной, но не могла и не умела сделать это, часто и порывисто дышала, коралловые ноздри ее шевелились, брови были сдвинуты. Карский, сделав еще несколько хмельных кругов, дал дробь каблуками и, завертевшись волчком, оборвал пляску. Музыка прекратилась. Ванда, откинувшись к спинке кресла, обмахивалась платком, будто она сама тоже только что плясала с Карским. Кругом аплодировали. Вытирая капли пота, Карский подошел к Ванде, ловко щелкнул каблуками, сказал, больше обращаясь к Нелли:

— Мазурку.

Он не отдыхал, и Валентин понял, что сделал он это намеренно, показать, что он не устал. Ванда поднялась, подала руку Карскому. Нелли заиграла мазурку. Карский танцевал легко и небрежно. Лицо у Ванды снова изменилось. Глядя на нее, Валентин вспомнил Польшу средних веков, шляхетскую и рыцарскую, и женщин той поры, надменных и нежных, страстных и холодных, породистых и избалованных. Да, это была настоящая панна. Это сквозило в горделивом изгибе ее шеи, во взгляде через плечо, в откинутой назад голове, которой она время от времени с вызовом встряхивала, — в четком переборе каблуками. Валентину представились сумрачные боевые башни замка, темные залы, освещенные светильниками, с мраком по углам, блеск и бряцание оружия, в серебро оправленные рога, женщины и пажи — весь этот легендарный и, возможно, никогда не бывший мир.

Карский быстрым и уверенным движением посадил

Ванду рядом с Валентином. Отдохнув, она стремительно обернулась, глядя на него в упор, сказала:

— Пригласите меня на мазурку.

Очевидно, она нисколько не сомневалась, что он поведет ее танцевать; в ее обращении было нечто приказывающее. Валентин не танцевал с юношеских лет, но, повинуясь ей, с готовностью поднялся. Ее глаза потемнели и как бы отвердели, изгиб ее губ был капризен и нетерпелив. Было в ней что-то темное, хаотическое, буйное, чему всегда следует лишь подчиняться и чего нельзя оскорблять. Ему почудилось, вся его кожа с головы до ног покрыта теплым, шершавым, точно мехом, и это его пьянило.

«Но ведь я совсем не умею танцевать, что же я делаю». Топа и Миша пригласили Лизу и Кису и уже стояли с ними в парах. Это ободрило Валентина. Нелли повторила мазурку. К своему удивлению, Валентин только вначале сбивался и терял такт. Потом он даже решил, что танцует свободно и хорошо. На самом деле он целиком подчинялся Ванде, лишь угадывая нужные движения. Между ними образовалась внутренняя связь. Она-то и помогала ему сравнительно редко делать промахи. Танцуя, Валентин ловил влажное и горячее дыхание Ванды, в блеске ее глаз оранжево отражался свет лампы. Он ощущал игру ее мускулов, свежий, крепкий запах ее волос, и все время его не покидало счастливое, опьяняющее чувство меха на всей коже. Он хотел, чтобы мазурка все продолжалась, Ванда шепотом промолвила:

— Довольно.

Валентин посадил ее. Она попросила вина, он подал ей бокал. Отпивая, она спросила:

— Вы прекратили поздние прогулки?

Выражения ее лица Валентин не разглядел.

«Она знает, что я следил за ней в переулке». Намеренно равнодушным тоном он сказал в свою очередь:

— Почему вы так думаете?

— Я только спрашиваю вас.

Она сказала это просто, взглянув на него как бы даже с недоумением.

— Иногда я по-прежнему поздно гуляю.

— Вот как, — промолвила она рассеянно и безразлично, поднялась и подошла к Нелли. Валентин сумрачно проводил ее глазами.

С вечеринки разошлись около двух часов. Ванда уш-

ла с Карским. Валентин отметил это с недоброжелательством, не решаясь, однако, в том себе признаться. Он сохранил в памяти удар каблучком с одновременным вызывающим и задорным потряхиванием головой и плечом.

...От Гольцмана и Гортанова пришли письма. Гольцман соглашался приехать в Минск, справлялся, когда нужно это сделать. Гортанов уведомлял, что в соседнем армейском управлении уже началась проверка военнообязанных, обещал на днях «заглянуть» в канцелярию.

Нужно было торопиться с удалением Ванды. Когда Валентин в первый раз решил от нее освободиться, он полагал, что сделать это легко, и не задумывался, как все это произойдет. Теперь пора было действовать, и он все больше и больше убеждался, что отказать Ванде совсем не просто. После долгих и подчас мучительных размышлений он ответил Гольцману, чтобы тот приезжал дней через десять и наметил план смещения Ванды. Он стал обходиться с ней суше, неприветливей, — находил недочеты в ее работе, заставлял переделывать ведомости, придираясь к мелким ошибкам. Он поручал ей писать ответы, составлять отношения; их редакция теперь его не удовлетворяла. Он старался показать ей, что она медленно работает, делал ее ответственной за упущения других сотрудников. Случилось, Ванда пришла на час позже обычного. Принимая от нее почту, он спросил о причине ее запоздания. Ванда кратко объяснила: ее задержали личные дела, Валентин заметил, что подобные объяснения он считает недостаточными. Ванда ничего не ответила, но покраснела до мочек ушей, поспешно вышла из кабинета и в продолжение всего рабочего дня не показывалась, посылая вместо себя других. Валентин не умел вести канцелярских войн, его придирки к Ванде, очень исправной, были неуклюжи и слишком явны. Ванда сначала недоумевала и удивлялась, но скоро поняла, что ее выживают. В ответ она усвоила особую манеру обращения с Валентином, открыто презрительную. Валентин испытал обиду, унижение. Его угнетало сознание, что он поступает несправедливо. Он успокаивал себя: «У меня, — говорил он себе, — нет другого выхода. Я должен помочь товарищам. Ванда этому невольно мешает. Я не знаю ее. Может быть, она даже связана с контрразведкой». — Доводы звучали убедительно, но не

облегчали. Чувство вины не покидало. Он старался не встречаться с Вандой. Каждый раз, когда открывалась дверь в его кабинет, он тревожно ждал и облегченно вздыхал, если вместо нее появлялся кто-нибудь из сослуживцев. В то же время, стыдясь, осуждая себя, он создавал мир, жаркий, мучительный и страстный.

Ванда стояла перед ним неотступно. Едва он просыпался, еще в полудреме, в первых неясных восприятиях действительности возникал ее образ, запечатленный с выразительностью видений. Он не только представлял ее, он ее ощущал, зная теперь о ней мелочи, которые раньше им не замечались. Например, он долгое время считал, что у нее черные глаза, пока не убедился, что они больше синие и что темными они кажутся от черных длинных ресниц, от бровей и волос. Он знал, как изменялось ее лицо, фигура и движения от платья, от прически. Он догадывался, когда она проводила бессонные ночи. Звук ее речи передавал ему ее настроение. Она носила кольцо с крупным рубином. Иногда она снимала его, — Валентин подметил, она бывала тогда молчалива, рассеянна, часто задумывалась. Письма, получаемые ею, читала, прикладывая ладони к щекам, словно хотела их охладить. Она редко вступала в беседы с сослуживцами, редко шутила с ними, ни с кем из них не дружила, они ее недолюбливали, считая гордячкой. Она относилась к этому безучастно. Валентину это было дорого в ней. Иногда она приходила в канцелярию подобревшей, — это случалось чаще всего в ясные, морозные дни, когда снег лежал в солнечной позолоте, уши и щеки славно горели от холодных щипков зимы. Она никогда не завтракала, — крепкий, почти черный чай пила с шоколадом, и у нее всегда в столе хранились коробки, перевитые цветными лентами. Прощалась она легким, еле заметным кивком головы, смотрела прямо в глаза, ее рука была всегда суха и горяча. Все женщины, которых он знал, видел, потеряли для него свою притягательность. Он смотрел на них равнодушным, пустым взглядом. Для него существовала она одна, единственная. Он держал в себе, носил ее образ, где бы он ни был, что бы ни делал. Это утомляло, больше, это доводило до бессилия и отупения. Она преследовала его, как рок, как наказание, искушала его, была возмездием за долгие годы воздержания, за подавленные, поруганные инстинкты, за чувства, не разделенные ни с кем. Он перебирал в памяти свое прошлое,

тайную, скрываемую даже от себя жизнь пола. В детстве, лет восьми, он прочитал лубочную книжку «Битва русских с кабардинцами, или прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа». Он плакал над судьбой черкешенки, прятался за ригой в скирдах и ометах. Он не знал тогда правды рождения человека, но растрепанная, засаленная книжка впервые заставила его пережить неясное сильное влечение к женщине. Чувство было мучительное и сладостное. Он испугался его. Великопостный звон, говение, исповедь, причастие, темные лики икон, молитвенники в закапанных воском кожаных переплетах, чтение страстей Христовых, картины страшного суда, где грешники подвергались мучениям, заставляли его пугливо отгонять от себя, как запретное, все, что он узнал потом от деревенских сверстников о тайнах пола... Испорченность казалась ему столь великой, что, ложась спать, он ограждал кровать свою крестными знамениями со всех сторон, опасаясь соблазнов и адовых козней, и не раз, просыпаясь ночью, становился он на колени в одной рубашке и повторял молитвы. Были дальше школа, духовное училище, семинария. Он жил в бурсе, в оголтелой, в выморочной среде. Из стен бурсы выпускали только по праздникам и только тех, кого могли на несколько часов взять к себе родные. Девушка, женщина были запретным, редким, далеким призраком. Их видели лишь на улицах, из окон, во время всенощных и обеден. О них говорили гадко и обольстительно. Ими дразнили, и всегда они казались недосягаемыми существами других планет и измерений. В семинарии ими часто пугали. Там ходили группами в известные дома, возвращались с болезнями, о них Валентин думал с омерзением и с ужасом. Впервые он стал встречаться с гимназистками, с фельдшерицами в подпольных кружках. При встречах на вечерах и собраниях он краснел, отвечал невпопад, одиночествовал в углу, и здесь же из-за угла влюбился в восьмиклассницу, очень красивую, с каштановыми косами, с ленивыми и мягкими движениями. Он отдал ей романтику двадцати лет, юношескую мечтательность, семинарскую застенчивость, горечь своего первого расцвета, радость ожидания чего-то необычайного, свое подвижничество, раздумья, лунные ночи, бессонницу, тоску, годы скитаний. Его любовь к ней, первая и всегда для всех неудачная, длилась несколько лет. Их разлучили тюрьма, ссылка, борьба, его нерешительность, убежденность, что

в его положении революционера нельзя иметь жену, ребенка, даже длительной привязанности.

Теперь Ванда мстила ему и за них, и за него самого, и за себя. Все, что он подавлял в себе из года в год, с детства, естественные чувства мужчины к женщине, запасы нежности, жажду содружества, женского уюта — она вызвала, подняла в нем с силой, которую он никогда не находил в себе. Тогда-то Валентин узнал скорбь сумрачных, одиноких дней, тщету надежд, изнурительных дум, навязчивых представлений все об одном и том же. Он почувствовал жесткую железную эпоху, услышал ее каменный гул и поступь, закон борьбы, ее неотвратимую последовательность — и свою маленькую человеческую судьбу. Значительным, огромным смыслом наполнились для него заученные на школьной скамье строки великого русского поэта о Евгении, о том, как «прояснились мысли страшно», — «он узнал и место, где потоп играл, где волны хищные толпились... и того, кто неподвижно возвышался во мраке медною главой».

В своих мечтах он уже переходил границы реальности. Ему казалось, что он думает о Ванде, но это было неверно. Существо, созданное им в воображении, лишь отдаленно походило на нее. Оно как бы приобрело свою самостоятельную жизнь. Он был уже влюблен в подобие Ванды. Упоение этаким образом уводило от жизни, рассеять, удовлетворить это чувство уже не могли ни Ванда, ни другая женщина. Он испытывал даже разочарование, когда видел ее обыденную, настоящую. Она была бледнее, хуже своего двойника, мешала своему образу жить особой жизнью, иметь качества, какими он наделил этот призрак. Призрак позволял ему делать с собой что угодно. Он подчинялся, отдавался ему. В конце концов Валентин стал ненавидеть и Ванду и еще больше ее образ за то, что они были постоянно с ним и не давали ему отдыха. Он был бессилен против них, не мог забыться. С трудом читал он книгу, через силу справлялся с работой в канцелярии. Он старался опорочить Ванду, находил в ней недостатки, эгоизм, склонность к разврату, мелкое пошлое кокетство. Он уже не сомневался, что она обслуживает охранников, находил в этом даже радость, странное наслаждение. Он не глядел на нее, когда она входила к нему в кабинет, и провожал ее глазами, полными неприязни. Иногда он даже удивлялся, откуда у него столько зло-

бы к ней. Потом он укорял и даже себя пугал, что ему грозит потеря революционной стойкости, чутья и справедливости. Но едва он начинал думать об Арсении, об Иосифе, о зарубежных и здешних друзьях, об успешности революционного дела, — все приходило в порядок, получало стройность, незыблемость. Ему помогали приобретенные годами в подполье благодетельные привычки и навыки.

В те дни Валентину приснился памятный сон. Где-то надрывно грохочет тяжелая артиллерия. Ночь так мрачна, что он не видит даже своих ног. Он в шинели, с ружьем. Немцы прорвали фронт, преследуют разбитые русские части. Надо скорее скрыться. Он бежит вместе с остальными, спотыкаясь, падая. Сердце бьется частым молотком в грудную клетку. Неожиданно он оказывается один у избы. В окнах темно, от них исходит зловещее молчание. «Должно быть, спят». Он стучит в дверь, толкает ее, она открывается, он входит в избу, зажигает спичку, оглядывается. В переднем углу он видит чугунную бабу. Она огромного роста, сидит на возвышении. Лицо ее в продольных складках, точно в бороздах. Часть носа и подбородок отбиты, вместо ноздрей зияют черные дыры. Толстые губы мертвенно полуоткрыты. Торчат крепкие, редкие зубы верхнего ряда, нижних зубов не видно. Волос нет, череп гол. Валентин зажигает другую спичку и тут замечает: чугунная баба, бесстыдно раздвинув ноги, курит трубку, вдыхая удушливый дым. Глаза у нее выпучены, но они живые, человечьи. Валентину кажется, что в бабе кто-то сидит и следит за ним, брюхо и груди у бабы безобразно отвисли. Баба медленно подносит ко рту трубку, по лицу ползет гадкая, плотоядная усмешка, похожая на судорогу. В страхе Валентин выбегает из избы. Край неба объят длинными и острыми языками пламени...

...Приехал Гортанов. Он появился в базисном управлении, стремительный, распорядительный и чем-то очень довольный. Все ли в порядке? Как идет подготовка к ревизии? Штабная тройка в третьем армейском управлении неистовствует, отправляя сотни сотрудников на фронт в окопы. Нужно подтянуться. Валентин заявил Гортанову, что считает положение безотрадным, подробно стал докладывать о делах. Гортанов насупился.

— Все это я знаю, друг мой, — перебил он Валентина, — но надо во что бы то ни стало найти выход. Проверка должна пройти у нас вполне благополучно. —

Он взглянул на Валентина строго и решительно. — Я понимаю твои затруднения («твои»? — подумалось Валентину), я их вполне понимаю и разделяю, — однако и у нас есть кое-какой опыт. Мы революционеры, а не канцелярские крысы. Мы прошли отличную школу. Нужна смекалка, изворотливость, почин. Нужно вовремя не растеряться.

— Все это так, — уныло согласился Валентин, — но что же я могу поделать, если у нас на отсрочников нет оправдательных документов?

— Их надо достать, — твердо заявил Гортанов.

— Легко сказать, — возразил Валентин.

Наступило молчание.

— Не сможешь ли ты тоже присутствовать при проверке? — спросил Валентин. — Это было бы очень важно и нужно.

— Весьма возможно и даже вероятно, — согласился поспешно Гортанов. — Пожалуй, ты прав. В Мире у меня есть совершенно неотложные дела, но на время я постараюсь от них отстраниться. Как только появится штабная тройка, то известишь меня срочной телеграммой, — я приеду, направлю работу, закончишь ты ее без меня.

В Минске Гортанов пробыл больше недели. Он дважды приходил в канцелярию, уезжая, подтвердил обещание.

...Ванду на службе продолжали посещать ее знакомые. Однажды, после очередных дел, Валентин, не глядя на нее, заявил, что считает прием ею посторонних лиц неудобным. Ванда нервно поднялась со стула. У нее задрожали губы, сошлись брови. Она жестко спросила:

— Скажите, что вам от меня нужно?

Вопрос застал Валентина врасплох. Он пробормотал:

— Мне от вас ничего не нужно. — Грубее прибавил: — С чего вы взяли?

— За последнее время вы придираетесь ко мне.

— Это неправда, — заявил Валентин, поднимаясь со стула.

Ванда настойчиво сказала:

— Нет, это правда. Неправду говорите вы, а не я, и вы это знаете. Вы находите ошибки, когда их нет; делаете замечания совсем несправедливые. Вы принимаете меня к себе, точно делаете одолжение. По каким-то неизвестным мне соображениям вы не желаете со мной

работать. Это ваше дело, но вы должны были заявить об этом прямо. Это было бы, по крайней мере, честнее и проще.

Валентин молчал, опустив глаза на письменный стол. В одной из комнат отдаленно зазвонил телефон. С вороха бумаг на пол сполз перочинный нож. Валентин долго поднимал его. Запинаясь и как бы нехотя, сказал:

— Да, нам лучше расстаться. Вы не подходите к работе. Здесь нужен более опытный человек.

Ванда презрительно сощурилась, усмехнувшись и, не отрываясь от лица Валентина, промолвила:

— Сегодня подам рапорт об отчислении в резерв армейского управления.

Она пошла к дверям, хотела их открыть, задержалась, обернулась:

— Оставляю за собой право думать о вас что угодно.

Валентин подошел к Ванде. Они стояли друг против друга, как враги. Валентин провел рукой по лбу. Рука у него дрожала. Ванда часто мигала. Держась за ручку двери, она ждала. Они оба побледнели. Она тяжело дышала, ноздри ее раздувались. Глаза были злые.

— Что вы сказали? — хрипло спросил Валентин. Губы плохо повиновались ему.

Ванда отняла руки от двери, с силой прошептала:

— Зачем вы следили за мной? Что вам от меня нужно?

Валентин подавил кое-как растерянность.

— Я не знаю, о чем вы говорите. Вам пригрезилось.

Ванда отвернулась, решительно открыла дверь.

Валентин подошел к окну. За окном медленно падали редкие, большие хлопья. Наступил вечер. Снег на дворе и крышах посинел. За тоскливым деревянным забором покоился пустырь с голыми, мерзлыми кустами репейника.

«Замирье... утро... аэропланы...» — пронеслось в голове Валентина. Он прижался лбом к стеклу. «Так и надо, не распускай павлиньего хвоста! Как все смешно, горько, нелепо и глупо!.. Как же это я оплошал? А считал еще себя очень опытным... Служит она или нет в контрразведке? Если служит, мой промах в переулке позорен!»

Он с осуждением покачал головой.

«Замирье... утро... окно... Какое у нее тогда было человечное лицо... и эта косынка... где же правда?»

Он не замечал, что губы у него беззвучно шевелились.

Он попытался разобраться в бумагах, но не мог сосредоточиться, — встал, долго шагал по кабинету.

Вошла Ванда, молча положила рапорт на стол. Валентин не взглянул на нее. Когда она уходила, он промолвил:

— Всего хорошего.

Она ничего не ответила. В комнате вяло работал вентилятор. На столе в беспорядке лежала никому не нужная переписка Не желая показываться сотрудникам, Валентин вышел черным ходом. Ночь он провел бессонную. Утром была пустота, равнодушие.

Дня через два приехал Гольцман.

VI

В декабре штаб Западного фронта прислал проверочную комиссию. Она состояла из генерала Ипатьева, унылого штабс-капитана Зайцева и поручика Коростенецкого. Ростом Ипатьев не отличался и, дабы скрыть этот недостаток, молодцевато вытягивался, откидывал назад голову и таращил глаза. Иссиня-фиолетовый нос расплывался у него между дряблыми и старчески-румяными щеками, из ушей торчали пучки седых волос, усы сердито топорщились. Генерал вошел в канцелярию, оглушительно стуча каблуками, в сопровождении штабс-капитана и поручика, окинул помещение взглядом победителя, который только что выдержал славную и кровопролитную битву. Остановившись в дверях, он спросил:

— Где начальник?

Валентин вышел из кабинета, доложил его превосходительству, что он секретарь канцелярии и что ему поручено армейским управлением давать объяснения комиссии по делам военнообязанных. Генерал не дослушал Валентина, глядя куда-то вверх, на потолок, спросил:

— На военной службе состояли? Нет? Осуждаю. Имя, отчество, фамилия? Па-аручик! Запишите. — Он обвел свирепым взглядом стоявших навытяжку сотрудников и сотрудниц. — Что? Все укрываются от призыва? Немедленно на фронт, в окопы! Вы, господин секретарь, их главный укрыватель? Нет? Посмотрим, посмотрим! Па-аручик! За работу.

Валентин предложил Ипатьеву пройти в кабинет. Ипатьев обратил внимание прежде всего на Гольцмана. Гольцман стоял у стола, выпятив нелепо живот, причем пояс у него ушел чуть не под мышки. Он задрал голову, но не мог расправить сутулых плеч, косил ими и горбился. Генерал некоторое время молча с негодованием созерцал его, потом вспылил:

— Этта что такое? Как стоите, милсдарь?!

— Мой помощник, — попытался Валентин отвести генеральский гнев от Гольцмана.

Гольцман издал какой-то крякающий звук.

— Осуждаю! — решительно объявил Ипатьев. — Никакой военной выправки! Убрать! Па-аручик! Запишите.

Что нужно было записать, генерал, по-видимому, и сам не знал. Впрочем, он тут же забыл про свое распоряжение, разделся (вернее, его раздел поручик), сел, широко расставив под столом ноги, отдуваясь и вытирая платком лицо. Гольцман скрылся. Отдышавшись, Ипатьев другим, обычным, стариковски-усталым голосом попросил:

— А нельзя ли, господин секретарь, нам чайку дать? Надеюсь, вы православный, а православным перед работой чай — первое дело.

Пока поручик, генерал, штабс-капитан пили чай, Валентин подал Гортанову срочную телеграмму, что штабная комиссия приступила к проверке военнообязанных и что Валентин ждет его приезда.

После чая Ипатьев снова построжал, и, когда Валентин положил пред ним первый список, он по-рачьи выпучил глаза, с угрозой спросил:

— Па-аручик, синий карандаш есть? Хорошо-с, отлично-с! Сейчас мы узнаем, кто у них здесь укрывается, сейчас узнаем-с. — Он придвинул к себе список, ткнул в него толстым багровым пальцем. — Тэк-с! Абрикосов Иван, начальник технической дружины, тридцати двух лет. Документы на стол. На свежую воду-с!

Документы оказались не в порядке. Было «возбуждено ходатайство», ответа управление не имело. Генерал нахохлился, посмотрел на Валентина торжествующим взглядом: меня, мол, не проведешь. Стуча указательным пальцем, приказал:

— Па-аручик! Ставьте ему синюю птицу.

Поручик поставил против фамилии Абрикосова от-

метку синим карандашом, похожую на квадратный корень. Генерал пояснил Валентину:

— Синяя птица, милсдарь, означает, что голубчик должен немедленно лететь в окопы. Поняли? Следующий по порядку! Документы!

У следующего по порядку документы находились в другом армейском управлении. Валентин попытался объяснить Ипатьеву, каким образом это случилось. Генерал шумно втянул носом воздух, завозился на стуле.

— Пра-ашу меня не учить! Поручик! Ставьте ему синюю птицу, забрить!

Синие птицы все гуще украшали списки. Дело проваливалось. Были уже «забриты» несколько товарищей, указанных Иосифом. Генерал встал из-за стола, шагал по кабинету, засунув глубоко руки в карманы. Щурясь и прицеливаясь, он как бы изнеможенно и даже с сожалением, но не без злорадства бросал: «Синюю птицу, синюю птицу, поручик». Штабс-капитан с обвислыми усами не издал ни одного звука, смотрел безо всякого выражения в окно и потирал подбородок. Поручик блистал пробором и ямочками на щеках. Изредка он услужливо и почтительно позволял себе переспросить генерала. Вместо Гольцмана документы из соседней комнаты подавала сотрудница Липатова, белотелая, пышноволосая блондинка. Утомившись от работы, Ипатьев стал косить глаза на ее высокий бюст и крякать, наконец не утерпел, и, когда она вышла из кабинета, он, снизив голос, чмокая губами, спросил Валентина:

— Ваша помощница? Одобряю. Гм! Гм! Ничего мамочка. Поручик, что вы скажете на это?

Поручик подобострастно ухмыльнулся, привстал, щелкнул шпорами.

— Милашка, положительно милашка, — продолжал генерал совсем уже добродушно. Подмигнув Валентину, игриво спросил: — Господин секретарь, сознавайтесь: того... приволакиваетесь за пушанчиком? Ага, краснеете... Понимаем.

Валентин стоял бледный, расстроенный ходом проверки.

— Хе-хе-хе!.. А не отбить ли нам ее у вас? Да-с. В наказание за укрывательство лодырей и болванов. Ваше мнение, поручик? — Он обернулся к нему всем корпусом. Тот опять привстал, щелкнул шпорами. Генерал приосанился: — Знавали и мы когда-то этих бонбошечек... этих самых, как их... вообще: фестончики, бан-

тики, розеточки, виньеточки, ямочки, подвязочки... э-э... черевички там разные. Куда вам, нынешним, до нашего поколения! Орлы были, рыцари! И драться, и пить, и любить, и служить умели. А отчего, спрошу я вас? А оттого, что устои имели и благородство. Бывало, пройдешь в офицерском собрании на балу мимо дамочки, а она, бедная, от одной твоей поступи так и млеет, так и распускается вся бутоном эдаким. А ты плечом поведешь, ус покрутишь — тут уж ей конец, милочке. Все было, да!

Генерал мечтательно смотрел на обои. Морщины на его лице дрябло шевелились. Пожевав ртом, он вдруг встрепенулся, насупил брови, зычным тоном скомандовал:

— Следующий! Документы!

Давая объяснения, Валентин заметил, что старик его не слушает, и, только когда он умолк, Ипатьев машинально произнес:

— Синюю птицу.

Поручик осторожно сказал, что у военнообязанного бумаги в порядке.

— Зачеркнуть синюю птицу! — сердито распорядился генерал и фыркнул.

Спустя четверть часа он заявил, что на сегодняшний день работу можно считать законченной.

— Господин секретарь, — обратился он к Валентину, собираясь уходить, — есть у вас ящик в столе с замком и ключом? Есть? Отлично. Па-аручик! Списки на вашей ответственности. Завтра прошу быть в канцелярии не позднее одиннадцати часов дня.

Поручик собрал списки, положил их в ящик, Валентин передал ему ключ. Генерал «проследовал» из кабинета, деловито потирая руки, как человек, который плодотворно и много потрудился и теперь имеет право на законный отдых.

Неожиданно все складывалось превосходно. Не нужно было даже заказывать слесарю другого ключа. Списки лежали в правом боковом ящике письменного стола. Следовало только выдвинуть средний ящик, переборки между ящиками не доходили до верха, рука свободно просовывалась в промежуток. Валентин подождал, когда сотрудники разошлись из управления обедать, запер кабинет, достал из ящика бумаги, положил перед собой и список, переданный ему Иосифом. Работа генерала показалась ему нелепой: он совсем не ру-

ководствовался правилами об отсрочках, отправлял в действующую армию районных заведующих, начальников отрядов, инженеров, врачей, оставляя в союзе бухгалтеров, техников, секретарей. Валентин ограничился тут лишь незначительными исправлениями. Сплошь были уничтожены отметки, касающиеся товарищей. Таких отметок он насчитал пять или шесть. В итоге Валентин уменьшил количество «птиц» приблизительно на четверть. Работа продолжалась около получаса. Ему никто не мешал. Сначала Валентин ощущал нервную торопливость, очень спешил, точно боялся быть пойманным с поличным, но потом мало-помалу успокоился. В канцелярии стояла непривычная тишина. Валентин вспомнил о Ванде. Он напрасно удалил ее со службы. Ему захотелось ее видеть, рассказать, как все сложилось, услышать ее голос, но тут перед ним предстало ее презрительное лицо, прозвучали оскорбительные слова. Валентин скривил лицо, будто его обеспокоила сильная боль, крепче сжал синий карандаш. Все проходит, пройдет и это.

Он расставил в копии «синие птицы» по своему усмотрению, уничтожил генеральский список, уложил бумаги обратно в ящик.

Дальше все пошло, как в первый день проверки. Генерал приходил к полудню, бушевал, рычал, командовал, требовал, чтобы поручик ставил «синие птицы», крякал, смотрел на Липатову, уставал, жаловался на головные боли, грубовато фамильярничал, твердил полушутя-полусерьезно, что Валентин — глава всех укрывающихся от призыва и что весь союз надо отправить в первую линию окопов, уходил, показывая красные лампасы. Вечером Валентин занимался очередным подлогом. Гортанов на телеграмму Валентина не ответил. Валентин телеграфировал вновь, ему все же хотелось, чтобы «фактический заместитель» разделил с ним ответственность. Гортанов опять промолчал. Гольцман отсиживался в дальних комнатах канцелярии. Впрочем, генерал о нем вспомнил, обратившись однажды к Валентину с вопросом:

— А скажите, где этот, как его, ваш помощник?

Валентин вежливо напомнил Ипатьеву его распоряжение. Генерал засопел, кратко приказал:

— По-озвать сюда!

Когда Гольцман явился, генерал осмотрел его с ног до головы, строго спросил:

— Имя, отчество, фамилия, лета, образование?

Гольцман ответил. Генерал что-то замычал, покачивая головой.

— Больше вопросов не имею, пусть ходит вольно, не препятствую. — Пятясь, Гольцман исчез. Ипатьев приблизил рыхлый корпус к Валентину, доверительно промолвил:

— Между нами: кажется, из жидов будет?

Валентин подтвердил, что Гольцман действительно еврей.

— Опасаюсь. Не верю. Глядите в оба за ним. Имейте в виду: к военной службе они не способны-с. А, впрочем, дело ваше, ваше дело.

На третий или на четвертый день проверочной работы Ипатьев перед уходом из канцелярии пожелал остаться наедине с Валентином. Штабс-капитан и поручик вышли из кабинета. Генерал усиленно запыхтел, вспотел, подошел вплотную к Валентину.

— Э-э-э!.. Послушайте... прошу вас... как его... об одном одолжении. Э-э-э... Вечером приезжают из Москвы, так сказать, супруга и дочь. Мы-то здесь на фронте ко всему привыкли... да... дамскому же сословию требуются всякие чики-брики, удобства, встречи, квартирки, коврики, одеколоны. Дочь в Смольном, жена... Одним словом, одеколон. Не найдется ли на час автомобиль отвезти моих с вокзала? На извозчике считаю неудобным. Конечно, пустяки, глупость. Если затруднительно, не настаиваю, но просил бы, просил бы.

Генерал говорил как бы небрежным тоном, но вопрос об автомобиле, видимо, его беспокоил. К тому же он поглядывал на дверь, чтобы никто не вошел и не услышал его разговора. Валентину стало неловко и немного жалко старика. Он обещал уладить дело, подошел к телефону. Генерал почти шепотом предупредил его:

— Э-э-э! Без лишнего шума... так сказать, совершенно частным образом, совершенно.

Валентин успокоил старика генерала, позвонил в комитет. Автомобиль обещали выслать по адресу. Ипатьев ушел обмякший и даже пошутил над поручиком.

Спустя несколько дней проверка была закончена. Ведомости, составленные по отметкам Валентина, генерал и члены комиссии подписали с видом торжественным. Генерал не преминул похвалиться:

— У нас, господин секретарь, по-военному: быстро-

та, натиск, прицел. Пусть их, голубков ваших, земгусаров, погоняют с сумочкой, в амуниции. Пусть понюхают немецкого пороху. Не вредно-с.

Прощаясь, Ипатьев выразил Валентину благодарность «за содействие и за внимательное отношение к своим обязанностям».

— Мило, очень мило с вашей стороны. Рад видеть вас у себя в дивизии. Па-аручик! Списки сегодня же в штаб фронта!

Проводив проверочную комиссию, Валентин отправился к Иосифу, рассказал о своей удаче. Иосиф выслушал его с обидным равнодушием и даже рассеянно, будто то, что делал Валентин, являлось делом обычным и легким. О генерале Иосиф отозвался очень кратко:

— Побольше бы нам таких остолопов. Другие посметливей.

— В чем дело? — спросил насторожившись Валентин.

Иосиф долго говорил полунамеками, конспирировал, — наконец, заклиная Валентина, сообщил, что из группы военных работников кое-кто раскрыт жандармами и контрразведкой. Двое арестованы, за другими охотятся сыщики.

— За мной, — прибавил Иосиф, — тоже следят. Вам следует уехать.

— А вам?

— Я уже предпринял меры. Через две недели тоже уезжаю.

— Почему же через две недели, а не через два дня?

Иосиф принял таинственный, хитрый и многоопытный вид. Путаясь в шнуре пенсне, внушительно и поучительно сказал:

— Не знаете, товарищ, основных правил конспирации. Раньше времени нельзя вспугивать охранников. Надо рассуждать психологически. Пусть они немного попривыкнут, внимание ослабеет, тут я и оставлю их с носом. Дело проверенное. У меня свои принципы: стараюсь уехать не раньше двух недель после того, как замечаю за собой наблюдение.

— И что же, помогает?

Иосиф вдруг рассвирепел.

— Что вы ко мне привязались? Я знаю, что делаю. Метод надо всегда проверять на опыте. Нельзя же поддаваться панике.

Валентин тщетно уговаривал Иосифа отложить

«опыт». Иосиф с необычайным упорством защищал свою теорию. Валентин проспорил с ним больше часа, ни в чем не преуспел, ушел рассерженный. С угла ближайшего перекрестка за ним увязался филер. Филер попался, на счастье, не из бывалых. Валентину удалось от него отделаться. Все же он поспешил уехать в управление, которое к тому времени перебралось в Мир. Уже значительно позже, после Октябрьского переворота, он встретился с Иосифом в Харькове и от него узнал, что «психология» и «опыт» испытания не выдержали: Иосиф был арестован вскоре после отъезда Валентина.

VII

В Мире Валентин Гортанова не застал: его перевели с повышением в другое армейское управление. Вместо него хозяйничал главноуполномоченный Петлюра. Ванды в Мире тоже не оказалось. Петлюра предложил Валентину «отдохнуть», очевидно не зная, куда его определить. Валентин согласился и около месяца ничего не делал. За это время он успел присмотреться к Петлюре.

В послеоктябрьскую пору, читая о «пане атамане», о «генерале» Петлюре, Валентин нередко спрашивал себя — как могло случиться, что Петлюра стал вожаком украинских националистов? Среднего роста, бритый, с помятым лицом провинциального актера, обычно унылый, иногда как бы через силу бодрящийся, Петлюра представлялся Валентину человеком вполне заурядным. В девятьсот пятом году Петлюра причислял себя к социал-демократам, от социал-демократов отошел, служил, как передавали, в одном из московских банков, в годы войны укрывался в Земском союзе, успешно продвигаясь по службе неизвестно за какие заслуги. Валентину с Петлюрой всегда делалось скучно. Его суждения были плоски, пожалуй, даже пошловаты. Высказывал он их серым, хрипловатым голосом, оттопыривая губы. Ни отваги, ни мужества в нем не замечалось. Штаб армии ему внушал опасения, а имя командующего Рогозы он произносил с почтением и веско. Он внимательно следил, чтобы делопроизводство находилось в порядке, чтил канцелярское благообразие. Любил выдумывать новые отделы и подотделы, определять и разграничивать их деятельность. Он окружал себя бесцветными, угодливыми и расторопными молоды-

ми людьми, суетливыми бездельниками, подобострастными льстецами, франтами с кортиками и саблями. В союзных учреждениях, в госпиталях, в чайных, в столовых продолжались хищения, господствовала бесхозяйственность — Петлюра знал о них, сокрушался, отдавал распоряжения, но сколько-нибудь действенной борьбы не вел. В мелочах же иногда делался упрямым, несговорчивым. Выслушав своего собеседника, он в противовес доводам кратко отвечал: «А я прошу вас делать, как я говорил вам раньше». Политических разговоров у Валентина с Петлюрой почти не было, но по разным мимолетным его высказываниям он убедился, что никаких устойчивых взглядов на войну, на ее причины Петлюра не имел. В те годы он был чиновник, начальник, уполномоченный. Он любил хитрить, но хитрость у него была мелкая. Однажды Петлюра возвратился из штаба армии поздно вечером, срочно вызвал к себе Валентина. Когда Валентин вошел, Петлюра посмотрел, крепко ли прикрыта дверь, попросил прежде всего держать разговор в тайне, затем сообщил:

— Генерал Рогоза уведомил меня под секретом, что в районе его армии арестован гектограф с готовыми листками, в них содержатся призывы к превращению нашей войны в революцию. Лицо, у которого обнаружены листки, скрылось. Генерал прибавил, что, по сведениям контрразведки, существует целая революционная группа. Правда, он ничего не сказал предосудительного о сотрудниках нашего управления, но во всяком случае предупреждение Рогозы следует принять во внимание. Прошу вас сделать из этого соответствующие выводы.

— Но почему, — спросил Валентин, — вы выбрали меня для этого разговора?

Петлюра потер синюю бритую щеку, опустив глаза, ответил:

— Наш общий знакомый Гортанов в одной из бесед перед своим отъездом отсюда дал мне между прочим понять, кто вы такой. Я знаю вас, знаю ваше прошлое. Само собой разумеется, мне и в голову не приходит мысль, что вы ведете здесь подпольную работу, но, может быть, вы найдете нужным предупредить своих знакомых, что Рогоза очень обеспокоен, да и мне, скажу по правде, все это не нравится: вы сами понимаете, на меня возложена полная ответственность за армейское управление, и... все это совсем некстати.

Валентин поблагодарил Петлюру за доверие, уверив его, что ни он, ни его знакомые в подпольной группе не состоят. Петлюра слушал его с непроницаемым видом, слегка поддакивал, качал головой, но при этом как-то двусмысленно кашлял в горсточку. Отпуская, настоятельно повторил просьбу, долго и крепко жал руку, осведомился, доволен ли Валентин своим положением в управлении.

Валентину удалось потом выяснить, что контрразведка, арестовав гектограф и листки, напала на след Арсения (Фрунзе). Он скрывался в союзе под фамилией Михайлова. Случилось это в начале января семнадцатого года, — а в дни Февральской революции Михайлов-Фрунзе в качестве первого революционного начальника милиции Минска арестовал в числе прочих жандармского полковника. Полковник признался, что у него есть приказ немедленно задержать бывшего каторжанина, бежавшего из ссылки, М. В. Фрунзе, именующего себя Михайловым, причем жандарм посетовал на превратности людской судьбы: «Если бы вы сегодня меня не арестовали, то были бы сами через несколько часов взяты мной». Он показал телеграфное распоряжение об обыске и аресте Михайлова. Все это Валентин узнал спустя несколько лет при встречах с Фрунзе, а пока, предупрежденный Петлюрой, он послал надежной оказией зашифрованное письмо Гольцману в Минске, в нем просил предупредить знакомых о работе и замыслах контрразведки. Он считал также, что Гортанов, раскрыв его Петлюре, поступил по меньшей мере неосмотрительно, если не хуже.

Прошло еще несколько дней. Петлюра снова пригласил к себе Валентина. Чрезвычайно деловым тоном он заявил, что в некоторых учреждениях союза положение прямо угрожающее, например, в Койданове районный заведующий пьянствует, за хозяйством нет никакого глаза. Его нужно как можно скорей сместить, и вот он, Петлюра, предлагает Валентину принять район. Валентин без особых размышлений дал согласие, поняв, что Петлюра хочет от него избавиться.

В Койданове Валентину не посчастливилось. Старый районный заведующий, Знаменский, с золотыми очками, с тихим и смирным лицом, вопреки своей наружности оказался человеком весьма несговорчивым и даже склонным к крупным скандалам. Для начала он объявил Валентину, что назначение его незаконно, он

будет искать управы на Петлюру в комитете Западного фронта и, пока тот не рассмотрит его жалобы, района он не сдаст. Сделав это заявление, Знаменский исчез, несколько дней не показывался в канцелярии, и Валентин не знал, что ему делать. Выяснилось, что районный запил запоем, буйствует и бесчинствует. Ночью он явился в один из госпиталей, вломился к женщинам. «Хочу щупать у вас пульсы, — орал он, — должен выяснить, какие тут у вас больные!» Новоявленного и ретивого эскулапа еле угомонили, причем он все же успел перебить несколько стекол. Очухавшись, Знаменский пришел к Валентину с мутными глазами и трясущимися руками, просил забыть «о печальных недоразумениях», и теперь уже сам настаивал на срочном приеме от него района. При приеме обнаруживались серьезные упущения: не хватило дров, продуктов, фуража, вещей по инвентарным описям — отчетность была запущена. Увидев, что передача района проходит неблагоприятно, Знаменский стал обвинять Валентина, будто он придирается к мелочам, стремится отдать его под суд, извести и т. д. «С горя» он снова запил; слюнявый, небритый явился в канцелярию, великодушно обещал Валентину оставить в полную и нерушимую собственность свой гарем, в котором женщины все на подбор красавицы, но имеют один изъян: поголовно больны сифилисом. Сотрудницы визжали, плакали, одна даже упала в обморок. Валентину пришлось телеграммами сноситься с Петлюрой, дабы по его требованию Знаменский выехал из Койданова.

Место районного заведующего оказалось очень беспокойным. Под присмотром и управлением Валентина находилось двадцать восемь учреждений союза: госпитали, лавки, чайные, столовые, склады. Их нужно было снабжать продуктами, следить за отчетностью. На фронте, в тылу все острей и нагляднеи ощущался недостаток в хлебе, в сене, в масле, в сахаре. Учреждения союза присылали настоятельные требования, исполнять их удавалось лишь отчасти. Управлять людьми Валентин не привык. Он всегда испытывал чувство неловкости, когда приходилось приказывать, и еще больше смущался, если дело доходило до выговоров. Иногда он даже обвинял себя в том, что внешние признаки внимания и почтения уже льстят ему. Все чаще и чаще он стал думать о том, как бы отказаться от заведования районом. Но сделать это было нелегко. Повседневная

работа затягивала, Валентин продолжал служить.

...В один из приемных часов в кабинет Валентина вошла женщина в овчинном полушубке, подпоясанная солдатским ремнем. На голове ее была папаха; шею, часть лица скрывал солдатский башлык. Валентин разговаривал с одним из своих сотрудников. Мельком он взглянул на вошедшую женщину. Им овладело смутное беспокойство. Посетительница развязала заиндевелый от мороза башлык, сняла папаху, Валентин увидел перед собой Ванду. Ему стало страшно. Он потерял нить разговора и от растерянности заерзал на стуле. Сотрудник ушел. У Ванды дрожал мускул около левого глаза. Не ответив на приветствие, она молча подала удостоверение. В нем значилось, что она служила в госпитале Койдановского района и по своему желанию отчисляется в распоряжение управления. Валентин читал удостоверение, плохо понимая его простой смысл, потом суетливо предложил Ванде присесть. Ванда как бы не расслышала приглашения, сухо промолвила:

— Я не предполагала, что вы здесь районный заведующий. Если бы я это знала, то не просила бы направить меня сюда.

— Вы очень похудели, — неожиданно для себя сказал Валентин.

— Если можно, прошу вас направить меня в Мир.

— Армейское управление недавно известило, чтобы районы не пополняли резервов, от которых оно не знает, как освободиться.

Молчание.

— Тогда поступайте со мной по своему усмотрению.

— Почему вы оставили госпиталь?

— В удостоверении написано: по своему желанию.

— В самом деле, — пробормотал Валентин. — Зайдите за ответом дня через два.

Он долго смотрел на удостоверение, оставленное Вандой. Оно сиротливо лежало на краю письменного стола, покрытого зеленым сукном. Один из углов у бумаги загнулся и надорвался. Валентин вспомнил, что ему нужно побывать в офицерской столовой. Дорогой решил оставить Ванду при управлении. На подозрениях о причастности к контрразведке он на этот раз остановился лишь мельком и с безразличием. Его томила неизвестность, предчувствие каких-то событий. Он готов был им отдаться.

Он поручил Ванде проверку чайных и питательных

пунктов. Она приняла предложение сумрачно. Она приходила в управление недосягаемая, щелкала на счетах, составляла краткие заключения, объяснялась с составителями отчетов. Она избегала видеться с Валентином, предпочитая за справками и разъяснениями обращаться к бухгалтеру, к секретарю, к сотрудникам. Он прислушивался к шелесту ее бумаг, к звуку костяшек на ее счетах, ловил ее голос, шуршанье ее платья. Однажды Валентин замешкался около нее. Ванда сидела к нему спиной, склонившись над столом и зябко поводя плечами. Она не носила уже белой косынки, и он видел мягкие, розовеющие мочки ушей, заложенные вокруг головы темные косы, подвижные лопатки, проступающие сквозь платье. Ванда неожиданно обернулась, поймала его взгляд. Валентин громко и неестественно закашлялся. Ванда глядела на него непримиримо, презрительно. Валентин поспешил выйти из комнаты, — в ближайшие два-три дня к ней не заходил.

В двенадцати верстах от Койданова в фольварке жила ее мать. Ванда попросила верховую лошадь и в тот же день уехала. Из окна Валентин наблюдал, как она выбрала Стрелку, одну из самых горячих лошадей, серую в яблоках, как, погладив ее по лоснившейся гладкой спине, уверенно, без помощи конюха вскочила на лошадь, натянула поводья и, играя плеткой, пустила лошадь крупной, размашистой рысью. Поднималась метелица, стлалась мелкая, едкая поземка. Валентин с опасением подумал, что Ванда может простудиться либо сбиться с дороги, но тут же вспомнил ее твердую посадку и успокоился. «У нее сильная и маленькая рука», — подумал он, рассеянно отзываясь на оклик секретаря. Ванда возвратилась лишь утром на другой день, разгоряченная ездой. От нее пахло снегом, вольным полевым ветром. Она часто стала брать Стрелку и если не отправлялась к матери, то совершала прогулки по окрестностям.

Иногда она являлась в управление с мятым и поблекшим лицом. В такие дни увеличивался слой пудры, кармин ярче окрашивал губы. Случайно Валентин подслушал один разговор. Старший бухгалтер, человек очень громоздкий, с оглушительным гудящим голосом, в сапогах почти до паха и с широченными раструбами, в смежной с кабинетом Валентина комнате бубнил своему помощнику.

— А Ванда Яновна опять сегодня рано ушла с ра-

боты. Что ни неделя, то новый любовник. Недавно гуляла с летчиком, теперь принимает молокососа из саперной роты. Коньяк уважает и тоже кокаин нюхает. А нашим братом, земгусарами, пренебрегает. Прямо, доложу вам, даже обидно. Чем мы хуже их? Придет в канцелярию, принцессой-недотрогой прикидывается, а какая там недотрога...

Счетовод ответил в тон бухгалтеру:

— У нас погоны не те.

— Не в погонах дело. Полюби нас черненькими, а беленькими нас всегда полюбят, — неизвестно к чему прибавил бухгалтер. — А женщина она, ей-ей, что надо. Плечи, бедра и потом повадка: с норовом, ноздрями пошевеливает. Одно слово — душераздирательная женщина.

Валентин позвал резко бухгалтера:

— Павел Петрович! Мне нужна справка о подотчетных суммах врача Зарницкого.

— Сейчас, сейчас, — ответил бухгалтер и застучал сапожищами.

«Так вот она какая, — ошеломленно и горько думал Валентин. — А мне-то казалось...» Но что собственно казалось, Валентин не знал. Он должен был бы помнить, как часто Ванда в Минске появлялась в обществе хлыщеватых офицеров. Все это он, однако, как бы забыл. Тогда с ожесточением и злорадством он стал убеждать себя, что Ванда распутная женщина, каких много на фронте. Ее голос звучал теперь для него фальшиво. Ее уста он видел нечистыми. В движениях ее, в жестах он находил похотливость. Снова всплыли мысли о контрразведке. Он внимательно прислушивался к разговорам о ней и сплетням сотрудников, даже осторожно выспрашивал их. В ее квартире собирались офицеры, врачи, инженеры, сестры милосердия. Они кутили, расходились на рассвете. Ванду провожал часто высокий голубоглазый поручик. Потом он куда-то скрылся. Ванда несколько дней была не в духе, сумрачные тени лежали на ее лице, она вздрагивала, когда громко хлопали дверью; сидя за рабочим столом, крепко сжимала виски, будто старалась унять головную боль.

В управление на смену прежнего секретаря приехал Александров. С Александровым Валентин встречался еще в бытность свою в Москве в землячествах и на вечеринках. По фамилии его обыкновенно не помнили, а звали Сереженькой. Сереженька переходил ежегодно из

одного учебного заведения в другое, из факультета в факультет, числился вечным студентом. Человек он был способный, но безалаберный. В армейском управлении Сереженька прославился любовными похождениями. Он обладал потрясающей черной эспаньолкой, добродушием, знал сотни анекдотов, чем и покорял сотрудниц союза. Сереженька кочевал по учреждениям, никогда долго не задерживаясь. Появившись где-нибудь в дружине, в госпитале, он на второй, на третий день уже звал сотрудниц уменьшительными именами: Наташами, Марусечками, Тонями. Наташи, Марусечки и Тони в него влюблялись, ревновали. Сереженька лавировал меж ними, воздавая каждой должное по заслугам, шептался в любых углах и закоулках, в чем-то убеждал, божился. Наташи, Марусечки плакали, трагически объяснялись. Сереженька конспирировал, улаживал ссоры, разрешал недоразумения, сеял и плодил новые сомнения и огорчения и в конце концов неожиданно исчезал. На новом месте повторялось то же самое. Сереженька метался, скрытничал, не отвечал на письма и срочные телеграммы, впадал в очумелость, признавался приятелям, что окончательно запутался, хватал себя за голову и тут же соблазнял новых Сонечек и Лидочек. К Валентину он попал после очередных любовных неурядиц, прослышав, что ему нужен новый секретарь.

В Койданове, не успевши осмотреться, он пустил в ход все свои наличные таланты, имея в виду Ванду. Валентин следил за ним и за Вандой с напряженным вниманием. Он боялся признаться, что у него было двойственное чувство и к Ванде и к добродушному и легковерному Сереженьке. Он хотел, чтобы Ванда поддалась чарам Сереженьки, и он не хотел и страдал от одной мысли, что Сереженька преуспеет. Может быть, он желал унижения Ванды, подтверждения своей горькой и отрицательной оценки ее поведения. Сереженька не преуспел. Ванда отнеслась к нему равнодушно. Сереженька долго не унывал и скоро утешился с миловидной фельдшерицей. Валентин чувствовал удовлетворение, но с каким-то надрывом.

По-прежнему, как и в Минске, Ванда держала себя высокомерно с сотрудниками. Пожалуй, в Койданове ее отношения к ним даже ухудшились. Она проверяла отчетные ведомости и часто возвращала их составителям. Заведующие госпиталями, столовыми, чайными приходили объясняться. Она принимала их холодно, была не-

уступчива. Валентину то и дело приходилось улаживать недоразумения.

Однажды Ванда зашла в кабинет и молча села, откинувшись к спинке стула и бесцельно перебирая правой рукой бумаги на столе. С ее острых ресниц стекал холод. Смелый развод бровей, законченные линии носа, подбородка, сомкнутые губы, уверенные контуры ее фигуры, резкий изгиб кисти угнетали Валентина своей физической близостью и недоступностью.

Ванда сказала:

— Отчислите меня в Мир.

— Хорошо, — ответил Валентин. — Сделаю при первой возможности.

Ванда вышла с опущенными глазами. Валентин поспешно оделся, его ждали сани.

День был морозный. Где-то за станцией происходила учебная стрельба из пулемета, он несдержанно, бездушно стучал. Полозья саней холодно поскрипывали по накатанным, глянцевитым колеям дороги. Они резали глаза. Старик еврей с седыми и жалкими пейсами, скрючившись в рваном пальто до пят, тащил два березовых полена, держа их под мышками. Прошел в баню с узелками взвод солдат. Отрывисто прогудел паровоз. Просторные, убогие улицы уходили в снега. И все это вдруг показалось Валентину разобщенным, скучным, неведомо зачем существующим, будто окружающее распалось на отдельные куски, потеряло свой смысл. «Да, все это непонятно и неизвестно, для чего я здесь в Койданове, еду по чужим делам, буду сейчас справляться, сколько расходуется овощей, мяса; заведующий будет оправдываться, лгать... Суета, суета».

Валентин посмотрел на часы, вяло поторопил санитара.

Он стал избегать встреч с Вандой.

VIII

Вечер Валентин провел в обычных хлопотах. Он возвратился домой поздно, часов в десять. На площади у комендантского управления под тусклыми фонарями чернела группа городовых. Дальше улицы были безжизненны. Редкие огни в усталых, подслеповатых окнах расплывались туманно-белесоватыми пятнами. Деревянные домишки походили на горбатых присевших отдохнуть старушек в темных платках. Валентин, едва пришел,

лег, не раздеваясь, в кровать, накрылся от холода одеялом и шинелью. Лежа, он вспомнил, что уже два дня не было газет и что, уходя из канцелярии, он забыл спросить почту. Он скоро заснул.

Разбудил его продолжительный звонок. Ощущая ломоту в костях, Валентин подошел к телефону. В управлении был заведен порядок оставлять на ночь дежурного. Дежурили по очереди все сотрудники. Говорила Ванда:

— Вы еще не спите? Получены очень странные известия. Если хотите, я доставлю их на дом.

Валентина клонило ко сну. Ему не хотелось ждать, пока придет вестовой.

— Скажите по телефону.

Ванда стала передавать содержание внеочередных выпусков «Русских ведомостей». В них сообщалось, что в столице произошла революция, Николай отрекся от престола в пользу Михаила, Михаил тоже отрекся; Государственная дума организует власть. Ванда читала спокойным ровным голосом, с паузами, сохраняя знаки препинания. Лишь иногда она начинала торопиться, но снова быстро овладевала собой. Слушая, Валентин изредка просил ее повторить отдельные фразы. Сколько раз после пытался он восстановить пережитое, когда стоял у телефона. Усилия были напрасны. Он сжимал трубку, вдавливая раковину в ухо; оно ныло. Он боялся, как бы станция не оборвала разговора, ловил слова и тут же забывал их, — мысленно торопил Ванду, и ему казалось, что она читает слишком медленно. Он целиком уходил во внешние восприятия. Была трубка, голос Ванды, было обыкновенное и сокрушительное.

Ванда закончила передачу известий. Валентин ничего не нашел сказать ей. Положив трубку, подошел к изразцовой печи, запрокинул голову, вытянулся, закрыл глаза. Удары сердца отдавались во всем теле, виски горели. Чтобы превозмочь нервное состояние, он сжимал кулаки, наступил с силой одной ногой на другую.

«Не ложь ли все это... Нет, это — не ложь: есть манифесты об отречениях». — Несколько мгновений он стоял неподвижно в оцепенении. Он открыл глаза. Лампа с зеленым абажуром источала больной свет. В доме стояла грузная тишина. Смятая подушка нелепо завалилась в угол кровати. Коричневый старый комод тупо

щерился двумя немного выдвинутыми нижними ящиками. За окнами лежала непробудная ночь.

Все это Валентин увидел как бы впервые. Окружающее ненужно, назойливо лезло в глаза. Ни мыслей, ни представлений, мало-мальски упорядоченных, еще не было. Валентин принадлежал к разряду людей с повышенной впечатлительностью. У таких людей она в первые моменты тормозит работу сознания. Наплыв чувств, глухое волнение целиком охватывает человека, и обыкновенно проходит много времени, пока мысли определятся.

— Да, это — революция, — промолвил Валентин наконец вслух.

Целые картины, сразу порвав препятствия, в беспорядке, путаясь, толкаясь, предстали перед ним: пулеметная, ружейная стрельба, трамвайные вагоны, слитые воедино толпы, взвихренные красные знамена, захват дворцов, правительственных зданий, громыхание повозок с зарядными ящиками, тяжелый слепой ход броневиков, багровые отсветы пожаров и опять поднятые руки, распахнутые шинели, крики, пенье, рабочие боевые дружины на окраинах... В тюрьмах сбивают цепи, замки, выводят узников. Среди них — обреченные смерти. Сотни людей считали эту ночь последней, они уже ощутили веревку на горле... И Валентин даже пожалел, что он не в тюрьме и что он не пережил этих никогда не забываемых редчайших минут неожиданного освобождения человека народом, первых радостных рукопожатий, опьянения от победы, от воздуха и людей... «Что же теперь будет? Зачем я пойду завтра на службу, буду отдавать распоряжения? Война, шинель, канцелярия, квартира — все это не нужно, теперь все пойдет по-другому... Революция... Сейчас производят аресты министров, генералов, жандармов». — Валентину представились жалкие фигуры лысых, оплывших жиром, с одышкой людей, окруженных конвоем. Солдаты угрюмы, молчаливы. На арестованных кровь веков, кровь поколений. Пусть их судит весь народ. Их заставят раскрыть все тайное, все заговоры против народа. Дни кары, дни мщения и возмездия...

«Счастлив ли я? Не знаю. Я должен быть счастлив, я наверно счастлив. Не знаю... Да и что такое счастье? Революция... Мы, живые, увидели ее, а сколько погибло, замучено, истреблено? Они, лучшие, никогда не узнают о победе. Ею будут гордиться случайные современники

и, может быть, неблагодарные потомки. История не заботится о справедливости. Непонятное состояние... Десять последних лет моей жизни прошли в скитаниях, в тюрьмах, в ссылках, в потайной работе, в ожиданиях обысков, арестов, в утратах друзей. Меня выслеживали филеры, предатели. Ничего этого больше нет. Не нужно оглядываться на углах, пересаживаться с трамвая на трамвай, с извозчика на извозчика, запоминать проходные дворы, шифровать адреса». В памяти Валентина встал сводный образ боевого товарища, подвижного, изворотливого друга, неугомонно шныряющего по рабочим предместьям: веселого в беде, рассудительного в неудачах, крепкого в надежде, самоуверенного и смелого. Стало даже грустно. «Что будет со всеми нами? Сумеем ли мы оказаться в главном потоке, направить его, или потонем в новой исторической гуще событий? А впрочем, к чему сомневаться? Кто сказал, что мечтания никогда полностью не исполняются в жизни? Так думают маловеры, мещане. Приходят сроки, и идеальное материализуется даже сверх меры, сверх всяких ожиданий. Нет, все это не то, надо понять, почувствовать, что произошла, совершилась — ре-во-лю-ция...»

...Эти мысли, образы перемешивались с другими, совсем неуместными. Вспомнилось, как в детстве любил он изображать хищных зверей. В растрепанной «Ниве» часто рассматривал он картинку: в клетке лежал хмурый гривастый лев; под картиной была подпись: «В неволе, но царь». Валентину, худому, курчавому, светловолосому мальчику, очень хотелось быть львом в неволе. Валентин рычал на сестру, жалел, что у него нет хвоста, одним ударом которого зверь убивает двухгодовалого теленка. Возникали и проваливались в сознании северные, очарованные былыми снами леса, длинные мрачные коридоры семинарии, летние ночи на Цне, чердаки Замоскворечья, проспекты и линии Петрограда.

«Что же теперь делают мои товарищи? В газетах сообщают, что они организуют Советы рабочих депутатов, как в девятьсот пятом году. Тогда тоже были дни побед. Потом нас разбили... Почему так тихо кругом? Здесь еще никто не знает, что произошло. А вдруг на столицу будут двинуты полки, казаки, ингуши, гусары, гвардейцы?.. Вильгельм прорвет фронт, расстреляет из «берт» восставший народ... И эта Дума... ей нельзя ве-

рить. Что же я стою здесь, чего я жду? Нужно немедленно что-то делать...»

Валентин торопливо позвонил в управление, попросил Ванду приехать к себе, но тут же, сообразив, что конюхов нелегко добудиться, сказал, что он, впрочем, сам скоро будет в управлении. Он не знал еще, что следует предпринять, но находиться в бездействии у себя на квартире больше не мог. Он вышел на улицу. Местечко безлюдствовало. В небе меж облаками реяли ледяные звезды. Мрак был тревожным. Ничтожным показалось Валентину все, что он пережил за последние месяцы: влечение его к Ванде, его тоска, мечтания, огорчения, встречи. Все это поблекло. Мороз и ветер освежили голову. Мысли упорядочились. Он решил: надо прежде всего известить солдат и население о революции. Несомненно, и военные и гражданские власти будут скрывать, что случилось. И как только он решил, он успокоился и почувствовал бодрую уверенность.

В управлении немощно и угрюмо светила одинокая лампа. Ванда встретила Валентина пытливым взглядом. Он этого, однако, не заметил, попросил показать газеты и, хотя уже знал их содержание, просмотрел их, торопясь и опуская строки. Он снова забыл о себе, и о Ванде, и о том, где находится, — ничего не видел, кроме газетных листов, где каждое слово гремело выстрелом. Он сказал Ванде:

— Задержите газеты, присланные сотрудникам. Завтра их надо расклеить на видных местах: в чайных, в столовых, в госпиталях.

Валентин даже не подумал, как Ванда приняла известие о революции. Он не сомневался, что и она и всякий другой, к кому он найдет нужным обратиться, должны безоговорочно исполнять его распоряжения. Через него уже говорила властно новая сила. Он продолжал:

— Нужно пойти на склад за красной материей, сегодня же ночью сделать несколько флагов, с утра развесить их в наших учреждениях.

Ванда слушала его, прислонившись к краю стола. Свет от лампы падал ниже ее лица. Затемненное, оно казалось строгим, сошедшим с иконы. Глаза ее блестели. Она ничего не ответила. Валентин более внимательно взглянул на нее, подошел ближе, взялся за спинку стула.

— Панна Ванда, я вас когда-то обидел. Это нужно забыть, теперь не до мелочей и дрязг.

Он сам удивился, что его обращение к ней прозвучало так легко и откровенно.

Ванда надавила пальцами веки, провела рукой по лицу, подняла голову, пристально взглянула на Валентина. Лицо ее сделалось простым, девичьим. С него сошло утомление от дневной работы и ночного дежурства. Она улыбнулась углами рта.

— Это в самом деле глупости. Я нисколько... — она не договорила.

Пауза получилась длительной. Валентин смутился от наступившего молчания и еще от чего-то, подошел к печке, приложил к ней ладонь, пробормотал:

— Ужасно горячая печка.

Ванда, скрывая шутку, с нарочито серьезным видом, в то время как глаза ее смеялись, переспросила:

— Очень горячая?

Валентин, не глядя на нее, деловито и почти сердито подтвердил:

— Да, удивительно горячая.

Ванда подождала, не скажет ли Валентин еще что-нибудь; не дождавшись, заметила:

— Погрейтесь около печки, а я схожу к заведующему за материей.

Оставшись один, Валентин подумал, что Ванду следовало бы проводить, а он этого не сделал, но тут же мысли его сосредоточились на завтрашнем дне.

Минут через двадцать Ванда пришла с куском красного полотнища, с иголками и нитками. Заведующий складом Кириллов нес связку длинных шестов. Кириллов был малого роста и большой полноты. В управлении его дразнили кубышкой. Он растерянно моргал заплывшими сонными глазами, по-видимому, не понимал и боялся случившегося. С недоверием, потирая лысину, он просмотрел газеты, мычал, расспрашивал нудно, что теперь будет, — сославшись на головную боль и усталость, удалился с прыткостью, обычно ему не свойственной.

Ванда раскинула по сдвинутым столам материю. Красный цвет вызывающе и беспокойно растекался по комнате. «Да, произошла революция, — опять с новой ясностью подумал Валентин, когда он глядел на волнующийся под руками Ванды кумач. — Произошло победоносное восстание с неисчислимыми последствиями, и все, что я испытываю теперь, — мелко, ничтожно. Я бессилен пока охватить события. Мой мозг, чувства

слишком узки, вялы для происходящего. Они привыкли к вещам и явлениям более мелким».

Ванда хлопотала около полотнищ. На лицо ее легла обыкновенная домашняя забота женщины за шитьем и рукоделием. Она приглядывалась, как лучше, ровнее разрезать на куски материю, кроила, примеряла, шуршала кумачом, потом достала из ридикюля наперсток, уселась удобней в кресло, заложив ногу на ногу. Валентин придвинул ей лампу. В подвижных пальцах ее замелькала иголка. Она подрубала края. Ее руки казались наделенными своей, обособленной от тела жизнью. Они двигались, как самостоятельные гибкие существа. Валентин следил за ее работой, но что бы он ни вспоминал, о чем бы ни размышлял, он неизменно возвращался к одному и тому же: в стране революция, победа. Мысль о революции росла, заполняла его всего, даже утомляла.

Отложив работу в сторону, Ванда устало положила руку на стол; глядя перед собой и разговаривая больше сама с собой, сказала:

— У меня такое ощущение, что все это я делаю в последний раз. Где-то, пока вдали, разбудили необузданную стихию. Она еще не коснулась нас, но завтра, через месяц она забушует кругом... Жила я эти годы плохо, худо жила, но сегодня мне чего-то жаль. Это очень страшно — революция?

Валентин поднялся со стула, зашагал по комнате. Ванда склонилась над шитьем. Он подошел к ней:

— Революции всегда страшны и прекрасны. Я знаю это больше других.

Ванда, разглаживая шов, спросила:

— Откуда и почему?

Стараясь быть проще и обыденней, Валентин ответил:

— Я сам — революционер по профессии, сидел в тюрьмах, дважды отбывал ссылку. Здесь я живу под чужой фамилией.

Ванда быстрым движением откинула материю, — огромными потемневшими глазами остановилась на Валентине. У правого уголка рта ее образовалась ямочка, она дрожала. Брови поднялись, темный румянец покрыл ее щеки. От волнения почти шепотом она спросила:

— Вы здесь под чужой фамилией? Вы — революционер?

— Что же в этом удивительного? Я боролся за революцию все мои зрелые годы.

Казалось, на лице Ванды не было ничего, кроме неподвижно-влажных, напряженных глаз, снимавших с Валентина внешнюю, ненужную оболочку и обнажавших в нем другого человека. Волны кумача, скатившись на пол, открывали одну ногу с крутым подъемом, в туго натянутом чулке серого цвета. Чулок был в одном месте заштопан. Валентин задержался взглядом на штопке. Ванда переняла его взгляд и машинальным движением прикрыла штопку кумачом. Она оставалась серьезной, строгой, изучающей его. Валентин испытывал облегчение: была еще приятная, даже блаженная затуманенность. За окнами проскрипели полозья запоздавшей подводы.

— Что же в этом удивительного? — повторил наконец Валентин.

По лицу Ванды прошла мелкая, еле заметная судорога. Она сделала сильный глоток воздуха.

— Я думала о вас совсем иначе. Как все это непонятно!..

Ванда точно приблизилась к Валентину, хотя она не сделала к нему ни одного движения.

— Вот почему... — Испугавшись того, что хотела сказать и что у нее невольно вырвалось, она замолкла.

Валентин смутно понял: прежнего разговора продолжать нельзя, достал папиросу, долго не мог найти спичек в кармане, поспешил перейти к тому, что делать завтра, без нужды повторив свои распоряжения. Работа у Ванды не спорилась. Валентин подошел к окну. Окно было запушено снегом. Ночь была безответна.

— Идите домой, — предложила Ванда. — Я справлюсь одна. Завтра у нас много дел.

— Да, завтра много работы, — подтвердил Валентин, не решаясь повторить это — «у нас», но пряча слово в себя; так чудодейственный талисман хоронит человек, который верит в его силу и впервые его получил. Он неловко подал Ванде руку и заторопился.

...Утром учреждения союза подняли красные флаги. На видных местах запестрели газеты. В морозном жемчужном воздухе полотнища зацвели мятежно, призывно и необычайно. Они были одиноки в глухом местечке, но рдели уверенно, от них повеселели улицы, здания, и небо стало необъятно. В управлении встревоженные сотрудники не принимались за работу. Больше всех

храбрился Сереженька. Он уверял, что для него революция — спасение: теперь сами собой разрешатся его любовные драмы и осложнения; похождения и обольщения можно начать снова. По правде говоря, он был, однако, излишне развязен, суетлив и болтлив, а в глазах мелькали неуверенность и беспокойство. Старший бухгалтер, громыхая сапожищами и голосом, глубокомысленно изрекал заведомую невнятицу:

— Да, знаете, доложу я вам, история с консисторией. Тут черт знает что может случиться. И вообще, с какой стороны посмотреть и так далее.

Кубышка таращил глаза и шепотком оправдывался: его дело — сторона; районный приказал отпустить со склада материи, а для чего, это его не касается. От Ванды Валентин узнал, что из управленческих служащих никто не согласился помочь ей поднять флаги и ей пришлось обращаться к санитарам. Из них особую старательность обнаружил конюх Галкин, худой, узкогрудый. Он нашел «земляков», и они споро и с шутками прибивали материю к шестам и лазили по крышам.

Валентин вышел из канцелярии в палисадник. Мимо управления с оторопелым видом шмыгали местечковые обыватели. Иные подходили к дверям, где висели газеты, торопливо читали — втягивая головы, озираясь, скорее уходили. Другие испуганно глазели на флаги, не решаясь даже остановиться. Трое городовых, в новых шинелях, задрали с недоумением головы на кумач, о чем-то пошептались, — придерживая шашки, заспешили к полицейскому управлению. Мало-помалу около дверей собрались солдаты. Читали газеты по складам, потом нашелся грамотей. Солдаты слушали его молча, топтались на месте, крякали, смотрели друг на друга вопросительно и с недоверием, медленно отходили, поправляя шапки, сморкались на снег, вертели красными пальцами цигарки. Толпа уплотнялась. Сзади напирали на стоявших впереди, те отругивались. Теплый парок от дыхания, от сгрудившихся тел поднимался над солдатами, смешиваясь с ядреным дымом махорки. Толпа колыхалась из стороны в сторону, и Валентину уже казалось, что у нее одно лицо, серое, разгоряченное, ждущее, с одной затаенной думой. Тщедушный солдатик с торчащими ушами и непомерно длинными рукавами шинели, из которых даже и пальцы не виднелись, вскочил на перила крыльца, балансируя, чтобы сохранить равновесие, громко и весело гаркнул:

— Теперь, выходит, мы без покрышки, а?

Толпа подалась к нему. Она хотела, чтобы он продолжал говорить. Но солдатик не находил больше слов, стоял растерянный, усиленно моргая. Люди сбивались вокруг него все теснее, десятки глаз требовательно его щупали, спрашивали, и, чувствуя, что он не может спрыгнуть с перил, ничего не сказав, и что нужно разрядить сгустившееся напряжение, — солдатик, не зная, как ему держаться дальше, вспотел, напружинился, стал озираться и, наконец, неестественно, с раздражением и с отчаянием крикнул:

— Что вы, ядрена палка, баранами стоите!

Он хотел еще что-то сказать, но поскользнулся, взмахнул широко и нелепо длиннейшими рукавами. Его подхватили. В толпе раздались шутки, остроты. Сдержанность и опасливость рассеялись. Говор сделался оживленным.

— Довоевались, дотопались...

— В окопы, на позиции, первое дело, надо дать знать...

— Может, все враки. Почему у нас до сей поры ничего не вычитывают?

— Поди, царишку-то уже прикончили. Вот тебе и самодержец всероссийский.

— Кто же управлять-то нами теперь будет?

— Сумнительно, а хочется верить...

Степенный солдат, лет тридцати пяти, широкоплечий, щетинистый, вышел из толпы, снял грязную и рваную папаху, показывая лысину, истово перекрестился, проникновенно и решительно молвил, ни к кому не обращаясь:

— Слава тебе, господи. Дожили. Спервоначала царя, а опосля и всех бар перережем.

Угрястый санитар с мокнущим длинным носом выспрашивал, будут ли объявлять манифест по церквам. Над ним подсмеивались. В кучке солдат, немного в стороне, статный балагур и, видимо, запевала, поводя плечами, говорил:

— Эх, ежели бы гармошку! Отплясал бы я, как на свадьбе у родной сестры.

— Что ты мне хлястик-то сорвал своим брюхом!

— А на кой ляд он сдался тебе? Ты сорви мне шинель всю: спасибо скажу.

Подходили новые группы. Разговоры, выкрики, расспросы, шутки, покашливания сливались в крепнущий,

беспокойный и тревожный гул. Люди нестройно, бестолково грудились, инстинктивно стараясь держаться вместе. И точно так же, как и у Валентина накануне, чувства и высказывания солдат не соответствовали тому огромному, что называлось революцией, были мельче и незначительней. Многие из толпы время от времени поднимали кверху головы, смотрели поверх крыльца, где на уличном шесте ветер трепал символ борьбы и вольностей. Красный стяг упруго вился над толпой, уводя в высь, к туманно-белому небу, в русские половецкие просторы, к зеленым кромкам лесов. Лица солдат светлели, выражали наивное и детское любопытство и удивление; у некоторых стыли улыбки, у других было молитвенное выражение.

Валентин вышел из палисадника. Он хотел сказать краткую речь и уже пробрался к крыльцу, но в это время подъехали сани с широким расписным задом. Из саней вылезли два рослых солдата с винтовками. Толпа притихла, пропустила солдат в помещение. Валентин пошел следом за ними. Солдаты спросили районного. Валентин назвал себя. Один из них, белобрысый, объявил:

— Их благородие господин комендант требуют вас к себе.

Валентин ответил, что будет у коменданта через полчаса. Солдаты не уходили, переминаясь и переглядываясь. Белобрысый сказал:

— Приказали вас представить.

— Что же, вы арестуете меня?

— Не могим знать, — а только нам сказано представить вас.

Валентин пожал плечами, пошел к саням. Солдаты стукнули за ним прикладами. В санях они разместились по обеим сторонам, держа винтовки меж коленами. Толпа молча наблюдала отъезд.

Поджарый жилистый комендант, средних лет, с желтыми прокуренными усами, с остро торчащими плечами, принял Валентина, не ответив на приветствие, хотя по служебным делам они встречались довольно часто. Сидя за письменным столом в застегнутой на все пуговицы шинели, он неприязненно спросил:

— Кто распорядился вывесить в союзе красные флаги?

— Я распорядился.

— Вы имеете предписание от вашего начальства?

— Какой разговор может быть о разрешениях на революцию...

Комендант сухо перебил Валентина:

— Здесь, господин районный, прифронтовая полоса и действуют особые правила. В Койданове никто не имеет права вывешивать красные флаги без моего ведома, а я без ведома высшего командования. Ваши действия противозаконны и вносят угрожающий беспорядок. Флаги, между прочим, подняты в чайных и столовых на станции. Вы уже задержали несколько воинских эшелонов к Замирью, а также поезда с фуражом, продовольствием и боевыми припасами. Машинисты останавливают паровозы, не доводя их до станции. Образовалась пробка. Я вынужден подвергнуть вас аресту и немедленно предать военному суду, но прежде всего распорядитесь убрать флаги.

— Вы это серьезно говорите?

— Вполне серьезно.

Комендант забарабанил пальцами по столу. Пальцы у него были костлявые, со сморщенной, почти старческой кожей, что совсем не соответствовало его возрасту.

«Кто знает, — пронеслось тревожно в голове Валентина, — в припадке усердия и глупости он может, действительно, запереть меня и отдать под суд какому-нибудь тупому полковнику. О перевороте на фронте еще ничего не известно. Пройдут дни, недели, пока все определится. Может статься, штаб фронта и штабы армий сделают попытки расстрелять революцию. Нелепо. Но кто поручится, что это нелепое не случится? И неужели я не увижу, что будет дальше?»

Стараясь сохранить спокойствие, Валентин жестко сказал:

— Никаких распоряжений о снятии флагов я не сделаю. Аресту не подчиняюсь. Вы, очевидно, принимаете меня за простака или смеетесь надо мною. Имейте в виду, за мой арест вам придется отвечать.

Валентин с удовольствием прислушался к своему голосу. Решительность собственного тона несколько успокоила его.

Комендант встал, расправил усы, холодно и твердо проговорил:

— Прошу вас подождать здесь.

Он вышел из кабинета, оставив двери полуоткрытыми. У дверей стал конвойный. К комендантской верхом

на Стрелке подскакала Ванда, осадила лошадь. Стрелка горячилась. На коне, но без седла, из-за угла показался санитар Галкин. К нему подбежал солдат в кургузой шинели, без пояса. Ванда, Галкин и солдат стали совещаться. Солдат отделился от группы, побежал к районному управлению, где серела толпа. Ванда и Галкин пристально смотрели в окна комендантской. На Ванде был тот же овчинный полушубок, в котором она явилась к Валентину в Койданово. Полушубок, застегнутый только в талии, распахивался на груди, оттеняя черным мехом открытую шею. В руке без перчатки Ванда держала хлыст. Валентин ощутил прилив новой бодрости, забарабанил в окно, но, догадавшись, что его не могут услышать, перестал стучать. Ванда продолжала смотреть в окно, сдерживая лошадь. От толпы у районного управления направились к комендантской сначала одиночки, за одиночками двинулись группы. Солдаты окружили Ванду и Галкина. Ванда, показывая хлыстом на комендантскую, что-то говорила солдатам. Валентин видел, как шевелились ее губы, как играли мускулы ее лица, алого от мороза и нервного подъема, как качалось в седле, перегибаясь из стороны в сторону, надламываясь и выпрямляясь, ее тело, как упирались в стремена ее ноги в светло-серых шерстяных сапожках и приоткрывалось иногда из-под полушубка тугое полукружие согнутого правого колена. Нет, она совсем не походила на шляхтянку на балах в старинных замках. Ванда была теперь своевольным и верным другом, женщиной, поднимающей людей на боевое дело. И Валентин удивлялся этому ее преображению, ее новому облику, и еще он удивлялся, не отдавая сам себе отчета, неизведанному разнообразию, что таится в каждом человеке.

В кабинет снова вошел комендант, стал в окно разглядывать собравшихся.

Ванда и Галкин соскочили с лошадей, передали их солдатам и впереди толпы направились к комендантской. Комендант, вздернув плечами, подкручивая нервно ус, обернулся к Валентину, желчно промолвил:

— Вот первое следствие, господин районный, ваших распоряжений.

В кабинет вошли Ванда, Галкин, пять-шесть солдат, остальные сгрудились в смежной комнате, выглядывая в открытую дверь. Лицо у Ванды было взволнованное, суровое. Из-под каракулевой шапки в беспорядке выби-

вались волосы. Она остро и ободряюще взглянула на Валентина. Взмах ее ресниц был жарок, и Валентин почувствовал его на себе, точно перед ним внезапно пролетела птица, едва не коснувшись его своим крылом. В следующий момент она резко и в упор глядела на коменданта. Комендант сделал к Ванде шаг:

— Чем могу служить, сударыня?

Ванда, сильно дыша, распахнула полушубок. Полушубок сливал ее с солдатами, с неприглядными мутно-серыми стенами помещения, в то время как ее глаза, брови, губы, щеки, вся фигура оставались, несмотря на происходившее, женственными. Сощурившись, она спросила коменданта прерывисто:

— Это правда, что вы арестовали Валентина Николаевича?

Комендант, видимо, совсем не ожидал такого вопроса, зачем-то оглянулся, перебирая пальцами светлые пуговицы на шинели, теряя самоуверенность, ответил:

— Собственно... я не обязан, сударыня, отдавать вам отчет в своих действиях. Я не могу допустить...

Ванда гневно перебила его:

— Вас спрашиваю не только я, но и солдаты, собравшиеся здесь. Нам совершенно не интересно, что вы можете допустить и чего не можете.

Комендант медлил ответом, кусая губы. Галкин, отдавая честь, не утерпел заметить скороговоркой:

— Ваше благородие, как есть сейчас революция...

Комендант не дал ему договорить:

— Я ничего не знаю о революции...

Валентин, осененный вдохновением, в свою очередь оборвал коменданта:

— А вот вы сейчас, господин комендант, узнаете о ней. Объявляю вас арестованным.

Толпа солдат зашевелилась. Комендант растерянно повел глазами. Не давая ему опомниться, Валентин продолжал:

— Объявляю вас арестованным за то, что вы требовали снять красные флаги, угрожали предать меня военному суду и за флаги меня арестовали.

Среди солдат кто-то весело охнул:

— Вот это ловко, ей-ей!

Еще где-то, в углу, раздался смешок, явственно долетевший до коменданта. Он вдруг приосанился, поднял плечи, расправил грудь, обернулся к солдатам, скомандовал:

— Немедленно очистить комендантскую, красные флаги убрать!

Толпа солдат подалась немного назад, но из комендантской никто не вышел. Вытянувшись и приложив руку к папахе, якобы с глупым, но на самом деле с хитрым и двусмысленным видом, Галкин отрапортовал:

— Дозвольте доложить, ваше благородие, флаги убрать никак невозможно, потому как солдаты не позволють: разохотились. И еще доложу, шесты очень даже здоровенные поставили — всем видать, и сымать очень несподручно.

В веселом и озорном голосе Галкина комендант уловил худо скрываемое издевательство. Он посерел, сгорбился, стал меньше ростом. Шаря в карманах шинели, он пробормотал:

— Я обязан по должности следить за порядком...

Валентин поучительно заметил:

— О порядке не беспокойтесь.

— Если вы ручаетесь... — продолжал бормотать комендант.

«Что же, действительно я арестовал его? — спрашивал себя Валентин, не зная, как ему обойтись с комендантом. — Что я буду с ним делать и не слишком ли я далеко зашел?» — Он переглянулся с Вандой, глазами спрашивая ее. Она поняла вопрос, чуть-чуть отрицательно покачала головой.

— Если вы, господин комендант, не будете снимать флагов и вообще противодействовать, — напыщенно и почти величественно заявил Валентин, — то, пожалуй, — он сделал движение рукой в сторону солдат, — мы можем считать недоразумение улаженным.

— Помилуйте, разве я против революции, — уже оправдывался комендант.

Галкин опять ввязался:

— А почему, ваше благородие, нам не вычитывают манифестов? Солдатам очень желательно послушать их в своих частях.

— Не имею никаких надлежащих инструкций. Все будет в свое время.

— То-то и мы думаем, что пора.

Ванда потянула Валентина за рукав. Вместе с солдатами они оставили комендантскую. По дороге в управление Валентин узнал от Ванды, что среди фронтовиков уже прошел слух, будто начальство арестовало «справедливого человека» за красные флаги и манифе-

сты, что манифесты скрывают от солдат и что войне скоро конец. Ванда и Галкин, узнав об аресте Валентина, предложили идти к коменданту и требовать освобождения. Солдаты охотно согласились. Валентин шел по улице, рассеянно слушал Ванду и безотчетно улыбался. Запушенные густым инеем деревья, точно обвешанные белой легкой дремой, свежий снег, запах дыма, конского навоза, красные флаги вдали, как вестники новых времен, солдаты, их надежные простые лица, Ванда, молодая, смело и уверенно очерченная линия ее подбородка, блеск темных глаз, притягивающих в свою таинственную глубину, ее горячий голос и то, что она стала родной, и то, что их сблизили события, — все это казалось Валентину чудесным и желанным, как если бы он к этому моменту готовился всю свою жизнь. Он хотел слушать Ванду и не мог, перебивал, отвечал невпопад.

— Панна Ванда, — сказал Валентин, — по правде сказать, я не ожидал от вас такой помощи.

Ванда замедлила шаг.

— Почему? — Тут же прибавила, засмеявшись: — Я тоже не ожидала... Я очень испугалась, когда узнала, что вас арестовали.

— Пустяки все-таки, — смущенно промолвил Валентин, запоминая мельчайшие переливы ее голоса.

Около районного управления солдаты окружили Валентина. Одни упрашивали пойти с ними в казармы почитать газеты; другие опасались, что комендант снова возьмет его под арест, настаивали на карауле; третьи твердили, что надо «порешить фараонов»; некоторые разглядывали Валентина молча и словно бы с сомнением, — расспрашивали, что теперь будет. Валентин еле успевал отвечать на вопросы. Толпа согревала его телом, дыханием, движением, говором. Эти люди, привыкшие к труду, к лишениям, к смерти, к обидам и насилию, еще недавно отделенные от Валентина всем бытом, войной, прошлым, с тусклыми, с угрюмыми глазами, теперь жадно его слушали, их взгляды зажигались огнем надежды. Валентину жали руку, его оберегали, прикрикивали на тех, кто нечаянно его толкал, предупредительно подавали спички, справлялись, не холодно ли ему на морозе и на ветру. Человеческое, участливое, общее вбирало, подчиняло его себе, делало своей частицей, и он, как никогда, думал думами этого целого и чувствовал его чувствами. Несмотря на бессонную

ночь, на случай с арестом, несмотря на то, что он ничего не ел и уже около двух часов беседовал с солдатами, Валентин не испытывал утомления; наоборот, силы в нем прибывало, и силу эту сообщили ему окружившие его фронтовики. Это было то высокое счастье, которое только и есть на земле.

Два запыхавшихся солдата известили, что в частях объявляют манифесты. Толпа поредела, бегом бросилась — кто к станции, кто на площадь, кто на окраины к баракам. Для охраны Валентина осталось несколько человек. Они разместились в управлении, наполнив комнаты махорочным дымом. Впрочем, скоро ушли и они: Валентину удалось уговорить их, что охранять его не надо: есть Галкин и другие санитары. Галкин обнаружил необычайную расторопность и беспокойство. Он «слетал» на станцию. Утром там, действительно, произошел переполох из-за флагов. Некоторые поезда не дошли до станции, но потом все уладилось. Доложив об этом «случае», Галкин поскакал на лошади в один из госпиталей узнать, «как там и что». Из госпиталя отправился к саперам, — сидел в солдатской чайной, разглагольствуя и поучая. Шумел он затем в конюшне, наскакивая на конюхов, ругая их сонными тетерями и обалдуями. Еле отдышавшись, взъерошенный и растрепанный, с облупившимся носом, явился опять к Валентину, отозвал его таинственно в угол, на все управление зашипел:

—А вы обратите свое полное внимание на сестрицу. Солдаты очень даже довольны ею сегодня; а что она из благородных и горда, так на это, прямо сказать, начхать.

Неожиданно из соседней комнаты отозвалась Ванда:

— Что это вы, Галкин, говорите про меня?

Она вошла в кабинет Валентина. Галкин шмыгнул носом, поднес руку горсточкой к губам.

— Промежду прочим, я ничего такого... к слову пришлось...

— Промежду прочим, вы сказали про меня — начхать — и еще что-то.

У Галкина сразу взмокло лицо.

— Я что же. Мое дело — сторона. Начхать — это я совсем про другое, а не то, чтобы про вас.

Он хотел еще что-то сказать, но, ничего не сказав, затоптался на месте, потом попросил разрешения «слетать» в конвойную команду. Когда вышел, было слыш-

но, как он выдохнул за дверями и оглушительно высморкался.

Ванда заметила задумчиво:

— Он очень суматошливый, но хороший. Он будет очень преданным. Раньше я его совсем не замечала.

Вечером, часов в семь, в управление прибежал тот же самый белобрысый солдат, который приходил утром за Валентином.

— Их благородие, — заявил он весело и одним духом, — просют вас в комендантскую.

Валентин ответил, что занят и прийти не может. Солдат ухмыльнулся, подошел ближе к Валентину, наклонившись, зашептал:

— Их благородие в большом сумлении. — Не в силах себя больше сдержать, громко и поспешно продолжал: — У нас происходят несмысленные беспорядки, фронтовые полицию кончают. Народу собралось видимо-невидимо, а полиция испугамшись: которые городовые оружие отдают, а которые с приставом у себя отсиживаются. Их благородие велели сказать: «Просит, мол, вас прийти порядок устроить». Но только какой же тут порядок может быть, когда солдатам прямо удержу нет: досадили нам эти селедки до крайности... А господин начальник беспокоятся, что делать — не знают.

Белобрысый говорил уже захлебываясь, глотая слова. Лоснящееся, гладкое его лицо выражало такую откровенную радость, такое возбуждение, что Валентину показалось, будто перед ним совсем не тот солдат, который несколько часов тому назад «представлял» его по начальству и стучал прикладом.

— Бунтуют? — переспросил Валентин, надевая шинель.

— Бунтуют напропалую, до звания, — сочно и весь сияя подтвердил вестовой.

Из своей комнаты вышла Ванда.

— Я тоже пойду с вами.

— Осмелюсь доложить, — вмешался вестовой, — женскому полу там несподручно: как бы не помяли.

Ванда тряхнула головой, с Валентином и конвойным пошла в комендатуру.

Комендант встретил Валентина очень подобострастно. Он осунулся, не успел за день побриться.

— Убедите солдат не совершать над полицией насилия. Кругом — в Столбцах, в Замирье — тихо и спокойно; только у нас почему-то выходит неладно. Боюсь,

солдаты начнут стрелять в полицейских, могут произойти большие неприятности.

Комендант уже не осмеливался сказать Валентину, что считает его виновником «неприятностей», но это было очевидно и без слов.

— Хорошо, — ответил Валентин, — я пойду к солдатам, но пойду без вас.

Он решил, что начальник будет ему только мешать.

Комендант выпрямился, с обидой и достоинством промолвил:

— Я должен быть там с вами: служебный долг и честь мундира.

Валентин примирительно согласился.

Комендант более простым и натуральным тоном прибавил:

— Помилуйте, не могу же я допустить, чтобы вы один отправились объясняться с возбужденной толпой.

Он вызвал «на всякий случай» несколько солдат конвойной команды. У полицейского управления в ночной тьме люди сливались в сплошной живой круг. Круг менялся в своих очертаниях. В этих медленных неясных движениях чудилось что-то неумолимое, готовое поглотить без следа. Валентин, комендант, Ванда, группа конвойных с трудом прокладывали себе путь. Часть солдат была без винтовок, у других за плечами торчали штыки. Солдаты имели вид, будто они собирались в поход. Их лица были решительны. На них лежала вековая забота. Все были похожи друг на друга. Глядели в одну сторону, где находился полицейский дом. Не было слышно ни отдельных голосов, ни выкриков. Шел однообразный гул, сдержанный, но угрожающий. Он то спадал, то нарастал прибоем, отдавался в дальних концах.

Валентин взглянул на небо. Там зияли темные, пустые бездны, слабо окропленные немыми звездами.

«Идем в страну детей своих, далекую страну обетованную. Идем во мраке, без знамений чудесных, без огненных столпов, с одной надеждой на себя. Дойдем ли? Какие опасности сторожат нас?» — Валентину бросился в глаза солдат рядом с ним. Черный ремень винтовки врезался ему в плечо, тусклый штык чертил воздух, — солдат вытягивал шею, худую, грязную, обросшую волосами. Испитое, с глубокими впадинами на щеках лицо было сосредоточенно, тяжело и мутно. Валентину пришлось толкнуть его, чтобы пробиться вперед.

Он потеснился, не оглянувшись: ему было не до того. Пропускали, однако, неохотно. Иногда приходилось останавливаться; потом толпа напирала с такой силой, что в груди спиралось дыхание, в глазах темнело, кости хрустели. Солдаты смотрели на погоны коменданта и Валентина недоброжелательно, но все же только благодаря им удалось в конце концов протиснуться к дверям. Двери были заперты изнутри: несколько стекол в неосвещенных окнах уже успели побить.

— Товарищи, что тут происходит? — спросил Валентин.

Некоторое время ему не отвечали, потом кто-то раздраженно и с издевательством ответил, — говорившего не было видно:

— А то и происходит, что треба нам фараонов порешить. Наели тут себе морды. Все дизентиров, нашего брата окопника, ловют, а сами первые дизентиры. Вот что тут происходит.

Из толпы выдвинулся солдатик с неистовыми глазами, мотнул головой в сторону полицейского правления:

— На каких таких правах они носят всякое оружие и жалованье получают? По всей Расее их давно обезоружили и шнурки все посымали.

— Им не только шнурки, им и головы откручивали.

Еще сказал один:

— А вы-то сами откуда взялись?

Толпа продвинулась ближе к коменданту и к Валентину. Больно сдавили плечо.

Комендант привычным голосом крикнул:

— Эй, осади назад!

Толпа туго, неохотно подалась, но тут же снова надвинулась, отделила Валентина от Ванды. Валентин поднял руку:

— Товарищи! Именем революции...

Возглас затерялся в глухой, враждебной толпе. Неожиданно откуда-то вынырнул Галкин, вскочил на колоду, надул щеки, взмахнул руками и что было мочи, отчаянно, будто его пытали, заорал дико:

— Слухай, православные, такую-то вашу мать!

В передних изломанных рядах стало спокойнее. Валентин встал на колоду вместо Галкина. Толпа тяжело ждала. Солдаты стояли неподвижно, но в этой напряженной неподвижности таилась мутная и нараставшая угроза. Валентин заговорил не своим, погрубевшим голосом. Он поздравил солдат с победой. Теперь судьбы

страны —в руках народа. Солдаты внимательно должны следить за врагом, особенно там, где война. На фронте два врага: высшее командование и войска Вильгельма: и те и другие будут противодействовать революции. Война затеяна из-за барышей, но пока в Германии нет революции, окопов покидать нельзя. Революция требует вооруженной охраны. Полицию же следует немедленно устранить.

— Мы сумеем это сделать сейчас же, но без кровопролития. — Валентин закончил призывами.

— Ура! — первым заревел Галкин.

Толпа подхватила его крик. Кричали усердно. От передних рядов «ура» перекатывалось в середину круга, подхватывалось позади, возвращалось к Валентину, он снова бросал «ура» в толпу. Кричали, однако, нестройно и как бы даже подстегивая себя. И еще раньше, во время речи, Валентин заметил, что ему не удалось вполне подчинить себе слушателей. Он был недоволен сказанным. Не таким представлялось ему первое обращение к свободному от самовластия народу. В тюрьмах, в ссылках, на чердаках он исступленно грезил об этом ни с чем не сравнимом моменте. В ослепительном озарении предстоял пред ним этот час. Тогда он сумеет найти слова, горящие пламенем единственного рассвета. Он расскажет обо всем, что вынужден был скрывать. Могучее «осанна» вырвется тогда из его груди и сольется с победными криками. И вот это «тогда» сделалось сегодняшним днем. Он стоит перед людьми, вчера сидевшими в окопах, со смертью за спиной, перед измученными, изъеденными болезнями. На каких более благородных слушателей может рассчитывать революционер во дни первых побед? А получилось не то, не так. В чем же дело? Почему? Размышлять, впрочем, долго не пришлось. Толпа уже утихла. Пора было действовать дальше. Валентин вполголоса сказал коменданту, что надо разоружить полицию. Комендант замешкался, поозирался, подошел к дверям, неуверенно постучал. Никто не ответил. Он постучал снова, сильней. Толпа совсем притихла. За дверями по-прежнему никто не отозвался. Комендант поискал глазами своих конвойных. Трое или четверо из них стояли впереди.

— Ломайте дверь!

Солдаты, расчистив себе место, ударили в двери прикладами. Дробные и гулкие звуки рассыпались кругом. Двери скрипели, стонали, но не поддавались. Солдаты

работали усердно. Фронтовик, с закутанной башлыком головой, предложил подпалить дом:

— Сейчас это они, как тараканы, повыползут наружу. Первое дело...

Рыжий солдат, с красным шрамом около левого глаза, пробрался к конвойным. У него были налитые плечи и длинные, почти до колен руки. Он расстегнул шинель, коротко земляным голосом сказал:

— Погодь, не то я попробую. Из кузнецов мы. — Солдаты перестали бить прикладами. — Ну-ко, господи благослови. — Он поплевал в ладони, рванул несколько раз двери. Вместе с внутренним железным крюком они широко распахнулись.

— Вот как по-нашему, — заявил рыжий, самодовольно озираясь, ища похвалы и отирая с лица крупные капли пота.

Комендант с Валентином вошли в помещение. За ними, толкаясь и задерживаясь в дверях, повалили солдаты. Было темно. Зажгли спички. Комендант подошел к одной из комнат в коридоре, постучал.

— Что надо? — спросили оттуда подавленно и осторожно.

— Мирон Филатьевич, это вы?

— А это вы, Николай Николаевич?!

— Это я. Откройте.

— Сейчас, сейчас, — донесся суетливый голос.

Дверь открыл пристав, старик с коротко остриженной седой бородой, с подвитыми усами и подусниками, большеголовый, с брюшком. На лбу его, покрытом красными пятнами, сидела бородавка. За ним переминались околоточный с выпученными круглыми глазами, городовые. Несмотря на жару и духоту, все были в шинелях. На столах, грязных и засаленных, в беспорядке валялись папки, бланки, старые газеты, ручки, карандаши, стояли запыленные чернильницы. Пристав, городовые оторопело смотрели на солдат, набиравшихся в комнату. Околоточный крякал, сопел носом и обдергивал шинель. Наступило молчание. Комендант, скользя глазом в один из углов, ссутулившись и пытаясь безуспешно улыбнуться, отчего рот его только кривился, неуклюже взмахнул рукой, глухо и путаясь выдавил из себя:

— Вот-с... как видите... произошла революция... смещение старой власти... Народ не нуждается больше в полиции... Я, так сказать, обязан, Мирон Филатьевич,

потребовать у вас оружие... Сами понимаете... в столице и повсюду... такое... я обязан...

Бородавка на лбу пристава сделалась темно-малиновой и словно вздулась. Брови расползлись. Красные пятна поползли по всему лицу, на шею, туго перехваченную стоячим воротником, — пристав дрожащими, в синих развилках руками стал шарить по шинели. С расстегнутой шинели скрюченные, с жесткими ногтями пальцы перебежали на мундир.

— Я, что же, готов, Николай Николаевич... Понимаю... бывает...

Он с трудом нашел ремень, отстегнул шашку, положил ее на стол. Шашка сползла со стола. Пристав поспешно нагнулся за ней. Небольшая лысина в пушку отливала медью. Полы шинели, раздвинувшись, собирали пыль с пола.

— Бывает-с, — продолжал лепетать старик, кладя шашку опять на стол. Оттого, что он нагибался, жилки в глазах у него налились кровью. Выпрямившись, он беспокойно начал вертеть головой, видимо ища сочувствия. Солдаты исподлобья наблюдали за стариком.

— Прошу сдать шашки и наганы, — обратился Валентин к другим полицейским и сам удивился своему тону: до того обязательно прозвучал в его ушах собственный голос.

На столе выросла горка оружия. Околоточный, ворочая выпученными глазами, держа руку под козырек и вытянувшись, пробубнил хриплым басом:

— Осмелюсь спросить, долгое время могут происходить эти беспорядки?

— Какие? — промолвил с недоумением Валентин.

— Чтобы, например, без должности и в неизвестном существовании.

— Не знаю, — безразличным тоном ответил Валентин.

Околоточный как будто обиделся.

— В окопы тебя отправить надо, — зло заметил кто-то из солдат. — Там тебе определят существование.

— Теперь, — объявил Валентин, обращаясь к чинам полиции, — впредь до особого распоряжения революционной власти все вы подлежите аресту.

Комендант с недоумением взглянул на Валентина, хотел что-то сказать, сделал даже в его сторону движение, но, ничего не сказав, отвернулся от пристава. Старик машинально застегивал и расстегивал поношенную

шинель. Левый, уже свалявшийся ус у него опустился, отчего его лицо казалось перекошенным, нижняя сочная губа отвисла, глаза помутнели. Он почему-то мелко закивал головой, не то соглашаясь, что иначе с ним, действительно, поступить нельзя, не то осуждая случившееся и сожалея, что его арестовали. Околоток тяжело дышал. Городовые стояли неподвижно, неуклюже, отяжелевшие, мордастые. Никому из находившихся в комнате не пришло в голову спросить Валентина, кто дал ему право распоряжаться и заключать в тюрьму людей. Не спрашивал он об этом и сам себя. Он был бледен, сумрачен. Из-под серой папахи выбивалась волнистая прядь волос, он крутил ее нервными, худыми пальцами. Среди солдат он заметил Ванду. Взгляд ее был отчужденный. Валентин отвел от нее глаза. В дверях один из солдат сказал:

— Одно слово: будя.

Это «будя» было произнесено столь веско и положительно, что все поняли: свершилось нечто бесповоротное и решительное, и незачем больше говорить, толкаться, глазеть. Комендант, по-прежнему не замечая пристава, вызвал конвойных. Они окружили арестованных. Старик дрогнувшим голосом обратился к Валентину:

— Это временная мера?

Комендант участливо, но в то же время уже с чувством превосходства, вероятнее всего бессознательного, косся глазами, успокоительно отозвался:

— Для вашей же безопасности, Мирон Филатьевич. Жду с часу на час инструкций из штаба фронта.

Опять из толпы вынырнул Галкин:

— Не извольте беспокоиться, ваше благородие. Я до четырех разов отсиживался по кутузкам. И били меня прямо до полного очумения, а промежду прочим жив остался. Ну, должен только вам выразить: народ без дела уродовать никого не станет, потому, — испытал это самое на своей спине.

— А за что тебя били? — спросили из толпы.

— Ох как лупцевали, — весело отозвался Галкин. — Должно, от скуки жизни. Одним словом, кулаки нахаживали.

— Кто старое вспомянет, тому глаз вон, — с явным глумлением над полицейскими заметил солдат, спросивший Галкина.

Комендант и Валентин направились к выходу. За

ними двинулись арестованные, конвойные, фронтовики. В дверях произошла заминка. Валентин обернулся. Безбровый щекастый солдат пояснил:

— Картузик не могут найти.

Старик замешкался. Он шарил глазами по комнате, заглядывал под стол, совался по углам. Ему, видимо, было неловко, что он задерживает других. Не вдумываясь в слова, он повторял:

— Вот уж оказия какая, какая оказия...

Фуражка наконец нашлась под газетным листом. Пристав надвинул ее по самые уши, еще больше сгорбился и, ни на кого не глядя, засеменил ногами.

Возвращаясь в управление, Валентин вспомнил, что еще дня два тому назад пристав точно в своей вотчине разъезжал по местечку; плотно сидя в санях и занимая все сиденье, он осанисто и властно расставлял широко ноги, гладил бороду, небрежно прикладывал руку к козырьку. Один сегодняшний вечер превратил его в жалкого старика. Скоро, однако, мысли Валентина обратились к его выступлению. Он чувствовал, что в речи своей допустил ошибку, но в чем она заключалась, было неясно. Он уже отстал от толпы, шел один. Снег освежающе скрипел под ногами. Ночная тьма поглощала и опустошала местечко, превращая дома, сады в застывшие черные тени. «В чем же дело?» — спрашивал себя Валентин. Вдруг он остановился.

«А ведь я произнес речь с призывами к обороне отечества. Где же наш прежний лозунг превращения этой войны в гражданскую?» Он в замешательстве полез за платком, тут же забыл, зачем опустил руку в карман, пошел по дороге, оступился, упал, попав ногами в глубокую колею дороги.

«Теперь понятно, — размышлял Валентин, продолжая путь. — Солдаты ждали от меня другой речи. Нужно было сказать, что революция направлена против войны, за мир, а я сказал, что ее надо по-прежнему продолжать. Я поддался первой радости победы и опасениям за революцию. Но разве теперь не надо ее защищать? И разве войска Вильгельма не угрожают ей? Но если это так, тогда я должен желать победы и союзникам, а желая им всем победы, я опять призываю к продолжению войны. Однако, что такое революционное отечество? Государственная дума организует новую власть. Она не наша, но в этой власти принимают участие и социалисты. Возникают также и Советы. Это

уже наше, это нужно защищать, то есть оборонять страну».

Мысли Валентина вращались в порочном кругу. Он не находил из него выхода.

«Что же я завтра, послезавтра скажу солдатам?» Ответа не было.

Утомленный размышлениями, он подошел к районному управлению. На крыльце стояла Ванда, прислонясь к перилам и глядя в ночной мрак, туда, где находилась станция. Валентин окликнул ее, она обернулась. Ее лицо освещалось глазами, как двумя светильниками с темными огнями.

— Что вы тут делаете?

Ванда провела пальцем по затвердевшей корке снега на перилах. Не отвечая на вопрос, сказала:

— Сегодня вы были арестованы и сами дважды произвели первые для вас аресты. Когда сажали в тюрьму старика — мне было не по себе, но в конце концов все это очень просто. Через три недели, через месяцы вы привыкнете отправлять людей в тюрьмы, даже лишать их жизни. А еще недавно вы сами сидели в каменных мешках, не понимали и удивлялись, как могут другие люди лишать вас и ваших друзей света, свободы, воздуха, — спокойно есть, пить, веселиться.

— Без этого нельзя, — суховато промолвил Валентин и тоже начал водить пальцем по снегу. — Иногда жестоко быть человечным.

Ванда быстро снова обернулась к нему.

— Это, вероятно, сказал очень злой человек.

— Это сказала жена Карла IX в Варфоломеевскую ночь. Эти слова мог сказать и гугенот, убивая королеву, Карла IX и папистов, чтобы предупредить истребление десятков тысяч своих сторонников. Не правда ли?

Ванда ничего не отвечала. Ее полушубок был попрежнему расстегнут у ворота и на груди. От нее шло тепло, слабо пахло духами. Валентина подавляла близость Ванды и ее расцветшее зрелое тело.

— Застегнитесь, вы простудитесь.

Она послушно застегнулась, глядя вверх на голые вершины берез, сказала:

— Вы спросили меня, когда подошли, что я тут делала одна. Вспоминала детство, девичество. Я вся переменилась за эти годы, огрубела. Светлая, чистая кровать, куклы, переднички, гимназическое платьице, тугие косички с лентами, подруги с ямочками на щеках, не-

винность, шалость, обожание — было ли все это? Меня считали очень своенравной. По вечерам я любила уходить в темную комнату, ждала: вдруг из темного угла меня схватит кто-то неизвестный, потащит неизвестно куда, за лес, за моря и горы. Я немела, прислушиваясь к шорохам, сердце больно замирало, я боялась дышать и все же не уходила. В гимназии мечтала о принцах, о рыцарях, о замках, о необыкновенной любви. Я была очень религиозна, молилась со слезами на глазах, шептала горячие молитвы, ждала чудес. Ничего чудесного не случилось. Мне двадцать четыре года, а я иногда чувствую себя старухой. Пустота, тоска, скука. Вы еще не знаете, как я плохо жила последнее время. Это от смерти... от нее... Когда-нибудь я расскажу вам, но после, потом...

— Теперь надо, панна Ванда, жить другим и о другом думать.

Ванда негромко ответила:

— Знаю... а я вот такая...

Она оборвала разговор, поежилась от холода.

— Я озябла, пойду погреться.

Валентин остался на крыльце. Громыхая и тяжело лязгая, прошел поезд, донесся сонный лай собаки с окраины. Небо подернулось плотными облаками, стал падать редкий снежок. Пропел первый петух. Ночь сторожила неизвестные события. Завтра, через месяц они развернутся пламенными свитками. И Ванда сегодня совсем другая. Валентину не хотелось идти к себе в одинокую, нетопленую комнату, он знал, что долго не заснет, но больше ничего не оставалось делать.

На другой день у себя в кабинете Валентин застал Петлюру. Петлюра задержался в Койданове по дороге в Минск. Оставшись наедине с Валентином, он сел у стола, прикрыв глаза ладонью.

— Правда ли, что именно вы распорядились вчера поднять в учреждениях союза красные флаги?

Валентин ответил утвердительно. Петлюра потер переносицу.

— Вам известно, как командующий Западным фронтом генерал Эверт относится к перевороту?

— Это мне неизвестно.

— В том-то и дело, в том-то и дело, — внушительно промолвил Петлюра. — Это пока никому не известно. Не известно также, что намерена предпринять ставка. Во всяком случае, считаю своим долгом вас предо-

стеречь. О вас говорят, что вы возбуждали вчера солдат, разоружили полицию, устроили митинг. Сегодня я буду в Минске, получу точные сведения, извещу вас телеграммой.

— Вы забыли сказать, что я еще объявил арестованным коменданта. Это он, вероятно, вам и донес на меня.

Петлюра ничего не ответил, встал, заложил руки за спину, прошелся по кабинету, остановился против Валентина.

— Вы уверены, что все это прочно?

— Вполне уверен. Прочность зависит и от нас.

Петлюра сделал отрицательное движение головой.

— Поступайте по своему усмотрению, я не противник революции, но молчание Эверта очень сомнительно. Следует быть осторожным. Однако мне пора к поезду.

Спустя несколько часов от Петлюры была получена телеграмма: «Поздравляю с полной победой народа, прошу передать сотрудникам, пусть они с утроенной энергией послужат революции и обороне страны».

Под вечер Валентин ездил в один из пехотных полков, где провел митинг. Солдаты настойчиво спрашивали, скоро ли будет конец войне. Валентин отвечал уклончиво, но очень подробно объяснил причины и характер войны. Очевидно, разъяснение понравилось солдатам, они проводили Валентина весело и дружески. Возвратился он поздно, часов в десять. Отпустив конюха, решил зайти в управление, у крыльца заметил освещенное окно в комнате Ванды, где она обычно занималась. Окно выходило в палисадник. Свет падал на ровный нетронутый снег. Странное чувство потянуло Валентина к окну. Проваливаясь по колени, он подошел к окну. Окно цвело пушистым серебром, нижняя половина была задернута белой занавесью. «Если она меня любит, она сейчас выйдет. Она должна это сделать». — Он смотрел в окно, увязнув в снегу. Он собрал все свои силы и желания, слив их в одно. «Я прошу, хочу, требую». — Он напряженно ждал. «Вот сейчас она одевается, берется за ручку двери, сейчас она покажется». — Ванда не показывалась. Окно было холодно, слепо, бесстрастно. «Значит, она меня не любит». — И тут же он укорил себя: «Я делаюсь суеверным». — Одновременно он с горечью решил: «Она не выходит потому, что я не уверен в себе, сомневаюсь».

— Что вы тут делаете?

Он оглянулся. Ванда стояла на крыльце, держа муф-

точку у лица. Валентин бессмысленно и бледно улыбнулся.

— Ничего не делаю... стою у окна.

Ванда подошла к палисаднику.

— Зачем вы забрались сюда в снег?

— Я-то?.. Потерял здесь портсигар. Пошел гулять, знаете ли, и выронил портсигар... серебряный, — бормотал Валентин. «Как все это глупо», — думал он с отчаянием, не в силах в то же время найти более разумное объяснение своему положению. — Он где-то здесь, наверное здесь, — Валентин притворился, что ищет глазами по снегу.

Ванда с недоумением и любопытством глядела на Валентина, наклонясь к нему через палисадник.

— Какая же здесь прогулка? Снег, тропы нет.

Отвернувшись от Ванды, Валентин продолжал бормотать, стараясь придать своему голосу естественность и даже беспечность:

— Пошел гулять и нечаянно забрел сюда. Вот и все... а портсигар я, должно быть, оставил дома.

Ванда собрала ком снега, поднесла его к губам.

— Вы не могли его оставить дома. Я видела его сегодня у вас в управлении.

— В самом деле, — поспешно согласился Валентин, все избегая смотреть на Ванду, — я не мог оставить его дома.

Ванда отбросила ком, неожиданно громко рассмеялась.

— Чего же вы смеетесь? — спросил угрюмо Валентин.

— Иногда вы бываете очень смешной.

— Почему же я бываю смешной? — обиделся Валентин.

— Я не знаю... о портсигаре я вам сказала нарочно, я у вас его не видела в управлении. Вы его оставили дома.

— Я потерял его в полку.

— Вот именно. Идите сюда, отряхните снег.

— Хорошо, — тяжело и мрачно заявил Валентин, отряхиваясь и выбираясь за калитку.

Он поспешил проститься с Вандой. Дорогой к дому он долго не мог прийти в себя, когда успокоился, неожиданная мысль пришла ему в голову: «Она сказала, что нарочно пошутила надо мной, будто видела портсигар в управлении. Она сделала это для того, чтобы

помочь мне признаться, что и я тоже шучу, а я этого не понял. Какая она славная, и она меня несомненно любит. Все же она вышла на крыльцо». — Воспоминание о портсигаре, однако, было очень неприятно. Валентин не знал, как завтра встретится с Вандой. Пожалуй, она посмеется над ним. И за дело: нельзя же так глупо и наивно лгать. Да, иногда он бывает удивительно ненаходчив... Недалеко от квартиры он вынул злополучный портсигар. Портсигар подарила ему мать, он остался от отца, был верным спутником невзгод и отшельничества. Теперь он показался ему ненавистным. Закурив папироску, Валентин огляделся кругом. На улице никого не было. Где-то вдали ночной сторож стучал в колотушку. Справа тянулся ветхий забор. Валентин хотел бросить портсигар за забор в сад, уже размахнулся, но в последний самый момент удержался. «Схороню его лучше дома, она его больше не увидит». Он так и сделал.

Утром в управлении Валентин избегал встреч с Вандой. Когда она вошла к нему, он наклонился над бумагами. Ванда деловито сообщила, что его ждут к себе санитары. Валентин украдкой взглянул на Ванду. Ничто не показывало в ней, что она помнит о портсигаре. Она раскрыла папку. Валентин подписал бумаги, не прочитав их.

IX

Ежедневно к Валентину являлись делегаты от рот, полков, дивизий, от особых частей. Всюду он видел одни и те же замкнутые, хмурые лица, голодные глаза, устремленные на него в ожидании чего-то решительного и окончательного. Теперь он знал без ошибки, о чем его спрашивали. Еще недавно он сомневался, что ему говорить о войне, призывать ли к продолжению войны или оставить прежний лозунг поражения. Он так и не решил в мыслях, что надо делать. Вопрос о природе власти, то единственное, что могло рассеять его недоумение, был в те дни ему не ясен, но в своей практике он скоро убедился в одном. Солдаты редко высказывались на собраниях, но принимали Валентина различно. Когда он обращался к ним с речами о падении самодержавия, о необходимости быть настороже, когда он говорил им даже об Учредительном собрании и о земле, его слушали внимательно, но без заметного увле-

чения. Стоило ему, однако, напомнить о войне, и собрание преображалось: прекращались покашливания, переходы с одного места на другое, перешептывания в дальних рядах; у солдат вытягивались шеи, напрягался слух, лица делались сосредоточеннее, устанавливалась та необходимая связь, какую всегда чувствует оратор и которая поддерживает его, обогащает слово, дает уверенность. И Валентин незаметно для себя изменял содержание своих речей. Он чаще, подробней рассказывал солдатам, отчего произошла война, твердил, что революция только в том случае будет полной и подлинной, если выведет страну из смрадного кровавого круга. Самое же главное было то, что у Валентина после таких обращений появлялись новые знакомства и связи. Фронтовики бессознательно и для себя и для него подчиняли его себе, делая его выразителем своих стремлений. Валентин не умом, а всей своей деятельностью убеждался, что солдат можно объединить, сделать защитниками революции, только выступая против войны и за немедленный мир. Колебания разрешались сами собой. Жизнь исправляла ошибки.

Командный состав относился к Валентину враждебно. Иногда приходилось потратить много усилий, чтобы проникнуть в войсковую часть. В нескольких верстах от Койданова отдыхал спешившийся кавалерийский полк с высочайше пожалованными серебряными трубами. Несколько раз Валентин безуспешно пытался побывать в полку; наконец ему это удалось. Его провели в полковую канцелярию к командиру полка. Еле ответив на приветствие, рослый пожилой командир с выхоленным лицом оглядел пренебрежительно Валентина, сделал к нему шаг.

— Вы намерены в таком виде говорить с моими кавалеристами?

Недоумевая, Валентин ответил;

— Да. А в чем дело?

— А в том дело, милсдарь, — оскорбившись и считая фривольным это «в чем дело», отрубил командир. — что в моем полку не принято публично выступать без погон. Потрудитесь надеть их.

Валентин в первые же дни революции снял земские знаки отличия; не желая пропустить митинг, он подчинился требованию командира полка и говорил в погонах ротмистра. Солдаты слушали, с опасением поглядывая на офицеров, разместившихся у трибуны. Впе-

реди же всех с непроницаемым и неприступным видом стоял командир полка, точно принимая парад. После митинга он подошел к Валентину, звякнул шпорами:

— Долг вежливости заставляет меня благодарить вас от имени полка, от себя же прибавлю: за речи, направленные к подрыву воинской дисциплины в непосредственной близости к линии, где происходят военные действия, я в недавнее время предавал людей военно-полевому суду.

Он круто повернулся, блистая глянцем сапог, эполетами, сединой, саблей. Провожал Валентина один из рядовых кавалеристов, семинарист, рослый белокурый здоровяк. У автомобиля он, точно оправдываясь, сказал:

— Прямо беда с нашими господами офицерами, они у нас все картавые.

— Почему картавые?

— От благородства, «от благогодства», — добродушно передразнил он их.

Валентин любил посещать летчиков. В те дни боевые полеты почти прекратились, летчики отдыхали. Валентин сошелся близко с капитаном Тихвиновым, отважным и умным человеком. Валентину нравилось его открытое русское лицо, светло-рыжая вьющаяся бородка, неторопливость в словах и в движениях, ясность взгляда. У себя в землянке он показал однажды Валентину фотографические снимки с аэроплана в момент боевых операций. На одном из них была заснята немецкая станция. Тихвинов сбросил бомбы. К станции подходил поезд. И станцию и голову поезда охватывал черный косматый дым. Он далеко простирался над полями.

— Одно из самых моих удачных попаданий, — заметил Тихвинов, с трубкой во рту. — Станция была совершенно разрушена. Поезд со снарядами тоже взлетел на воздух.

— Что вы испытали, когда смотрели на все это сверху?

— Ничего, — просто ответил Тихвинов. — Знал: есть приказ, его нужно исполнить, только и всего. Война освободила нас от человеческих чувств и понятий. Мы храбры, потому что ко всему привыкли, нас ничто не удивляет, ничто не трогает. У меня жена, двое детей, мать. Иногда даже странно вспомнить, что они у меня есть. Мы жесткое, жуткое племя. Может быть, нас встряхнет революция, но и это еще не известно. Офи-

церство не признает революции и ненавидит ее. Одно верно: всему человеческому будет от нас худо.

В землянке отлеживалась сырая тишина. Глаза Тихвинова были прозрачны.

Валентина обычно сопровождал Галкин. Нос у него продолжал лупиться, отливая разноцветьем. Веснушки потемнели. Он ходил расхлестанный и точно хмельной. Галкин считал своим долгом выступать после Валентина на митингах, говорил горячо, но невразумительно. В речах его повторялись одни и те же выражения и слова.

— Товарищи, куда пирог ни поверни, он будет все такой же. Куда нас здеся ни сунь, — мы, солдаты, убойная скотинка. Верно я говорю? А если верно, надо нам понятие иметь. Потому, — он ударял кулаком в грудь, — потому мы пролетарии, то есть оглашенная беднота, с руками, в которых, промежду прочим, круглая дырочка от бублика, а бублик едят другие. Товарищи, — наступал он на слушателей, — держи караул, засучивай рукава, подтягивай штаны, приглядывай за офицерьем.

Галкин слезал с трибуны багровый, потный, едва помня себя. Он шнырял по всем воинским частям, по госпиталям и чайным, ругался, изобличал. Ему мерещились подвохи, заговоры в среде «начальства». Его беспокоили необыкновенные слухи: в районе Барановичей командный состав перешел на «Вильгельмову сторону», ночью третьего дня в Замирье прилетели на аэропланах немцы, и все видели, как они прогуливались открыто с нашими офицерами и о чем-то совещались. Ему достоверно было известно, будто союзники послали свою эскадру к берегам Черного моря и уже высадились в Крыму. Затащив Валентина куда-нибудь в угол, Галкин, сощурив один глаз и въедаясь другим, убежденно и таинственно сообщал:

— А промежду прочим, господа офицеры против вас умышление имеют, разговоры разные разговаривают. Ходит, мол, по полкам какой-то темный человек неизвестного чина и звания, — одно слово, арестант и каторжник, подбивает солдат против войны, а сам тоже из дизертиров. Остерегаться вы должны, долго ли до греха, народ гордый, отчаянный, полоснут, чего доброго, в черном месте. Очень даже просто.

Он охранял Валентина, сопровождал его в поездках и даже не спрашивал, согласен ли Валентин брать его с собой. Обзавелся наганом, и он торчал у него из гряз-

ного, в пятнах по краям, кармана. Поверил он Валентину твердо.

Больше других Галкин не любил коменданта. Комендант держался с Валентином внешне любезно, даже заискивал, но чинил ему препятствия, неохотно давал сведения о полках, бригадах, отрядах, расположенных в Койдановском районе, якобы в шутку говорил среди офицеров, что округом управляет земгусар; самовольно освободил пристава и городовых, вел какие-то подозрительные беседы в своей конвойной команде.

К Ванде Галкин относился предупредительно, он особо отчетливо козырял ей, старался подать полушубок, следил за Стрелкой, орал на конюхов, что они плохо ухаживают за лошадью, хотя не обладал никакими правами ими распоряжаться. Навязывался сбегать в лавку, предлагал чай, завтраки, всегда знал, где она, куда отправилась. Он делал это как-то просто, не унижаясь и не прислуживаясь, ценя Ванду за то, что она помогает Валентину в его работе. Случилось, Галкин пристал к Валентину по дороге, сбиваясь в словах, он зашептал:

— Конешно, мое дело сторона и, как говорится, даже совсем сбоку, но только, по-божески, скучновато вам здесь одному. Нашему брату солдату и то бывает сумно. Природа завсегда свое просит... Не примите в обиду, очень бы подошла вам Ванда Яновна. Что она полька, так это совсем незначительно. Выговаривает она прямо по-нашему, и даже насчет польки не узнаешь. Дружнее бы у вас дело пошло. А в остальных делах не сумневайтесь, с офицерьем, я подметил, больше она не путается. И содержит себя вполне аккуратно.

Валентин засмеялся.

— До всего вам, Галкин, есть забота.

Забегая вперед, раскачиваясь и путаясь в шинели, Галкин с горячностью согласился:

— Это вы очень верно говорите. Время такое, нашему брату до всего теперь свое пристрастие надо иметь.

— Вот я скажу Ванде, что вы за ней приглядываете.

Галкин от испуга стал на дороге, растопырил пальцы, прижал руки к груди и даже всхлипнул.

— Да неужто это возможно, чтобы за Вандой Яновной надзирать? Узнал, промежду прочим, от ваших земских услыхал, а, например, шпиенить — у меня и в мыслях такого не было. Ванда Яновна вполне самостоятельная барышня и могут поступать по своему желанию.

В ейные дела лезть нам не к лицу. Не шпиен я ей, сведи меня судорога холерная.

Он долго не мог успокоиться, хотя Валентин и уверял его, что только пошутил над ним.

С некоторых пор пальцы у Галкина были постоянно перепачканы чернилами. Чернильные кляксы украшали его лицо, забирались даже в уши. Валентин сначала безуспешно старался узнать, в чем дело. Галкин нес околесицу, утверждая, будто теперь ему приходится составлять и подписывать солдатам «разные екстренные бумаги». В конце концов он признался, что обучается у одного из земских служащих «образованным наукам». Сотрудник занимался с ним безвозмездно. Раскрыв эту тайну, Галкин умолял «не выдавать его», но, сколько ни расспрашивал Валентин, почему он держит свое обучение в тайне, ничего толкового узнать не удалось. Очевидно, Галкин полагал, что правилам арифметики и чистописания не зазорно учиться только детям. О своем же образовании в прошлом Галкин рассказывал довольно подробно и охотно:

— Род наш, товарищ, — дубовый. Дед прожил до ста десяти лет, а отцу было семьдесят два года, когда я мальчонком по улицам бегал. С ружьем на охоту еще ходил, помню. Отчего подолгу жили, сказать трудно. Думаю, от меда. Пасеки у нас держали, и мед круглый год не переводился. Старые люди говорят, очень много здоровья придает мед человеку. Отец до того с пчелами свой был, что они его никогда не кусали. Запутается у него в бороде пчела, берет он ее руками: лети, мол, трудящая насекомая. Будто наговорное слово знал. Крепкие жили люди. Вы на меня не смотрите. Я в мать вышел, мать у меня все хворала, но тоже со свету долго не уходила. Папаша покойный драл меня каждый раз, когда я ему об ученье сказывал. А учиться мне тогда хотелось. Наслушался я сказок: про Бову-королевича, про Еруслана, про то, как солдат царя Петра от верной смерти спас, про Тараса-черномора, про лихих разбойников, которые озоровали в лесах заповедных. Прямо дрожу, бывало, весь как в огневице, когда слышу; в роте пересыхало и в грудях дыхание запирало. Стих тоже полюбил. Вижу, обо всем этом в книжках прописано, а тут еще однолетки в школу ходят. Стал просить отца: отдай да отдай учиться. Он сейчас это ремень в руки, зажмет голову мне промежду своих колен, штанишки спустит и ну нахлестывать. Отдерет,

скажет, вешая на гвоздь ремень: «Запомни, ни вовек не отдам я тебя в науку: от дома отобьешься и от хозяйства и будешь ты для меня и для матки ломоть отрезанный». Бил он меня таким манером очень даже исправно, а вышло все же по-моему. Приходит один раз сосед наш, кузнец Гаврила, а отец только что в коленях меня защемил, и я прямо задыхаюсь от деру, и под самое сердце мне боль подкатывает. Посмотрел на нас кузнец и говорит: «Хорошо дерешь, Иван, сынишку, прямо смотреть приятно, в полное удовольствие дерешь, но только зря ты это делаешь: в школу-то парнишку отдать придется как-никак. Писарем будет, а тебе опять скоро в старшинах ходить. Свой писарь куда сподручней; а не то церковным старостой выберут, опять же тебе выгода». Тут отец лупцевать меня перестал, так только для вида ремнем касается, задумался. «А и в самом деле, ежели в писаря выйдет, то не худо это, комар его укуси, пострела. Правду ты, Гаврила, сказал, и как мне в голову самому такая мысль не кинулась! Должно, от старости».

Осенью отдал меня в церковную школу, другой у нас не было. Тут тоже незадача получилась. Учителишка попался, на грех, из пьяниц пьяница. Напьется, линейкой нас по голове колотит. Самое любимое это дело у него было. На голове бугры целые вырастали, а толку мало. Еще взял такую повадку: «Кричите, — говорит, — кукареку, сукины дети, сопливцы несчастные. Приучайтесь, — говорит, — к хозяйству и насчет команды». Мы сидим, орем что мочи есть. Вот оно какое ученье у нас было. Читать я, однако, шустро научился, а писать кое-как. Многое забыл потом. Конечно, не наука это: ни то, ни се. Отец мой не дождался, пока я писарем сделаюсь. Не своей смертью помер: в лесу бревном придавило. Вот они дела-то какие...

Рассказывал все это Галкин очень спокойно, обстоятельно и благообразно и в это время совсем не походил на того суматошливого и неистового человека, каким его видели на собраниях. Он занимался очень усердно и даже спал с лица. Из карманов его шинели, где помещался наган, торчали синие углы тетрадей с закатанными краями, газета, брошюры, они тогда уже начали выходить. Валентин подарил Галкину бумаги, том Лермонтова, «Мертвые души» Гоголя в кожаном коричневом переплете с золотым тиснением и обрезом. Принимая подарок, Галкин весело сказал:

— Прямо чудно, ежели положить такую книгу в моей родной хате. Совсем не подойдет одно к другому, придется перестраивать.

Ванда редко посещала собрания, где выступал Валентин, но помогала вести с солдатами переписку, выслушивала их объяснения и просьбы, давала советы. Нередко Валентин посылал ее в полки и роты с поручениями. Секретарь управления Сереженька к тому времени запутался в новых любовных хитросплетениях. Обольщенные им сестры и фельдшерицы грозили не то отравиться, не то содрать с него кожу. Сереженька уговорил Валентина отпустить его, покинул Койданово в величайшем секрете и сокровенной тайне. Работу его стала выполнять Ванда. С утра в ее комнате у стола теснились представители воинских частей, обросшие жесткими щетинами, с морозными пятнами на лицах. Грубое солдатское сукно терло шеи, топорщилось; пахло тютюном, кожей. Отряхивая снег, оставляя на полу лужи, солдаты наперебой сообщали о митингах, о выборах делегатов, называя Ванду сестричкой; просили оратора, обещая прислать лошадей и «домчать» одним духом. Ванда записывала адреса, время, уговаривалась, расспрашивала. Из-за обступивших ее солдат мелькали ее покатое плечо, черная прядь волос, заложенная вокруг головы коса, розовое ухо, рука с карандашом, доносился ее сдержанный голос. Толпа расступалась. Ванда шла, поскрипывая ботинками на крутых каблуках. Тонкую подвижную талию гладко облегало платье. В глазах стояли льдинки, в то время как по лицу разливался и играл негрубый румянец, точно от легкой лихорадки. Валентин видел ее в полушубке, который с трудом сводился крючками на груди. Каракуль она опять сменила на папаху. Торопливо натягивая перчатки, она подходила к Стрелке; в ушах Валентина отдавался замирающий звук копыт. Она возвращалась из казарм и бараков с пламенеющими щеками от быстрой езды, от ветров и морозов.

Ванда следила, чтобы Валентин обедал, ужинал, не уезжал голодным на собрания. Вечерами она приходила к нему на квартиру, приносила сыр, масло, яйца, хлеб, готовила на спиртовке чай. Валентин брал газеты, рассказывал, что пришлось сделать за день. Ванда умела слушать. Посуда тихо звенела в ее руках. Движения были размеренны. Она напоминала ему сестру, родной уют, мать, отчий кров. Бревенчатые стены

пахли смолой, паклей, вносили лес, глушь, зеленую тишину. Ему казалось, они в мире только вдвоем. Иногда Валентин замечал на себе глаза Ванды, мерцающие, загадочные, изучающие его. У него шумело в голове, было немного страшно и обольстительно. В те дни он увидел всю прелесть женщины, когда в ней зарождается и крепнет чувство. Оно оберегается, таится и обнаруживается лишь во внимании к мелочам, в предупредительности, в заботах, почти неприметных для постороннего глаза, ничтожных, но самых значительных. Иногда за чаем ему нужно было дотянуться до сахарницы на другом конце стола; движение, которое он собирался только сделать, опережала Ванда. Читая газету, Валентин думал, что нужно прибавить света в лампе, и в тот же момент Ванда увеличивала фитиль. Было даже так однажды, он старался безуспешно вспомнить, куда ему нужно поехать завтра и с кем повидаться, и Ванда напомнила ему, будто подслушала его мысли. Старые и вечно юные радости под солнцем! Их переживают каждый раз вновь и так же, как впервые! Взглядов своих Ванда не высказывала, и Валентин даже не знал, что она думает о революции, и почему-то не пытался расспрашивать ее об этом. Не говорили они также и о том, что разделяло их раньше, намеренно избегая этого разговора. Наступали, впрочем, моменты, они сознавали, что им нужно многое объяснить друг другу; их стесняли недомолвки. Однако они боялись: вот-вот будут сказаны какие-то решающие слова. Тогда Валентин первым нарушал молчание, справляясь об очередных делах, вспоминая статью из газеты, бросая шутливое замечание. Ему чудилось, от откровенного разговора исчезнет нечто дорогое. Они были взаимно осторожны в высказываниях, в этом хранилась некая отчужденность, им все же приятная. Они охраняли ее.

О Ванде Валентин знал по-прежнему мало. Говорила она о себе скупо. Ванда рано лишилась отца, обедневшего шляхтича, воспитывалась в Вильне, в русской семье, окончила гимназию. Была у матери единственной дочерью, вместе с нею бежала из Варшавы. Мать служила в Красном Кресте, часто хворала. Пожалуй, этим и исчерпывались для Валентина внешние сведения из ее прошлого.

Изредка Ванда пела вполголоса песни. Голос у нее был нервный, грудной. Она пела о короле, который в последний раз пил из кубка любимой женщины перед

смертью, об испанской цыганке, открывшей в картах свой конец, о девушке, рожденной «на горе большое», о Зосе с кудрями в диком беспорядке, о юношах, погибших за польскую отчизну, о «заповити» Шевченко. Во всех ее напевах поминалась смерть и гибель. Лицо ее делалось строгим, в глазах сгущался мрак. Они делались точно двойными. Ванда созерцала что-то отдаленное и печальное. Как-то она сказала Валентину:

— Скажите, отчего повсюду так много тоски? Я вижу ее в сумерках, в ночи, в искусстве, в человеческой судьбе. Я даже склонна думать, что культура, игры, пляски, романы, живопись, скульптура, даже семья лишь для того, чтобы заглушить горечь скуки и тоски.

О Валентине она выразилась:

— Я заметила в вас много противоречий. Вы хитры и простодушны, внимательны и часто не замечаете, что другим непременно бросается в глаза. Склонны к размышлениям, может быть лишним, вы следите за собой, себя проверяете, подвержены многим сомнениям. Но в то же время вы умеете решительно действовать, очень подвижны, способны на безрассудные поступки. Порой вы даже легкомысленно распоряжаетесь и собой и другими.

— Возможно, вы правы, — согласился Валентин. — Может быть, от природы мне суждено скорее быть ученым или даже писателем. Я люблю психологию, пред русской литературой я чувствую благоговение; а моя жизнь, все, что я видел, толкали меня в ряды революционеров, о чем я, конечно, никогда не жалел и жалеть не буду. Революция научила меня быть решительным. К тому же я беспокоен, ненавижу косность, мещанство, застой, обывателя, люблю большое, огромное, подвижное, люблю также сомневаться, проверять. Не прочь погамлетизировать, но это больше касается моей личной жизни, а не общественной. В интимной жизни я неуверенный человек.

— Это правда, — заметила, улыбнувшись, Ванда.

Один разговор помешал их дальнейшему сближению.

Ванда взяла у Валентина «Дым». Спустя несколько дней, возвращая, спросила, нравится ли ему Тургенев. Валентин ответил: он очень его ценит, Тургенев большой мастер в построении романа. Это искусство русские писатели после Пушкина и Лермонтова утратили. Тургенев лиричен, тогда как Толстой, например, при всех его прочих несравненных преимуществах, иногда сухо-

ват. Для художника важней всего найти меру между субъективным и объективным, у Тургенева она есть.

— А мне скучно читать Тургенева, — заметила Ванда, — и потому именно, что он лирик, особенно в любви. Теперь так не любят, не страдают. Тургенев много выдумывает и приукрашивает. Все стало проще, обыденней, грубей. Да и раньше, вероятно, было не по Тургеневу. Смешны терзания, лунные свидания в саду, в беседках, клятвы в верности, робкие признания. В жизни все это происходит иначе: пошло, глупо и грубо. Лицо потное, взгляд жадный, похотливый, красные руки дрожат, клятвы наглы и лживы, высокие слова — и тут же лапанье, насилие.

У Ванды выступали на щеках пятна и даже подбородок сделался алым, в глазах сосредоточилась неприязнь; коса и пряди волос были мрачны. С поспешной горячностью, забывая еще недавно сказанное, Валентин отозвался:

— Действительно, это убого и противно: первая любовь, вешние воды, неземная страсть, блуждание под окнами...

«Что я нагородил сейчас? — падая духом, возмутился он про себя, вертя ручку. — Кто меня принуждает лгать ей?»

— Вы находите? — переспросила осторожно Ванда, наблюдая за Валентином.

— Я нахожу это крайне смешным. Согласен с вами, — еще поспешней и даже с ожесточением подтвердил Валентин.

«Хуже всего вышло с блужданием под окнами. А случай с портсигаром? Черт знает что...»

Валентин покраснел так, что ему показалось, будто все лицо у него вспухло и сделалось бугорчатым. Он не решался больше взглянуть на Ванду, стал рассеян, угрюм, отвечал невпопад. Ванда скоро ушла. Валентин долго шагал из угла в угол, хрустел пальцами, вздыхал, косился на чемодан, где был спрятан портсигар, потом шумно вытащил чемодан на середину комнаты. «Пускай она увидит портсигар завтра утром, довольно лгать!» — Он положил портсигар на стол. Портсигар ехидно поблескивал. На другой день Валентин опять его спрятал. Спустя несколько дней он вызвал Ванду на разговор о тургеневской любви и снова повторил ей не то, что думал и чувствовал. Он продолжал это делать и позже. Может быть, он начинал эти разговоры,

чтобы поправиться, но у него не хватило решимости сознаться ей. Он находил даже непонятное наслаждение мучить себя неправдой. Будто и в самом деле ему нужно было поддерживать ее. Опять Ванда представлялась недосягаемой и оттого более желанной. Опять он растравлял себя мечтаниями о ней. Ванда неохотно поддерживала эти его разговоры. Мало-помалу он подчинился ее настроению.

Забот прибавлялось. Вокруг Валентина собирались десятки, сотни людей. С ними нужно было видеться, говорить, их убеждать, указывать, что делать. Солдаты сливались в одно страждущее, алчущее новой правды лицо фронтовика-окопника со смертной участью, с боязнью, что их вновь, и в который раз, обманут, — с первыми порывами принять участие в жизни страны, решить вопросы о войне и о земле.

Чем больше охватывал Валентин людей и события, тем сильнее уходил он от частного к общему. Он думал о целом, минуя конкретное. Его уже меньше занимала судьба отдельных людей, их интересы, радости, огорчения, он привыкал ценить человека, лишь насколько он нужен революции. На хозяйской половине у мещанки Гришиной была трехлетняя дочка Люся. В незанятые часы Валентин брал ее в свои комнаты. От Люси пахло детским теплом, пшеничным хлебом — его пекла для продажи ее мать. Синие Люсины глаза, точно укравшие куски неба, дарили то бойкую беспечность, то наивное любопытство, то потешную серьезность, то милые капризы. От нежных щек веяло восхитительной непорочностью. Люсю все занимало, все казалось ей интересным. Она появлялась с куклой из тряпок, с кубиками и сводными картинками. В комнате делалось светлей, предметы и вещи оживлялись. Валентин спрашивал:

— Ну как живешь, Люся?

Карабкаясь к нему на колени и пыхтя, она отвечала:

— Живу с мамой, а у меня штанов нет.

Валентин рассматривал «браслетики», где начинались кисти рук, таскал Люсю на плечах, дарил сласти, рассказывал сказки, укладывал куклу спать. С завистью он погружался в детский забавный мир, в эту страну грядущего и прошлого. Люсю приближала к нему плоть вселенной, ее запахи, цвета, звуки. Теперь Валентин стал реже брать к себе Люсю, иногда даже за-

пирал от нее дверь. Он это делал не потому только, что был более занят, к Люсе он стал и менее внимательным. Должно быть, Люся это почувствовала. Она реже прибегала к Валентину, встречаясь с ним, уже не бросалась, не хватала его своими ручонками за полы шинели.

Отношения с командным составом с каждым днем ухудшались. То, что раньше комендант нашептывал в тесном кругу, теперь открыто говорилось на собраниях солдатами: военными управляет «шпак», не нюхавший пороху, «подозрительный тип», верней всего немецкий агент. Валентин срывает оборону страны, разлагая части, обманывает солдат посулами и небылицами. Все это находило поддержку среди унтер-офицеров, фельдфебелей и вольноопределяющихся, среди служащих Земского союза и Союза городов. На митингах Валентина старательно оттирали, не давали говорить, перебивали, спрашивали, сколько жалованья он получает за свои выступления. Были случаи, когда угрожали учинить над ним расправу или арестовать. В том самом кавалерийском полку, где командир выразил Валентину сожаление, что не может предать его военно-полевому суду, созывались тайные офицерские совещания из представителей различных воинских частей. Валентин не знал, что происходило на этих собраниях, какие предпринимались решения, но офицеры держались уже самоувереннее, растерянность проходила, наступали дни славы Керенского.

X

После одного из собраний, когда Валентин, сдавленный жарко дышавшей толпой, еле выбрался из барака, сзади его кто-то ударил по плечу. Он оглянулся. На него напирал солдат со смешливыми, озорными глазами, в гимнастерке без пояса.

— Ай не узнаешь? — весело спросил он Валентина. — Вижу, забыл, забыл Сашку Метелина. А я — вот он. — Солдат крепко схватил Валентина за локоть, играя каждым мускулом подвижного и потного лица. — Тебя-то я, брат, сразу узнал, по голосу и по вихрам твоим. Ах ты, леший его раздери, думаю: жив греховодник, не повесили разбойника, видно, ничего с нами не поделаешь, топи не топи, все одно, как пробка, наверх выскакиваем. Ну рассказывай!

Он вцепился в рукав Валентина, точно боялся, что тот от него сейчас скроется, решительно тянул от барака в поле, где первая робкая зелень обливалась могучими и вольными потоками солнца.

Рассказывать Сашка Валентину о себе, впрочем, не позволил, тотчас же перебив его:

— Сколько это лет мы с тобой не виделись? С Яренской ссылки, с восьмого, небось, года. Вот они дела-то какие. Кольку Воронова помнишь? Повесили. Андрея Ляпунова знавал? Застрелили при побеге. Дмитрий Ковалев до сей поры кандалы таскал; Никита Славунов, Ванька Телегин, Оська Баранов живы на страх врагам внешним и внутренним. Ты, поди, и меня мертвым считал. Не на таковского напал, дружище. Ничто меня не берет, как заговоренный, право слово, ни крестом, ни пестом со мной не справишься, а почему — шут его знает, почему. Везет. Помнишь, взяли меня тогда в Яренске по боевому делу. Смертником сидел больше года. Судили, судили, да улик не хватило, отправили в Нарым, оттуда я, натурально, удрал. Работал в Петербурге на заводах, полдюжины паспортов сменил. Раза два арестовывали по мелочишкам. Отпускали все-таки. Война потом подоспела. Сначала отсрочником окопался, как работал я снаряды. Только заскучал сильно. Дай посмотрю, какая такая война, и очутился я на всевозможных фронтах. Храбрости я оказался неимоверной. «Наши чудо-богатыри под ураганным огнем в геройской штыковой атаке на плечах неприятеля заняли бетонированную линию окопов», — это, брат, про меня написано. Не веришь, а ежели я тебе георгия покажу, поверишь тогда? Георгия имею. То-то, товарищ. А за что? Послали нас вдвоем на разведку. Дело под Карпатами было. Пробрались мы к австрийцам ущельем; смотрим, домишко, мы к нему, а в нем неприятели. Мы от них, они не заметили нас. В какой-то окопчик попали. Отдохнули, решаем, пора домой. Только мы это из окопчика вылезли, как по нас тарарахнут откуда-то сбоку. Мы за камни, сидим, а носу показать нельзя: тарарахают и тарарахают из винта. Тут меня разум взял. «Давай, — говорю я товарищу, — белый платок подымем, авось в плен возьмут». Надоела мне эта канитель, да и себя жалко. Опять же чужая страна, Европа, можно сказать, отродясь в ней не живал. Повесили мы это платочек на штык, держим, сами за камнями. Не берут, черти. Пришлось нам почти сутки про-

мучиться. Ночью еле-еле уползли к своим, заявились, рассказали про избушку, про окопы, а про платок ни гугу, конечно. Нам сейчас по крестику; очень ценные сведения доставили, подвергаясь смертельной опасности. Смотрим мы друг на друга с товарищем, таращим глаза и чуть от смеха не лопаемся. Прослыли мы тут беззаветными героями. А я к тому же еще по чужому паспорту... Всего не перескажешь. Было всего довольно, и голоду, и холоду, а крови и того больше. Конечно, приходилось, разъяснял про войну, на манер кустаря работал. Жить можно... Теперь, брат, наша взяла, крепко; пупком своим чую.

Валентин и Метелин шли по ровному зеленеющему полю к перелеску, откуда веяло зеленой прохладой. Был Сашка узок в бедрах и широк в плечах, руки имел крепкие, с жесткими, как палка, пальцами. Видно, и давние предки и сам он немало потрудились на своем веку. Левую щеку его от виска до подбородка пересекала зигзагообразная, одинокая борозда, похожая на молнию, странная и совсем неуместная на его простодушном лице. Сухощавый, среднего роста, он шагал легко, покачиваясь, будто говоря: «А с меня все как с гуся вода, и я всем доволен».

Сошелся Валентин с Метелиным в подпольных кружках, когда еще учился в семинарии и носил суконные тужурки со светлыми пуговицами. Метелин тогда работал в железнодорожных мастерских токарем. В мастерских он подобрал, по его выражению, «аховых ребят», молодых, как был он молод и сам. Валентину поручили с ними заниматься. Это был для него первый кружок рабочих, он приступил к занятиям с восторгом и страхом. Отправлялись на лодках по Цне к Трегуляеву монастырю. Первое же собрание по вине Метелина закончилось неожиданно. Валентин тщательно приготовился к беседе, пространно доказывая, что «класс против класса, и в этом вся сущность», в заключение же предложил задавать ему вопросы. На это Сашка ответил:

— Какие же тут могут быть вопросы? Товарищ лектор объяснил нам все до последней точки. Все ясно, нечего даром время терять.

Промолвив это, он потянулся к пиджаку, лежавшему на траве, извлек из бокового кармана бутылку очищенной. Аховые ребята, точно по команде, тоже достали бутылки, колбасу и хлеб. Валентин поджал губы и

был явно огорчен: первая беседа — и вдруг водка! Однако перечить он не решился и оказался волей-неволей в кругу, по которому бутылка ходила не задерживаясь. Поляна скоро огласилась пением революционных песен, что совсем уже не соответствовало никаким конспиративным правилам. Пение было, впрочем, не очень громкое. Вторая беседа по аграрному вопросу закончилась так же, как и первая. Валентин при встрече предложил Сашке от бутылок на собраниях отказаться. Сашка сдвинул картуз на затылок, протяжно посвистал: «В чем дело, товарищ Валентин? Прошу не беспокоиться, мы свое дело знаем. А выпить нам нужно, потому мы на чижолой работе. Допьяна мы не напиваемся, сам видел. Ребята очень даже охотно ходят на ваши лекции. Повеселиться же никогда не мешает. Роскошная жизнь...»

Кружок собирался до поздней осени. Осенью не нашли жилого помещения. Метелин укатил в один из уездов.

Возвратился он оттуда с таинственным видом. На расспросы отвечал уклончиво, но затем признался, что сошелся с боевой организацией социалистов-революционеров, нарезал пули и обучал террористов стрельбе. Удрученный и удивленный, Валентин спросил, почему Сашка отошел от социал-демократов. «И не думаю, — поспешно ответил Сашка, — с чего это ты взял? Рабочему человеку некуда податься от едеков(он именно так и выговаривал: «едеков»). А с есерами спутался — это верно. Шут его знает, почему оно вышло. Я и сам хорошенько объяснить себе не могу. Попросили, вижу, ребята собираются жандармов к чертовой бабушке отправлять. Как тут не помочь им, одно слово, техника, а я в этом деле дока... Люблю. Ну, и завяз...»

Валентин потребовал, чтобы Сашка отстранился от эсеров, пригрозив вмешательством комитета. Сашка дал обещание и, действительно, связь с боевиками оборвал, помогал ставить нелегальную типографию, исправно посещал массовки, приводил новых рабочих. Месяца через три он, однако, снова скрылся, и Валентин не мог отыскать его следов. Пришел он к Валентину неожиданно ночью в широчайшем пальто с чужого плеча, пряча голову в высоко поднятый воротник, сел на кровать, заглянул в окошко, хрястнул пальцами, покрутил головой; шумно вздохнул и сопя промолвил:

— Пожалуй, придется уехать.

— А ты разве здесь находился?

— В том-то и дело, что здесь... Про взрыв слыхал? Машинка-то моего снаряжения.

Взрыв произошел на днях в квартире одного рабочего. Взрыв был огромной силы. В доме погибла девочка лет семи, дочь хранителя бомбы, который скрылся. Причину взрыва установить не удалось, но следствие выяснило, что взорвалась адская машина с часовым механизмом.

— Ты опять сошелся с боевиками?

— Опять, — с сокрушением признался Сашка. — Потянуло на подрывное дело. Тут не какой-нибудь тебе браунинг, есть над чем раскинуть мозгами. Можно такую штучку-невеличку сделать, что весь наш Казанский собор под облака разбросает. Также начальство мне очень опостылело, смотреть не могу на эти превосходительства. Шалишь, голубой кант с эполетом, и на тебя управу найдем. Книжек накупил, комнату у хорошего приятеля снял в пустынном месте, замуровал себя, на воздух неделями не выходил, все читал и опыты разные производил.

— Снаряд-то, должно быть, неудачным вышел, — угрюмо заметил Валентин, — оттого и разорвался невовремя.

— Ты скажешь, — явно обидевшись, сказал Сашка, поднимаясь с кровати и точно собираясь от незаслуженного оскорбления уйти. — Снаряд был вполне аккуратный, по всей новейшей технике. Снаряд такой, что только губки облизывай, банан, а не снаряд. Я в это дело вник до всей тонкости. Могу сделать тебе, не выходя из комнаты. Керосин есть? Сахар есть? Больше ничего не требуется. Надо только знать, как смешать. Нет, машину я сделал справедливую. Разорвалась она от несчастного случая. Положил ее мой товарищ в комод да и забыл его запереть уходя. В доме осталась девчонка его, Надя. От скуки открыла комод она, видит ящик, играть им стала, вертеть и соединила контакт у стрелки часовой. От этого все и получилось. Девочку, понимаешь, жалко, глазастая, белокурая, шустрая была, пальчики неугомонные, веселые... Я все играл с ней и куклу ей заводную сделал хитрой работы... незадача... Роскошная жизнь.

Сашка уехал в Саратов, Валентин потерял его из виду. Встретился он с ним в Яренской ссылке. В ссылке Сашка колол дрова, сплавлял лес, чинил домашнюю утварь, столярничал, пропадал по неделям в лесу на

охоте. Стражники не раз составляли на него протоколы за отлучки, но Сашка делал шкафы для полицейского управления, и исправник ограничивался нравоучением и выговорами. Нрав у Сашки был легкий и добрый. Со многими он дружил, помогал деньгами, потому что зарабатывал больше других, был завсегдатаем на товарищеских вечерах, жег костры над рекой, пел до зари песни, лихо плясал. Комната его в деревушке Ландыши была завалена медными трубками, колбочками, пузырьками, инструментом, книгами по физике, химии и математике. Читал Сашка усердно, лицо его тогда делалось скуластым и упрямым. Политические разногласия и споры занимали его мало, он почти никогда на них не отзывался, но входил в группу социал-демократов — большевиков, не проявляя в ней, однако, заметной деятельности, и легко соглашался с господствующим направлением и духом. От поручений не отказывался, выполнял их умело и своевременно. В ссылке от однообразной и скучной жизни происходило много ссор и недоразумений из-за женщин. Сашка держался от всего этого вдали. Когда говорили о женщинах или передавали очередную романтическую сплетню, Сашка отмалчивался, неопределенно улыбаясь, и все знали, что он живет одиноко, любовных утех и приключений не ищет. Внешность Сашки за эти годы не изменилась, он был по-прежнему молод и крепок, и только борозда на щеке, похожая на молнию, стала проступать более резко. Круг знакомых и приятелей его отличался разнообразием: большевики, анархисты, аграрники, националисты, уголовные, люди, попавшие в ссылку случайно. По старой привычке Сашка продолжал говорить: «Роскошная жизнь».

В «роскошную жизнь» вмешались жандармы. Ранним утром хата, где жил Сашка у одинокой старухи Анисьи, была оцеплена конными и пешими городовыми и стражниками под предводительством самого исправника. Когда Сашку уводили, Анисья проплакала все глаза, причитала, называя его и ясным соколиком, и горемычным, и сынком. В тот же день со всякими предосторожностями под усиленной охраной Сашка был отправлен в Вологду, а оттуда в Саратов. Потом пришли вести, что в Саратове раскрыли боевое дело рабочих-дружинников. Дружина истребляла жандармов, приставов, не гнушалась урядниками, произвела в уездах несколько денежных экспроприаций. Сашке предъявили

статью, угрожавшую виселицей. О дальнейшей своей судьбе он рассказал Валентину при встрече теперь на фронте.

Вечером Метелин сидел за чаем у Валентина. В открытое окно был виден закат, угасавший тяжелой, древней позолотой. Лампу в комнате не зажигали. Играя желваками скул и сцепив на коленях пальцы, Сашка изредка вопросительно поглядывал на Ванду, хлопотавшую у стола. Ванда была в белом переднике сестры милосердия. Сашка уже успел рассказать об окопных мытарствах и боях, о борьбе с командным составом. Обращался он исключительно к Валентину. Ванда усиленно предлагала ему чай. Сашка с поспешной, но рассеянной предупредительностью принимал от нее стакан и, кажется, от этой рассеянности выпил половину самовара.

— Ну, как же, Метелин, — сказал Валентин, когда Сашка на время умолк, — выходит, опять придется работать вместе?

Сашка засмеялся, положив ладонь на стол.

— Придется, ничего не поделаешь. Россия воспрянет от сна и на обломках самовластья запишет наши имена... Вижу, один ты крутишь тут. Вот только не знаю, как быть с моим чудачеством. В изобретатели меня тянет. Свербит и свербит что-то в душе. Интересуюсь электричеством. Черт знает что можно сделать. Дух захватывает. Лучше всякой поэзии и романов. А выйдет ли линия — не знаю. — Сашка тряхнул головой. — Должно выйти, только до того времени много рабочего народа поляжет еще... Не верю я газетам: бескровная, мол, революция и все такое подобное... Всего будет много. Думаю, и стариною придется тряхнуть, бомбы-то я не забыл как делать.

— А вас не пугает все это? — спросила Ванда, сдвинув брови.

Сашка точно издалека посмотрел на нее, просто ответил:

— Мы привыкли. Нас теперь ничем не удивишь. Мы не то что смерть, а и ад самый видели.

— Это правда, — отозвалась Ванда, перетирая стаканы.

Сашка осторожно взглянул на нее.

— Вам тоже пришлось кое-что повидать?

— Революционеркой я никогда не была, а видела для моих лет довольно.

— Да, — промолвил неопределенно Сашка, быстро зажмуриваясь и открывая глаза, как бы отгоняя от себя навязчивый образ.

Когда он ушел, Валентин и Ванда долго сидели вдвоем неподвижно, смутно различая друг друга.

Ванда сказала:

— Среди революционеров много таких людей, как ваш знакомый? Если много, вы счастливы и победите. У Метелина есть спасительное и прекрасное легкомыслие, без него нельзя бодро жить и надеяться.

За окном медленно расплывался великопостный благовест. Закат давно погас, оставив печальный, слабый отсвет.

Метелин стал ежедневно бывать у Валентина. Они разъезжали вместе по району. На собраниях Сашка выступал редко, а выступая, говорил кратко, с добродушной хитринкой и с шутками, наклоняясь к солдатам: вот-вот спрыгнет и начнет тормошить слушателей; после своих выступлений над собой посмеивался. Неоценимую помощь он оказывал своими знакомствами. Достаточно ему было побывать в полку, и у него появлялись приятели, земляки, «верные люди», «надежные человечки». Он ходил окруженный ими, балагурил, смеялся, поучений и бесед длительных не вел, а действовал на солдат всем своим видом и рассказами. Из знакомых составлялись группы будущих большевиков, делегатов, руководителей солдатскими комитетами. Близко, однако, Сашка ни с кем не сходился не только потому, что ему было некогда, но и по своему укладу. Поведением и своим отношением к людям Сашка говорил: вы очень хорошие и нужные; я рад, что вы такие, готов идти и быть с вами; я сам простой, но связывать себя не позволю. Я ценю больше всего вольность и независимость. Он знал себе цену, хотя и не выставлял себя напоказ, не кичился, и это чувствовал всякий, кто узнавал его ближе. Уверенность в себе давали ему богатейший жизненный опыт, скитания, пренебрежение к опасностям, знания, которые он приобрел самоучкой.

Метелин любил порассуждать. Около Мира, глядя на развалины замка, он говорил Валентину:

— Вот живущие люди все думают, что они самые умные и что с них только и начинается настоящая жизнь, а то забывается, что до них трудились и жили, может, миллионы лет. И знали, наверное, не менее нашего. Например, пирамиды, мумии; статуи, например, в Древней

Греции. Читал я также про коммунистические государства не то в Мексике, не то еще где-то, — про Атлантиду также читал. Шут их разберет, что у них там было. Опустилась земля за какой-нибудь один час, и все насмарку. А там, может, додумывались до того, до чего нам не скоро дойти.

Развалины смутно выступали из мрака. Сашка посмотрел на спокойные звезды.

— Узнать бы, что там делается. Я так полагаю: когда человек узнает это, будет ему свободней и легче. Тайное всегда беспокоит и гнетет людей. А знаем мы о звездах совсем пустяки какие-нибудь.

...Круг связей благодаря Метелину у Валентина необычайно расширился. Не было почти ни одной войсковой части в районе, где не имелись бы свои люди. Валентин наблюдал, как изуродованный и униженный человек освобождался от своей вековой страды. На одном собрании неизвестный солдатик, пепельно-серый, обмолвился: «Мы теперь перестали бояться». Это были самые значительные слова. Вся прежняя государственная мудрость укладывалась в краткое положение: лишь бы боялись. Теперь Валентин наглядно видел, как проходил страх в человеке: молодели глаза, наполняясь самонадеянностью и тем открытым выражением, какое бывает только у свободных людей; с лиц исчезало напряжение, тупость, покорность, равнодушие; солдаты переставали озираться на улицах, искать начальство глазами; походка делалась размашистой, нестесненной, и как хорошо было наблюдать, когда солдат, поравнявшись с офицером, еле поднимал руку к козырьку, а часто не делал и этого! Даже небрежность в одежде, отсутствие пояса, нечищенные сапоги, болтающийся на плечах погон, шинель нараспашку — радовали.

Изгонялся страх из человеческой души — самое темное и позорное чувство! — и люди делались доверчивыми и общительными. Повсюду: на станциях, у бараков и госпиталей; в поле, на лужайках, на дворах и задворках солдаты сбивались в тесные кучи, и неугомонная, бойкая речь, пестрая, разноголосая, взметывалась, оживляя окрестности. Так в весеннее половодье, ночью, в туманах и в хмури, в предрассветной тишине ломается лед на реке; река приходит в движение; над рекой — таинственные шорохи, звонкое журчание, — сталкиваются льдины, обламываются края, глыба наползает на глыбу, и где-то дальше лед крошится, мельчает, чтобы

превратиться в полые, сплошные воды, разлиться без конца, без края, оросить поемные луга, снести зимний мусор. Люди обламывали, узнавали друг друга, будто впервые сошлись. Недавно разрозненные, разобщенные страхом, они соединялись в одно целое, с одним стремлением.

Случилось, Валентин возвращался домой с митинга. Солдаты оттеснили группу офицеров, пытавшихся овладеть собранием. Сделали они это умело и словно по уговору, хотя Валентин знал, что никакого уговора не было, — уменье же они обнаружили в том, что требовали от «приезжего товарища» продолжать речь, а после него выступали сами. Батальон находился в верстах двух от Койданова, и до околицы Валентина провожал нескладный, здоровенный солдат, Митрий Телегин, с копной волос соломенного цвета. От Митрия шло тепло. Наклоняясь к Валентину, он вежливо и смущенно просил:

— Простите на слове, вы из которых будете?

Валентин кое-что рассказал о себе.

— Значит, вы из тех, кого ловили и в тюрьмах держали? Вот это хорошо, — промолвил Митрий низким влажным голосом. — Давно хотелось повидать. Бывало, лежишь у себя в Никитском на полатях и думаешь: где бы хоть одним глазком глянуть, кто живот свой не жалеет за народ. Слух идет: есть такие, а не видно нигде; крепко их прячут. До того хотелось послушать, что даже во сне снилось. Будто отворяется дверь глухой ночью и входит человек неприступного виду, черный, с суковатой палкой, прихрамывает, взгляд сурьезный, брови густые, голос громкий. Снял шапку, перекрестился и говорит: «Здесь живет Митрий Телегин?» — «Здесь». — «Вставай, Телегин, телку у тебя лихие люди увели». — Я с полатей — на двор. Телки нету. «Что же мне теперь делать?» — спрашиваю черного человека. Стукнул он оземь палкой: «Бунтуйси, Митрий Телегин, бунтуйси!» — «Как же мне бунтоваться? Не знаю я». — «А ты оглянись», — отвечает. Оглядываюсь я и вижу: текет река, а прямо по воде — костер, и разгорается все он сильней и сильней, мечет во все стороны синий огонь, изгибается пламя, и вода шипит под ним. Слышу — за рекой набат, шум великий, и будто кто стонет. А над костром уж птица распластала крылья. Обращаюсь я к черному человеку, спросить хочу, а его около меня нету, пропал... Расспрашивал я про тот сон. Дед сказал:

к ведру это. Был еще у нас сталовер-начетчик, Силантий. Тот объяснил: «Неопалимую купину, — говорит, — видал ты, Митрий. Ежели горит костер и не сгорает на воде, то и есть эта самая неопалимая купина. Зовет она тебя к святой жизни». Известно, от писания все у него. А я все про себя думал другое: не может быть купина. А телка к чему приснилась? Телка к святости совсем не подходит. Тут все дело в черном человеке, и что про бунты он мне говорил. А как бунтоваться, я не знал, и даже покоя от этого не имел. Теперь понял... Никогда все-таки не ждал не гадал, что будет у меня встреча с человеком, который за народ, у самых окопов. Дураком бы назвал, кто про это год тому сказал... Премного благодарен. За глупый наш разговор не будьте в обиде.

Валентин подал Митрию руку. Она потонула в широкой, теплой ладони, добродушной, как у врубелевского лесного Пана. На лесного Пана походил и весь Митрий, с дремучими желтыми глазами, с густыми бровями, с увалистой походкой и крепкой, хотя и топорной работы, мохнатой фигурой.

Валентин шел теперь один лугом. Земля была рыхлая, желанная. Сыроватый ветер затихал. В небе бродили неплотные темно-синие тучи, тихие, низкие. Вечер мягко и неслышно обнимал землю, тушил голоса и звуки. Валентин еще ощущал рукопожатие Митрия, видел правдивое, надежное лицо, смущенную улыбку. Во всем теле Валентина была такая легкость, будто он растворился в воздухе, во всей вселенной. «Дайте мне человека, я с человеком хочу возиться», — припомнились слова Писарева. Да, это прекрасно — возиться с человеком! Никогда еще так не верилось человеку, никогда не виделось в нем столько радостного, никогда он так не обнадеживал... Перед Валентином легло скорбным свитком, мрачной хартией страданий русское художественное слово: горькие повествования о бессмысленно загубленных жизнях, о власти случая, о юности, размыканной где попало, в лишениях, в казематах, о жалких Акакиях Акакиевичах, о Соне Мармеладовой, об Антонах Горемыках и подлиповцах, о талантах, не нашедших своего пути, о тайге и Сибири, о диких забайкальских степях и Сахалине, о лишних людях, о замученных и казненных. Все это под звон и лязг цепей сливалось в надрывный стон, в рыдание и вопль: «Волга, Волга! Весной многоводной ты не так заливаешь по-

ля, как великою скорбью народной переполнилась наша земля!» И вот все это прошлое. Ничего этого больше не будет, не может быть!.. «И будет в тот день: снимется с рамен твоих бремя его и ярмо его с шеи твоей... и будет препоясанием чресел его правда и препоясанием бедр его истина... и в радости будете почерпать воду из источников спасения...»

Земля лежала в истоме, в предчувствиях. Валентин замедлил шаг, посмотрел на запад, где проходила линия фронта. Там было тихо. На ближней березе с голыми ветвями встрепенулся сонный грач, забил крыльями, снова повис черным комком. И далекая, грозная черта, где в окопах солдаты сторожили судьбу свою, и война, и гибель корпусов и армий стали для Валентина незначительными по сравнению с тем, что произошло в стране за последние два месяца.

...Утром Валентин отправился в лагерь одной из дивизий, верстах в десяти от Койданова. С Валентином поехали Сашка, Галкин, Ванда. Дорогой Сашка рассказывал, как сдавали Брест. Галкин ожесточенно понукал лошадей, уверяя, что непременно опоздают к собранию. Ванда рассеянно оглядывалась по сторонам. Приехали вовремя. Солдаты недавно занимали передовые позиции на беспокойном погорельском участке, еще не оправились от окопов, имели изнуренный вид. Собрались на лугу близ перелеска. На опушке лежала груда бревен, ее и сделали трибуной. Собрание открывал давно не бритый прапорщик, со впалыми щеками и глубоко сидевшими глазами. Рядом с ним стоял на бревнах в сером пальто человек с длинными и бледными руками, лет под сорок. Теребя подстриженную клином светлую бороду, он спокойно и внимательно серыми глазами, немного исподлобья оглядывал собравшихся. Их было не меньше тысячи. Прапорщик поднял руку:

— Объявляю собрание открытым. Слово предоставляется товарищу Веретьеву от партии социалистов-революционеров. Товарищ Веретьев лишь недавно возвратился из Сибири, где отбыл десять лет каторжных работ за то, что боролся с царскими сатрапами. Жизнь его принадлежит народу и революции. Предлагаю приветствовать...

Раздались дружные хлопки. Веретьев неловко и с недовольным видом снял широкополую шляпу, поклонился, провел рукой по откинутым назад льняным волосам, открывавшим большой, чистый лоб, обвел ум-

ными глазами собрание. Говорить он начал тихо, глуховато, так что задние ряды надвинулись на передние. Но неожиданно после первых слов глаза оратора помолодели, голос окреп, стал звучным.

— За привет спасибо, товарищи. Нужно, однако, вспомнить не только тех, кто остался в живых, кто счастливыми глазами видит освобожденный народ, надо помнить прежде всего сложивших свои головы на кровавой, но почетной плахе. Народ, вы, фронтовики, твердо должны знать имена Желябова, Перовской, Каляева, Балмашова, Сазонова. Вы должны свято чтить и тысячи безымянных героев, павших в неравных боях. Во имя чего они отдавали свои жизни в расцвете и силе? Они погибли за народоправство. Это — великое слово. Народоправство — это равенство всех граждан перед законом, одинаковое участие в управлении государством, свобода вероисповедания, слова, собраний, неприкосновенность личности, жилища.

Далее Веретьев подробно изложил, как человечество медленно, шаг за шагом, тысячелетиями, освобождаясь от тьмы и невежества, вырабатывало эти понятия, жертвуя цветом неисчислимых поколений, гениями и светочами, своими самыми храбрыми и справедливыми людьми. Теперь на каждого из сынов народа ложится обязанность осуществить на земле русской гражданские права. Особая ответственность — на нашей армии. Есть люди, они пытаются сорвать оборону отечества; они пользуются вполне понятной усталостью солдат от войны, преступными ошибками царя и его слуг; бросают заманчивые и якобы революционные лозунги мира и хлеба. Их нужно остерегаться. Хотят ли рабочие, крестьяне снова стать илотами, презренными рабами? Если не хотят, они должны защищаться.

Веретьев говорил уже властно и непреклонно. Иногда он делал краткие паузы, жестикулировал правой рукой; нервные пальцы мелькали, сообщая всей фигуре его и его словам подвижную выразительность. Луговой ветер теребил его волосы. Одна прядь часто ниспадала на правый глаз. Веретьев откидывал ее быстрым и нетерпеливым движением. Над ним, над солдатами, проложенное крутой, неувядаемой синевой, изгибалось небо, высокое солнце опаляло головы и плечи, сосны и ели дышали разогретой смолой, и невидимые жаворонки над жнивьем рассыпали живые трели; однообразные, но которые не устаешь слушать и, слушая, всег-

да думаешь о молодости, о весне и неуловимом счастье.

Солдаты внимательно разглядывали Веретьева. В собравшихся было что-то набухшее, тяжелое и в то же время наивное и пытливое. Рядом с Валентином вытягивал короткую шею солдатик с красными ушами, губастый и конопатый. Он держал раскрытым рот, — высоко подняв брови и выкатив глаза, почесывал плечо. Статный унтер-офицер выпячивал грудь, шевелил усами, подбоченивался, бросая на солдат привычно-начальственные взгляды. Круглолицый «кацап», мордастый, беззвучно шевелил потрескавшимися губами. Справа от него брюнет смотрел на Веретьева с неподдельным восхищением, склонив набок крупную голову, а его сосед имел вид жалостливый. Дальше Валентину были видны затылки, спины, чаще всего сутулые, и плечи, устало осевшие.

Веретьев закончил речь призывами поддерживать Временное правительство. Ему изрядно похлопали.

Валентин вместе с Галкиным стал настойчиво пробираться к бревнам. Записать его оратором должен был Метелин. Но на бревнах неожиданно появился матрос. Матрос был высок и черняв, в синей блузе, открывавшей грудь, на которой ключицы не выдавались.

— Слово принадлежит матросу Балтийского флота товарищу Никитину, — протяжно провозгласил председатель.

Матрос широко расставил ноги, точно находился в бурю на палубе, поправил фуражку-бескозырку, наклонил над толпой голову, и тогда его тонкие черные брови повисли над ней, как крылья коршуна в далеком небе, он поднял правую руку, держа расправленную ладонь так, что ее было видно слушателям, и тут же сильно сжал ее в кулак.

— Товарищи! — начал он полным баритоном. — Товарищи! — повторил он тоном выше. — Нам объяснили сейчас про разные права, про свободы и про Временное правительство: очень оно заботится о нас, трудящих, и даже ночей недосыпает. Позаботиться, верно, о нас давно пора, потому рабочий и крестьянин скоро дойдут до окончательного положения, что придется с винтовкой охотиться за селедкой.

Среди слушателей раздался смешок. Поощренный матрос еще больше оживился, налился новой энергией, вытянулся, будто тетива на луке.

— Говорили нам также про войну, но только каж-

дый из нас вполне испытал ее на своей холке и может рассказать про нее не хуже всякого оратора. От этой самой войны довольно мы пузырей попускали в морской и пресной холодной водичке и помахали на прощанье и светлому солнышку, и родным местам, и матерям, и женам, и детям своим! А кто из окопников не помнит, как лежали они изорванные сквозь снарядами, и не было ни бинтов, ни ваты, ни иоду, ни докторов, ни носилок, ни кроватей, и люди заживо сгнивали, что невозможно было к ним подойти? Помните, товарищи?

— Помним! — ответили угрюмо несколько солдат.

Толпа подалась к матросу. Слушатели, сидевшие на бревнах и кое-где на земле, поднялись и скучились.

— А помните, товарищи, как посвистывают пульки в ушах, когда вылазишь из окопов, а впереди колючая проволока, на которой повиснешь в минуту и будешь потом приманивать ворон и галок? Как ждешь в окопе сменки в мочи, в дерьме, в грязи, во вшах?

— Помним! — дружно ответили солдаты, шевелясь от края до края и взметывая к матросу головы.

— Помните, как выдавали по десятку патронов, как батареи наши были без снарядов, а в нас шпарили ураганным огнем, засыпали из пулеметов, забрасывали ручными гранатами и в это самое время врали про нас газетные лизоблюды и наемные негодяи? Как отсиживались эти прохвосты в тылах, торговали войной, смертями и ранами нашими, покупали в постели наших жен и детей голодных? Помните?

— Помним! Помним! — загремело собрание.

Крики вылетали из глоток хрипло и зловеще. У солдат приподнялись плечи, краской наливались напряженные лица, набухали жилы на шеях. У многих выступила испарина, повисли мутные капли пота. Место, где говорил Никитин, теперь окружало широкое, неподатливое кольцо; сквозь него уже нельзя было пробраться. Иногда казалось, толпа дышит одним глубоким и тяжким дыханием, глядит одними глазами и слушает одним ухом. Впереди всех, у самых ног матроса, сложивши руки на груди, переминался нетерпеливо солдат с забинтованной шеей. Под тонкой, туго натянутой кожей, сведенной около ушей в мелкие складки, заметно трепетала и пульсировала кровь. Солдат то радостно вглядывался в Никитина, ловя его слова и движения, то осматривал соседей несколько удивленным,

торжествующим и победным взглядом. Взгляд этот говорил: «Вот каков наш брат! Что вы на это скажете?» Он искал поддержки и приглашал во свидетели. И то же самое чувство удивления, торжества и гордости за «своего брата» можно было найти на лицах и других слушателей.

Матрос продолжал:

— За что же мы пропадали два года, товарищи? Спросили нас, когда начинали войну? Нет, не могли, не смели нас спросить. Затеяли беспощадное истребление, кто сам никогда не воюет и не работает. Нас и теперь не спрашивают, нам говорят, что о нас позаботятся, а наше дело наступать, резать других, помирать самим и ничего боле. Выходит — опять все по-старому. Не будет этого! Не наша война! Нам нужен труд, хлеб, мир, а до этих культур и гражданских правов, какие изъяснял нам подробно оратор есеровской партии, доберемся опосля. Когда человек лежит с кляпом во рту, то нельзя его просить песни петь, — нужно ему этот самый кляп вынуть. Война и есть этот кляп. Пропади они пропадом, эти культуры и разные свободы, ежели гонят нас на убой за Дарданеллы и проливы. Есть такие люди, большевиками прозываются; про этот кляп они одни говорят правду. Их и надо слушать. Таким манером, товарищи, думают у нас в Питере рабочие, солдаты, матросы, у кого есть настоящее понятие.

Никитин стал разъяснять, чего хотят большевики. Было видно, что о большевиках он узнал недавно и что взгляды их он усвоил только на митингах и, может быть, по брошюрам, — но именно поэтому каждое слово, мысль, являвшиеся для Валентина общим местом, звучали у матроса настоящим откровением, сообщая его речи дикую и страстную силу. И даже там, где он терял нить, путался, его спасала эта сила прозелита. И Валентин слушал матроса с волнением.

Веретьев стоял неподвижно перед толпой, шагах в двух от Никитина и вровень с ним; опустив голову, он мял в руке шляпу, изредка потирая лоб, точно отгоняя и стирая с него назойливые и досадные мысли. Внешне он был очень спокоен, даже задумчив. Солнце и небо оттеняли бледность и желтизну его лица, на нем лежала пепельная паутина. Ее хорошо знал Валентин: она опутывала человека в долгих тюремных заключениях. От них же легли горькие складки вокруг рта, отекли щеки, темнели круги под глазами. «Стоит, точно

осужденный», — пронеслось в голове Валентина. Это была правда. Веретьев имел вид обреченного. Понимал ли он, что происходило? Происходило же нечто для него очень трагическое. Старый народник, он поклонялся народу, как святыне, за него страдал и горел. Теперь он стоял перед свободным народом, обращался к нему, и народ не принимал его и не понимал. Народ остался глухим к его призывам осуществить «правду-истину и правду-справедливость». Его идеализм, преклонение перед культурой, перед завоеваниями человеческих рук, ума и сердца, его человечность оказались слишком далекими от этого самого народа, потому что были неопределенны и отвлеченны. Больше того, возвышенные понятия прикрывали собой злые, алчные дела, одурманивали народ, отдавали его на потеху и на потребу прожженным дельцам, словоблудам и краснобаям, отвлекая внимание этого народа от его исконных нужд. О них напомнил солдатам не старый политик-каторжанин, а полуграмотный матрос, едва ли даже усвоивший начатки революционной борьбы. Воистину отнимется у мудрого и будет дано неразумному! Какая насмешка! Оказаться вне жизни и против жизни, обмануться самому и обманывать народ, когда приблизился его двенадцатый час! По библейской легенде, бог показал Моисею землю обетованную лишь с далеких Моавитских гор. Моисей был счастливее Веретьевых. История привела их в Ханаан, в землю Авраама, Исаака, Иакова; Веретьевы не узнали ее. Но тут было еще и более значительное. На собрании произошло одно из первых знаменательных столкновений двух эпох: одной, обращенной к заветам, к лишенным мускулов и крови общим принципам, к «священным правам личности», — и другой, целиком направленной к непосредственному и неотложному, без чего человеку труда нельзя дышать. Валентину представилось будущее. Под обломками прошлого похоронит оно прекраснодушные «заветы», отвлеченную справедливость, «критически мыслящую личность» без определенного содержания и трогательную жертвенность, не связанную, однако, с хладнокровным расчетом и учетом условий, мечтательность и вместе с ними интеллигенцию, как «умную ненужность», лишенную корней в стране, далекую от хозяйства, от быта и от истории. На этих развалинах будущее утвердит пусть грубоватую на первое время, но ясную, точную и простую жизнь во имя удовлетворения нужд самых неот-

ложных и насущных. Земля растерзана, уничтожен труд поколений. Нужны будут инженеры, архитекторы, химики, агрономы, строители, а не дяди Вани, не интеллигенты Успенского с надрывами и не Веретьевы.

Никитин продолжал говорить. Лицо его опалялось красными пятнами, глаза блестели исступленно, пот обильно стекал на грудь, и было видно, как под матроской переливались и дрожали мускулы. Одной рукой он ловил воздух, другая была опущена и сжата в кулак так, что коричневая кожа на мослаках белела, туго и сильно натянутая. И не столько от его слов, сколько от всего его вида, от его необузданной и сокрушительной стремительности и веры Валентин увидел за матросом новую революционную столицу: дымные предместья с почерневшими трубами, туманно-холодные проспекты и линии, то замершие в угрозах, то переполненные беспокойными толпами. До него долетело прерывистое, лихорадочное дыхание города, поднявшего раньше других победоносное знамя восстания, — размах борьбы, столкновений, обострений, ненависти, надежд, —он услышал новую дикую и вдохновенную симфонию, понял, что единомышленники крепнут в суровых, смертоносных боях. «Да, я отстал, сидя здесь в захолустье. События опережают меня». Валентину захотелось скорее уехать из Койданова, встретиться со старыми друзьями по работе и подполью, узнать новости, о которых не сообщается в газетах, побывать в родной, привычной среде. Ехать, ехать...

Матроса провожали криками и хлопками, более дружными, чем Веретьева. Очередь была за Валентином. Поднявшись на бревна и оглядывая собравшихся, Валентин угадал уже чутьем, что скажет нужное и скажет хорошо, что между ним и слушателями скоро установится внутренняя связь и понимание, дающие уверенность оратору, и победа над Веретьевым будет несомненная. Подъем, который он испытал, требовал выхода, и этим выходом должна стать аудитория. Валентин не пожалел противника. Сначала он посмеялся над его рассуждениями, заметив, что на большой высоте в горах воздух чист и прозрачен, но разрежен, там холодно, пусто, лежат нетающие снега. Не лучше ли спуститься из безгрешного царства духов в долины, где пашни, пастбища, жилье, труд, люди? Здесь говорили о войне. Кто прав тут, кто виноват? И он рассказал кратко, как разные политические партии держали себя с

объявления войны, потом разъяснил, кому нужна война. Что же происходит сейчас? Есть старинная индусская легенда: ворон увидел мертвую тушу слона в море, опустился на нее, стал жадно ее клевать. Пока он клевал, туша была унесена от берега волнами далеко в открытое море. Тогда ворон закаркал в последнем смертном ужасе. Современное общество — разлагающаяся туша. Вороны, империалисты, жадно клюют эту тушу, дерутся между собой, не замечая, что их уже сторожит гибель. Русская революция — первая весть о гибели. Эту гибель надо ускорить. Что делать для этого? Валентин изложил очередные большевистские требования.

Солдат с головой и ухом, изуродованными сабельным ударом, стоял у бревен, спросил Валентина:

— Идти ли нам в наступление?

— Нет, идти не надо! — ответил Валентин. — Надо наступать на тех, кто посылает вас в наступление.

Гул одобрения встретил его ответ. Председатель не выдержал, подавленным голосом крикнул:

— Так могут говорить только изменники и тайные агенты Вильгельма!

Метелин, находившийся между Валентином и председателем, воспользовался паузой:

— Запишите, товарищ председатель, и нас, рабочих и солдат, в эти самые агенты. В компании веселее. Об агентах мы от слуг Николая слышали и от немки Алисы. А я скажу вам: вся ваша война не стоит одной жизни солдата.

— Верно! — раскатилось по собранию.

Галкин вскарабкался на бревна, махая руками, завопил:

— Обман, товарищи, обман, говорю я вам! Нас хочут снова околпачить.

Председатель призвал к порядку, наклонился к Сашке и, покачивая головой, что-то зашептал ему. Когда Валентин закончил речь, прапорщик, видимо, обеспокоенный, что сочувствие слушателей было на стороне матроса и Валентина, поспешил закрыть собрание.

Пробираясь к подводе среди солдат, Валентин столкнулся с Веретьевым, задев его плечом. Веретьев, неприязненно взглянув на Валентина, отвернулся. У подводы к Валентину подошел полковник. У него были азиатские, резко поднятые к вискам брови, большие скулы, серебрились виски. Глядя холодными, непрони-

цаемыми глазами, он вежливо спросил, не может ли Валентин его выслушать, потом внятно, взвешивая слова, сказал:

— Я — враг ваших теорий и, надеюсь, останусь им до конца. Но в одном вы правы: под руководством Керенского и его сторонников войну продолжать бессмысленно. Болтуны, ротозеи, армии не знают. У вас же есть своеобразная сила, есть прямые ответы. Вы настоящие враги. Уважаю.

Он подал сухую и маленькую руку.

Сашка Метелин и Галкин остались в полку «для закрепления». Дорогой Ванда односложно и неохотно отвечала на вопросы; когда отъехали верст пять, промолвила:

— Вы говорили сегодня о косматых протуберанцах, охвативших страну. Я в это время вспомнила: раскаленные массы солнечной материи, в которых легко смог бы потонуть весь земной шар, взметываются в несколько минут на высоту, большую, чем от Земли до Луны. Ужасное зрелище! После речей, ваших и матроса, мне в первый раз сделалось страшно революции. Ни вы, ни Никитин не посчитались, что перед вами старый каторжанин и, очевидно, самоотверженный, честный и исстрадавшийся человек.

— Я делал то, что было необходимо. Он нападал на нас. Многие из моих друзей перенесли не меньше его.

Ванда зажмурилась, точно ее глазам сделалось больно, закусила губы, сидела некоторое время как бы в забытьи, покачиваясь от тряской езды. Рука ее лежала на коленях, чуть-чуть вздрагивая. Валентин наматывал винтом на черенок плеть кнута. Открыв глаза, Ванда сказала:

— Вам нечего больше сказать мне?

— Нет, нечего... Впрочем... я решил скоро уехать из Койданова в Петроград. Поедете, панна Ванда, со мной?

Ванда долго не отвечала, опустив голову. Ее ресницы были неподвижны, брови сошлись у переносицы, углы рта нервно шевелились, подбородок отвердел. Она перевела взгляд на одинокую кривую березку, стоявшую у дороги, и медленно сверху вниз осмотрела ее. Валентину показалось, что на березке остались следы раздумий Ванды и всего, что прошло перед ней в это мгновение.

— Не знаю, — ответила она далеким и чужим голосом. — Не знаю, я скажу вам потом... мне нужно обо

многом вам рассказать. — Теперь ее голос звучал ближе и проще.

— Хорошо, я подожду, — сказал Валентин, натягивая вожжи. Впереди дорога шла влево.

— Посмотрите, какой закат! Вы даже не замечаете его. — Ванда слабо показала рукой.

Солнце скрылось. За лесом лежала прозрачно-золотистая нежная полоска. Свет вечерний. В ней были молчанье, угасание, прощальный привет. На дальней позолоте тонко обрисовывались зубчатые темные лики молодых елей, строгих, еще более нежных, чем закат, тихих и легких. За ними чудились Русь, глушь, неведомое, родное, давнее, обещанное и еще не выполненное.

...По делам выборов Валентин дважды ездил в Минск. Там встретил он Гортанова и Гольцмана. Гортанов держал себя осторожно, о происходящем высказывался уклончиво.

— С некоторыми оговорками, — говорил он Валентину, — я интернационалист, но считаю большевистскую нетерпеливость опасной, а оценку момента сомнительной. Нельзя относиться к Чхеидзе как к врагу рабочего класса. С другой стороны, для солдатской массы, конечно, нужны понятные, крайние лозунги. Иначе движение может пойти по анархистскому пути.

Гортанов не покидал поста уполномоченного, в работе среди солдат участия не принимал, но его можно было увидеть и в Минском Совете, и среди большевиков, и меньшевиков, и даже с социалистами-революционерами. Гольцман утверждал, что Гортанов стремится пролезть в исполнительный комитет фронта, не примыкая пока ни к кому и рассчитывая на поддержку главных партий. Сам Гольцман пребывал в растерянности и недоумении. Он поблек, ничего не делал, собирался уезжать в Екатеринослав на прежнее место секретаря больничной кассы, ссылался на усталость и на то, что многое непонятно.

— Раньше все было ясно, теперь надвинулась стихия, неизвестное. Не знаю, куда себя деть, к чему приложить руки. Винтовки, солдаты, кровь, война, демагогия партий... Лучше взять какое-нибудь незаметное, но верное дело, а какое — не знаю.

Гольцман действительно вскоре уехал на юг, и с тех пор Валентин потерял его из виду; Гортанов же, к слову сказать, и сейчас здравствует, занимает посты, дол-

го на них не держится, но отнюдь не унывает и идет по линии восходящей.

В исполнительном комитете Валентин увидел Фрунзе. Облокотясь рукой на стол, он сидел и беседовал с солдатами. Потом он неспешно откинулся к спинке стула, засмеялся, переводя лучистые глаза, окруженные мелкими морщинами, с одного солдата на другого. Он умел смеяться не громко и не сильно, но всем своим видом; смех у него начинался с глаз, переходил на губы, распускались щеки, а лоб собирал в складки; улыбалась вся его добротная и приветливая фигура, подаваясь к собеседнику. Валентин вспомнил, как во Владимирском каторжном централе новый начальник Гудима, палач и иезуит, искал случая выпороть Фрунзе, придирался к мелочам; все же он не решился с ним расправиться. Валентин хотел подойти к Фрунзе, напомнить о себе, но надо было спешить к поезду.

Выборы в Койдановский Совет прошли успешно. Командный состав рассчитывал провести своих делегатов не менее половины, а прошло их не более четверти. Офицеры были выборами недовольны. Среди них стали раздаваться голоса, что надо выделиться и выбрать особый офицерский совет. С Валентином многие не разговаривали, не раскланивались. Появились группы украинских националистов. Это, очевидно, было делом Петлюры. Собрания и митинги от Валентина старательно скрывались. Еще чаще ему не давали слова, перебивали во время речи. Он получал анонимные письма; в них его ругали жидом, предателем, антихристовым семенем.

Метелин и Галкин в числе прочих тоже были избраны в Совет. Ванда сшила Галкину пышный красный бант. Галкин в первые дни то и дело косил глаза на бант, трогал его заскорузлыми пальцами. Он успел нахвататься иностранных слов, нередко их коверкал и перевирал. В своих речах он упоминал теперь о ситуациях, об аграрных делах, о том, что момент у нас принципиальный, угрожал противникам «полной трепанацией черепа и печенки». Все это сдабривалось выкриками и поучениями: «Напирай шибче, хватай их за самую главную косточку, впивайся зубьями в самое мягкое место!» Он очень уважал себя и о себе выражался: «мы пошли», «мы сказали», «нас повезли». Суматошлив, однако, был чаще всего только на митингах, которые выбивали его из колеи. В обычной работе он подавал дельные

советы и за два месяца действительно многому научился, преданности же был необычайной. И по-прежнему он любил и ценил Валентина и Ванду.

XI

Валентин и Ванда возвращались из Столбцов. Весенняя ночь в теплых, вздрагивающих звездах густо и глухо почила на полях, лугах и перелесках. Дул влажный ветер. Он приносил запахи древесного перегноя и раскрытого запáшками чернозема. С запада доносился невнятный гул тяжелых орудий, и на краю горизонта, где за несколько десятков верст пролегали окопы с проволочными заграждениями, расползалась белесо-мутная, еле различимая полоса. Недавно прошли дожди; застывающая грязь звучно и вкусно чмокала под копытами лошадей. В стороне, справа, журчали невидимые воды. Валентин и Ванда сидели рядом в узком тарантасе. Правила Ванда. Ночь преображала кусты, деревья, строения, окрестности, погружала их в мохнатую, бесформенную первобытность, напоминала о детских страхах, о черных межпланетных пустотах, о мириадах недоступных миров: она уводила от дневных мыслей, плоских и ясных, в область смутных воспоминаний, предчувствий, полуосознанных, дремотных мыслей, лишенных суеты. Все полузримо, полуслышно. Ощущение не достигает полноты. Предметы не за порогом сознания, но и не в поле его. Кругом все мерещится, живет неверной, зыбкой жизнью, являет лишь тайнопись вещей, звуков, их иероглифы, не обманывает, но не говорит и правды. Такой же смутной, сумеречной делается и душа.

Ванда казалась Валентину тоже другой. Она сливалась с таинственным ночным мраком, приобретала двойное бытие, он чувствовал ее в своей крови, — она томила нерассказанной и неразгаданной радостью. В теплоте, какая шла от нее, в нечаянных прикосновениях передавалось молодое, запретное тело. Было немного жутко от этой близости, от глаз, затемненных ночью, от движений, скрадываемых мраком. Ехали долго молча. Ванда изредка понукала лошадей. Миновали деревню, затерянную в полях, окруженную стогами сена, соломы, которые казались теперь огромными. У Валентина затекла нога, он привстал, усевшись, сказал Ванде, что получил из Петрограда письмо. Товарищи находят его

дальнейшее пребывание в Койданове неоправданным, предлагают работу на юге или в Москве. Пожалуй, Койданово придется оставить. Ванда опустила вожжи, ответила: она тоже считает, что Валентину пора уехать из местечка. Выборы в Совет проведены. Есть своя группа солдат, Метелин, Галкин. Разговор оборвался. Валентин закурил папиросу, хотя курить ему не хотелось. Изменившимся голосом он робко спросил:

— Панна Ванда, вы очень были недовольны мной раньше, особенно в Минске?

Ванда утвердительно кивнула головой, внятно и раздельно ответила:

— Я худо думала о вас. Я и сейчас не знаю, почему вы тогда лишили меня работы?

Валентин рассказал ей о товарищах, которых нужно было избавить от призыва, об Иосифе, о том, как обманул он генерала Ипатьева. Он не скрыл от нее, что у него были также подозрения о связи ее с контрразведкой, напомнил встречу в парке Радзивилла. Ванда слушала его спокойно. Лишь тогда, когда Валентин заговорил об офицере из контрразведки, она сделала слабое и неопределенное движение, точно хотела его перебить, но тут же успокоилась.

— Офицер — случайный знакомый. Должна вам также признаться: были дни, когда я считала вас карьеристом, мелким злобным человеком. Я решила, вы удалили меня перед проверкой, чтобы остаться свободным для разных темных дел. Я даже готова была донести на вас в армейское управление, набросала черновик доноса. Меня удержало отвращение. В Койданове я тоже не верила вам сначала, потом стала недоумевать. Я с удивлением узнала, что вы революционер, в ночь, когда вы распорядились поднять красные флаги.

Валентин расстегнул пальто, подавленно спросил:

— Вы считали меня продажным?

— Вы же приняли меня за контрразведчицу?

Валентин взял у Ванды вожжи. Лошади шли ровно и размашисто. У пристяжной екала селезенка. Ванда счистила комок грязи, упавший из-под колеса на солдатское одеяло в ногах, сняла к чему-то перчатки, потом снова их надела.

— Как все это дико, если вдуматься, — прервал молчание Валентин. — У нас были самые неправдоподобные, мерзкие мысли друг о друге. Мы жалко барахтались в них. Не случись революции, которая тайное

сделала явным, мы, возможно, так и остались бы со своими мнениями: я считал бы вас контрразведчицей, а вы меня — карьеристом и взяточником. Нам помогла революция. Мы оказались наиболее счастливыми, так как живем в пору перемен, ломки. Другим такой доли не выпало. Окруженные общественным туманом, выросшие в гнилой, отравленной среде, вдыхая тлетворный воздух, общались, сходили в могилы, имея друг о друге самые ложные представления. Это касается также и людей одного быта, воспитания, одних условий. Люди бились в этой нагроможденной груде неправды. Мы бредим о наших ближних, о приятелях, о родных, о знакомых нелепейшими бредами. Мы подозрительны, жестоки, готовы поверить всякому вздору и прежде всего злому, легко и с удовольствием опорочим своего соседа, готовы из-за гусака вести смертельную тяжбу, мы падки на злословие, на выдумки. Встает ужасный мир фантасмагорий, миражей, невнятностей. У Руссо некий аббат Гема утверждал: если бы каждый человек мог читать в сердцах других людей, то большинство пожелало бы скорее спускаться по общественной лестнице, чем подыматься по ней. В конце концов это зависит от того, что человек господствует над человеком, от частной собственности. Мы знаем о человеке больше худого, чем хорошего, потому что на это толкает наша действительность, наш строй, общественные наши отношения. И вот я думаю: революция преобразует отношения и уничтожает все, что стоит между людьми. Разумеется, не сразу, пройдут года, десятилетия, будет неистовая борьба, обострения. Но в будущем мне чудится совсем иная жизнь: наваждение исчезнет, правда о человеке, об его биологической и социальной природе восторжествует. Взойдет же оно когда-нибудь, это солнце правды, разгонит кромешную тьму взаимного отчуждения, предвзятых взглядов, хитросплетений и измышлений, недоверия, боязни, когда люди толкаясь, подобно слепым от рождения, бредут ощупью, наугад, составляя о себе и о себе подобных убогие, недостойные, позорные и презренные представления и мнения. Взойдет же оно, это великолепное счастливое солнце, осветит землю, людскую жизнь прозрачным светом, дабы очи наши по-новому видели и по-новому слышали наши уши! Всегда я верил, что социализм не только власть над природой и вещами, но и уничтожение клеветы на человека, торжество прямых людских отношений. Пред-

вижу, панна Ванда, могучий расцвет содружества, искренности, сочувствия, непосредственности, общего духа, любви человеческой. Сейчас эти зачатки есть только в рабочем классе. Потому он мне и дорог. Прав, кто сказал: человек лучше того, что он создал.

Дрожащей рукой Валентин провел по лицу. Он не замечал, где они ехали, забыл о времени. Он говорил не думая, готовое, давно в нем сложившееся. Повышенность тона скрашивалась наплывом настроения.

— Может быть, — неопределенно и сдержанно согласилась Ванда. Она глядела в сторону, где прибоем, более черным, чем ночь, вставала роща. Валентину был виден ее профиль, обособленный, омраченный. Она слушала его нараставшую в горячности речь неподвижно, склонив голову. — Может быть, — повторила она.

Вдруг она круто и порывисто обернулась.

— Вы не все знаете обо мне. Вам передавали, что ко мне ходили офицеры и что я с ними проводила ночи?

Валентин дико посмотрел на Ванду, не зная, что сказать. От смущения и растерянности он нагнулся поправить сползавшее одеяло, пробормотал:

— Я никогда не верил сплетням.

Ванда наклонилась к Валентину, положила ему руку на колено, тут же отняла, решительно и беспощадно прошептала:

— Все это правда. Я — грязная. Я вся захватана липкими ручищами, зацелована едва знакомыми мне людьми. Я принимала их почти с улицы, после первой встречи, отдавалась где и как попало. Я — распутная, дрянная.

Она отвернулась, Валентин слышал, как она задыхалась. В руках у него ненужно лежали вожжи.

На северо-востоке длинным пологом протянулись низкие, мрачные тучи.

— Но почему? — бессмысленно спросил Валентин.

Ванда ответила не сразу. Несколько успокоившись, не глядя на Валентина, она рассказала ломающимся голосом с паузами:

— Я приехала сюда с матерью. Здесь в полку служил мой жених, офицер, черноглазый студент. Мы очень любили друг друга, сошлись здесь, на фронте. Его ранили в голову. Я ухаживала за ним сестрой милосердия. Он выжил, но сошел с ума. На моих глазах он превращался в животное: алчно ел, сопел, чавкал. У него текла густая стеклянная слюна. Он разучился говорить и

только отвратительно мычал. Он бросался на меня и на глазах других пытался насиловать. Когда я отгоняла его от себя, он даже кусался. Он жив и сейчас... Содержится в Москве. Потом я ухаживала в госпитале еще за одним. Он был иженер. Его контузило. Он тоже помешался, вообразил себя удавленником. Ему представлялось, что его вешают. Он отходил в угол, вытягивался, опускал руки по швам, они у него делались как палки, он пучил глаза, высовывал язык, синел от ужаса, стоял в столбняке, окостеневший, с оловянными глазами. Очевидно, он переживал по-своему, что бывает с людьми, когда на них накинули и затягивают петлю. Еще я видела многое, всего не перескажешь... Никто не знает, что испытали мы, молодые девушки, женщины с белыми косынками, в этих передовых отрядах, в перевязочных пунктах, в госпиталях, в лазаретах! Наша юность, радость, наша судьба размыканы в этих бараках, у коек умирающих, сумасшедших, калек! Я увидела ничтожность и бессмыслицу человеческой жизни. Я — не трусиха: умею работать под пулями, когда рвутся снаряды. Но тут я испугалась, лишилась равновесия. Может быть, я тоже была близка к сумасшествию... я стала отдаваться с выбором и без выбора, как придется. Нас окружали похотливые, голодные до женского тела глаза. Сказалась ли тут моя природная порочность — не знаю, но знаю, нужно было избежать одиночества, ночных страхов, тоски, отчаяния, — хотелось ощущать живое, двигающееся, человеческое, чтобы не утратить чувства, что я еще живу и что около меня тоже жизнь. Я забывалась тогда, мне делалось легче. И чем сильней преследовали меня тогда мои мысли, тем несдержанней я вела себя. Надвигающаяся тьма, смерть как будто отходили от меня. Позже страх притупился, но я уже ко многому привыкла. Меня не жалели. Я научилась пить, нюхать кокаин. Недостатка в поклонниках не было. Но все больше и чаще я испытывала опустошенность. Мне надоели любовные приключения: все они утомительно походили друг на друга. Опротивела грубость и жадность самцов, фронтовая нежность, обманы, лесть, и как часто в глазах моих мимолетных любовников я находила мертвые отсветы обреченной человеческой жизни! Я повела себя строже. Когда произошла революция, я пошла за вами с готовностью. Я помогала вам не потому, что прониклась революционными взглядами. Я и теперь не могу дать себе от-

чета, сочувствую ли я вашему делу. Мне чужды людская масса, пот, невежество. Мне некуда деваться, не на что надеяться, нечего желать. Я — беженка во всей жизни. Прежнее опостылело, нового не понимаю. Но с вами, с вашими друзьями мне, по крайней мере, легче. У вас есть цель. Мне тоже иногда кажется, будто я нашла что-то утраченное... Может быть, меня привлекает также скитальчество ваше. Я ведь тоже бездомная... Да, я вот такая; испорченная, изломанная.

Они подъезжали к Койданову. Над полями из-за перелеска поднимался поздний двурогий месяц, сея сны и тени. Валентин курил, глубоко затягиваясь. Скрывая смущение, он оглядывался по сторонам, всматривался в дорогу, будто боялся ее потерять. Во время рассказа Ванды он неожиданно вспомнил: несколько лет тому назад он гулял по саду у дяди, сельского доктора. Наливались яблоки, зрели вишни, пахло сухим и горячим сеном. Вечер был тих, в светлых облаках. Прибежала босая девочка из деревни, запыхавшись, сказала, что у мужика Степана Егорова свинья слопала годовалого мальчика. Мать пошла к соседям по домашнему делу, оставив сонного ребенка во дворе. Хозяин был в поле. Свинья вышла из хлева и пожрала ребенка. В тот момент и сад, и вишни, и облака, и сам он с романом в руке показались обманом, будто все это было поддельное. Сейчас, слушая Ванду, Валентин пережил то же самое острое чувство. Ему представилось: бушующие огнем поля, растерзанные фиолетовые внутренности, желтый жир, сало, выпирающее из открытых, зияющих ран, кожа на обрубках рук и ног, уже не натянутая, она сползает, заворачивается и обнажает парное мясо, — он увидел места, покрытые сплошь смрадными трупами, чудовищные оскалы убитых и умирающих, рты, раздернутые в гримасы, в застывшем смехе, в воплях, смерть в зрачках людей, возвращающихся из окопов, с того света, последнее крестное томление, надежду, когда нет надежды, прощальные взгляды, судороги, трепет страждущей, жалкой человеческой плоти. Обычная жизнь, культура, благоустроенность предстали садом у дяди с вишнями, с сеном, с яблоками, — это не настоящее, это только флер, а настоящее вот эта война. Эта свинья, врывающаяся клыками в ребенка, в жизнь. Верно говорит Ванда: эта война, как никакая другая, показала ничтожность человеческой жизни и власть над человеком общественной стихии. Культура,

быт, государственность прикрывают все это, война лишь сорвала покрывала. И вот — бессмыслие, хаос, стихия. Да, жизнь начинается с организации, с закона, смерть возвращает все в праматерь — бездну. У умирающего, должно быть, все мешается: потолок уходит в землю; пол поднимается на стену, нос лезет на затылок, ноги прирастают к голове, на животе щерятся зубы, живот повисает в небе, все разъято, крутится, мешается в бредовых вихрях. В старой одной книге описывается ураган; кругом тьма, в центре урагана появляется светящееся яростное пространство. Его называют глазом урагана. Все, что попадает в это место, гибнет. Глаз урагана глядит через войну: космос раскрывается тут в хаосе, в бессмысленной стихии. Глаз урагана увидели миллионы людей, увидела Ванда. Если человечество не справится с этой стихией, жить дальше нельзя, людское общество погибнет. Но жизнь, человек возьмут свое, разум восторжествует, и этот разум есть революция, борьба с общественной галиматьей, дичью и бредом. Победа будет, и тогда мир перестанет смотреть на людей глазом урагана.

Ванда и Валентин ехали в молчании. Ванда ломала и мяла былинки сена, отвернувшись. Лица ее не было видно. Наконец она встряхнулась, удивленно и немного ворчливо сказала:

— Господи! Вы и теперь, кажется, философствуете?

Валентин ничего не ответил.

...Дня через два они сидели поздним вечером на квартире у Валентина. Ванда, приготовляя чай, попросила у Валентина папиросу. Валентин прошелся по комнате, как бы не расслышав просьбы. Ванда повторила ее. Валентин разбросал вещи, достал из чемодана серебряный портсигар, побледнел, подошел к Ванде, стараясь естественнее и шутливее усмехнуться.

Они стояли у стола. Валентин увидел желанное и немного воспаленное лицо, своевольный изгиб губ, волосы в беспорядке, глаза с полуопущенными, отяжелевшими ресницами, трепетавшие брови, увидел складки платья, грустные, таящие обольщение, сильную линию бедра и талии. В соседней комнате в открытую дверь из темноты выступала русская печь с загнеткой. В углу стояли рогачи, метла, кочерга. Печь выглядела дико и сказочно. Она грезила баснословными былями, кудесничала, дышала домашним, древним, хлебным теплом. Валентину снова почудилось, будто он покрылся мехом,

согретым, густым. Надвинулось мгновенье, когда он был готов отдаться жаркому и желанному. Этого не случилось, почему, он не узнал об этом ни тогда, ни позже. Ванда дрожащими руками взяла папиросу. Валентин захлопнул портсигар. Хотел положить его на стол. Портсигар выскользнул из рук, звякнул об пол, притаился у ножки стола. Валентин его не поднял. Ванда ушла с потухшим лицом.

...Спустя недели две Валентин уехал на юг, он уговорился встретиться с Вандой через месяц. Ванда осталась сдать дела района. Она задержалась до лета. Летом у нее заболела мать. Ванда не могла от нее отлучиться. Осенью мать умерла. Валентин ждал Ванду к себе. Неожиданно переписка их оборвалась. Валентин справлялся о Ванде в Минске, в Койданове, в Мире. Ее там не было. Он так и не узнал, умерла ли она, случилось ли с ней что-нибудь другое... Тропа ее для него затерялась. Семнадцатый год помешал съездить на места, где они встретились. На тифозных станциях, в онемевших корпусах заводов и фабрик, на митингах, на заседаниях, в часы утомления и отдыха, в бессонницу, среди друзей, на улицах мелькал перед ним образ беженки, уходя все дальше и дальше, теряя вещественность и весомость, очищаясь и облагораживаясь. Так уходит родной берег, когда человек навсегда его покидает. Но иногда Ванда тревожила его с новой силой.

В дни кронштадтского мятежа Валентин добровольцем охранял сестрорецкий участок. Днем он провел несколько собраний среди красноармейцев. К ночи получили сведения, что по ту сторону, на пограничной финской полосе появились части белых. Валентин лежал в редкой цепи с винтовкой недалеко от реки, в лесу. С кронштадтских фортов изредка била крепостная артиллерия. Удары потрясали мрак, рождая томление и тревогу. От тяжелого уханья сосны и ели вздрагивали, точно живые. С них осыпался снег. За рекой было тихо, но Валентину все чудилось, что там происходит скрытое передвижение врага, готовится нечто коварное и погибельное. Он думал о повороте на съезде, о мужицкой стихии, о восставших матросах. Ствол дерева, за которым Валентин лежал, полушубок, винтовка, пушечная пальба напомнили ему Западный фронт, Ванду. Он распахнул полы, полез в карман за портсигаром, но курить было нельзя, и он только потрогал его.

Дальнее предстало вчерашним. Валентин сжал винтовку, приложился щекой к холодному затвору. Ему захотелось увидеть Ванду только один-единственный раз, такой, какой он видел ее в ночь после поездки в Столбцы, когда он уронил портсигар. Тогда можно быть и убитым. И все будет хорошо и оправданно.

— Ванда! — прошептал он синими от холода губами.

Лес молчал.

Валентин заметался по снегу.

Пробираясь после утренней смены в барак, Валентин вынул портсигар. Он был помят, исцарапан, стерт по углам, плохо закрывался, но в пальцы от него шло живое тепло.

— Не унывай, старина, не унывай, мой друг, — промолвил дружелюбно Валентин и вздохнул.

К ногам упала сухая ветка. С кронштадтских фортов не доносилось ни одного звука. Должно быть, победа! Валентин сжал губы, сощуренными глазами посмотрев вперед, быстро пошел к бараку.

...Сохранилась еще у него карточка Ванды: белая косынка покрывала ее голову и грудь.

Лицо было строгое, монашеское.

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящем сборнике воспроизводятся последние прижизненные издания вошедших в него произведений.

Три повести. Печатается по тексту: А. Воронский. Три повести. М., «Советский писатель», 1935. Впервые: «Новый мир», 1934, № 9—10.

Глаз урагана. Печатается по тексту: А. Воронский. Рассказы и повести. М., «Советская литература», 1933. Впервые: «Звезда», 1933, № 1—3.

СОДЕРЖАНИЕ

Воронский А. Г.

В75 Глаз урагана. Повести. — Воронеж: Центр.-Черноозем. кн. изд-во, 1990. — 238 с.

ISBN 5-7458-0192-1

Выдающийся критик, деятель советской литературы 20-х годов Александр Константинович Воронский, безвременно погибший в 1937 году, был в свое время известен и как незаурядный прозаик. В предлагаемой книге собраны произведения А. К. Воронского, впервые становящиеся известными современному читателю.

В $\frac{4702010201-013}{М161(03)-90}$ 43—90 84Р7—4

Литературно-художественное издание

Александр Константинович
Воронский

ГЛАЗ УРАГАНА

Повести

ИБ № 2486

Заведующий редакцией
В. И. Хрипунков

Редактор
Л. Д. Коробков

Художественный редактор
А. М. Ножкин

Технический редактор
Т. Н. Токарева

Корректор
З. П. Моисеева

Сдано в набор 25.10.89. Подписано в печать 09.02.90. Формат 84×108[1]/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Уч.-изд. л. 12,6. Усл. кр.-отт. 12,66: Уч.-изд. л. 13,62. Тираж 15 000 экз. Заказ № 3839.
Цена 1 р. 50 к.

Центрально-Черноземное книжное издательство, 394053, г. Воронеж, ул. Лизюкова, 2. Областная типография Управления издательств, полиграфии и книжной торговли, 394071 г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 73а.

Во всех случаях полиграфического брака обращаться в Областную типографию.

С 1983 года выходят художественно-публицистические сборники Центрально-Черноземного книжного издательства «Родное Черноземье». В конце текущего года в книжные магазины поступит седьмая книга серии, ее название не требует расшифровки: «1937-й и другие годы». Писатели, журналисты, сами жертвы необоснованных репрессий 30—40-х и начала 50-х годов рассказывают о трудных судьбах честных советских людей, попавших под колеса сталинской репрессивной машины.

Но это книга и о том, как люди в нечеловеческих условиях старались сохранить веру в революцию и социализм, в конечное торжество справедливости.

Никогда не иссякнуть нашей скорби и гневу против тех, кто творил беззакония. Но да будет труд нашей памяти свободен от злорадного сгущения красок, от попыток тем самым ослабить нашу веру в созидательные, добрые силы личности и народа, от неуважения к вере отцов и дедов в фундаментальные ценности социализма. Книга «1937-й и другие годы» затрагивает и эту тему.